

Татьяна ГРИБАНОВА

Всего дораже

Издательство «3-е ИЮЛЯ»

2019

УДК 821. Грибанова Т.И.
ББК 84 (2Рос=Рус) Т 12

Грибанова, Татьяна
Всего дороже /рассказы/ Татьяна Грибанова –
Орёл: Издательство «3-е ИЮЛЯ», 2019. – 252 с.

О самой страшной войне XX века написано немало. Но ещё долго мы будем обращаться к этой теме, где далеко не всё однозначно. Вот и писатель Татьяна Грибанова, используя документальные рассказы, в основном своих родственников и земляков, пытается разобраться в психологических хитросплетениях того времени, изучает поведенческие мотивы людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях.

В каждом её повествовании сквозит боль и сострадание к тем, кто не по своей воле принимает жестокие удары судьбы, кто не ломается, сохраняет достоинство даже в минуты смертельных испытаний...

ISBN 978-5-86843-065-7

УДК 821. Грибанова Т.И.
ББК 84 (2Рос=Рус) Т 12

© Издательство «3-е ИЮЛЯ», 2019.
© Татьяна Грибанова, 2019.

ISBN 978-5-86843-065-7

Уважаемые читатели!

Новая книга Татьяны Грибановой – о людях русской глубинки, на долю которых выпали тяжкие испытания XX века: разрушение традиционного уклада жизни и братоубийственное истребление друг друга, голод, война, исчезновение с лица земли деревень и сёл...

Повесть, рассказы, эссе, былички – каков бы ни был жанр, везде и всегда в прозе Грибановой на передний план выступает человек с миром его мыслей и чувств, с его смыслом жизни, гнѐтом испытаний и самопожертвованием. Автор ставит своих героев перед очень непростыми вопросами. Как сохранить человечность в бесчеловечных обстоятельствах? В чём смысл жизни? Через что можно переступить, а через что никогда нельзя преступать? Сюжет подчас раскручивается стремительно и непредсказуемо – как это и бывало в реальной жизни на войне.

Реальная война... Ещё несколько десятилетий назад столь привычным был разрыв между образом войны, жившим в памяти народной, и тем его освещением, которое предлагалось официальной пропагандой и историографией. Многочисленные защитники официоза восклицали: «Если в итоге мы победили врага, то к чему, спустя столько лет, снова и снова показывать кровь, потери, страдания? Зачем скорбный реквием, если есть такая красивая и духоподъёмная маршевая музыка парада?»

Понятно, что этот искусственный разрыв, недостойный великого народа с великой историей, не мог существовать бесконечно. Так устроено сознание, что с течением лет всё больше и больше внимания именно трагическим страницам войны. Новые поколения должны знать, какой вселенски высокой ценой завоёваны свобода, независимость и мирная жизнь. Новые поколения должны знать, каким героем, прошедшим через неимоверные испытания, был наш народ. И как трудно, но необходимо

быть наследниками Великой Победы, чей отсвет ныне – и в этой забытой Богом избушке, и на перекрёстке сельских дорог, и на обелиске в дальнем посёлке. А главное, отсвет Победы – на лицах старых солдат, вдов, давно уже постаревших детей войны...

Представленная на суд читателей книга Татьяны Грибановой вполне достойна занять место в ряду образцов военной прозы писателей-орловцев. Таковы романы, повести и рассказы Владимира Мильчакова, Евгения Горбова, Петра Проскурина, Василия Рослякова, Евгения Зиборова, Анатолия Яновского, Игоря Лободина... Они создали художественную летопись военных лет, соединив историческую реальность с реальностью духовного знания, любви и вечной памяти о погибших. Чувство уважения к сделанному предшественниками не означает, что представители нового поколения не имеют права писать о далёкой войне. Напротив, эта тема остаётся актуальной, тем более, что мир неспокоен и полон всевозможных угроз. Читатель должен иметь возможность получить честный и самый обоснованный, с прибавкой всех новых знаний, ответ на вопрос: «Что было главным источником Победы?».

Да, великая война дала литературе, писателям громадный материал. Казалось бы, простое изложение событий, биографии героев – уже самодостаточная основа для художественных произведений пронзительной яркости. Но всегда ли жёсткая сила фактов в одиночку способна воплотиться в прекрасный текст? Отвечая в 1985 году на вопросы анкеты журнала «Вопросы литературы», Григорий Бакланов подчёркивал: «Без того опыта, который дала война, я бы не написал ни одной моей книги, фронтовой опыт, конечно, в основе каждой из них. Но вымысел, фантазия, – разве возможна художественная литература, вообще искусство вне вымысла? «Над вымыслом слезами обольюсь...». Фантазия художника преображает жизнь в искусство более реальное, чем жизнь. Спросите художника, что в его книге опыт собственный, что вымысел, и он уже сам не сможет отделить: всё вместе для него жизнь, которую он прожил. И ничто не способно так под-

линно, так естественно, так неподдельно выстроить жизнь в книге, как волшебная фантазия».

Волшебная фантазия – ключевой метод рассказа, открывающего книгу Грибановой. Умер старый солдат дед Кондрат, но душа его жива, всё видит, всему сочувствует и сопереживает, «окликаая всех, кого оставил на земле». Увы, видит эта душа не только чистое и вызывающее сочувствие. В сегодняшнем дне махрово расцвели подлость, стяжательство, предательство – да что перечислять эти пороки, они прекрасно известны любому нашему современнику.

Нравственный суд автора – не только над фашистами, захватчиками, но и над иными наследниками победителей, теми наследниками, что в итоге оказались недостойными этого высокого звания. Впрочем, это суд и над властью, которая с незапамятных времён уверена, что «Савраска всё выдюжит». Страшно, завораживающе звучат слова в финале книги: «А выживать – мужику не привыкать! Не впервой! Что ему? Нешто он не русский человек?». Вроде бы риторический вопрос, вроде бы удалое восклицание, а вдруг предстоящая жизнь всё-таки даст на это вопрошание далеко не позитивный ответ? И разве в этом вопросе нет подсказки, почему так много в современной России нерешённых проблем, неурядиц, сиротства, неприкаянности?

Много тяжёлого и тягостного осталось у нас за плечами в прожитых десятилетиях. Осознание этого с остротой и болью – дело мучительно трудное. Суд памяти суров, но, кажется, автор не только судит, а ещё и обращается к неразумным, бессердечным соотечественникам XXI века: оглянитесь, вспомните, только представьте, сколько невзгод выпало на долю старшего поколения! Рассказы сборника – не только о солдатском подвиге, в них есть немало горестных страниц о бесправной жизни наших людей в оккупации, о подранках военной поры, о стремлении людей в самых неимоверно трудных условиях спасти, помочь, отогреть... Здесь, повторяюсь, проза Грибановой (например, рассказ «Подранок») очень созвучна прозе другого писателя-орловца Игоря Лободина, который рассказывал читателю о военном детстве на Орловщине.

И пусть не смущает современного читателя нарочитое отсутствие художественной отточенности в ряде быличек. Суть эссе-воспоминания заключена в действительности переживания («Порой не ели по три дня. Деревня пухла от голода. В старых, заброшенных буртах выгребали возгоревшееся месиво, толкли в ступе на лепёшки и олады. Пекли прелики на огуречном рассоле – «трёхдневные прелики». Блины их них – чёрные, сухие до хруста»), а не в сюжетности или занимательности. В этих рассказах обнажена душа народа, звучат его боль и гнев. Кто ещё в глубинке записал бы эти драгоценные воспоминания? Неумолимое время с каждым годом оставляет всё меньше и меньше людей старшего поколения. Особенно быстро уходят те, кто непосредственно участвовал в трагических событиях войны – в великих битвах на передовой, в партизанском отряде, в прифронтовой полосе.

Подчас удивляет смешение стилей в эссе Грибановой. Рядом с лирическим изложением эпизода – жёсткая цитата, отрывок из военной сводки, конкретная цифра и географически точные координаты. Но это, опять же, не просчёт автора, не следствие небрежности. Отмечу, что подобным методом пользовался Василий Росляков, бывший орловский партизан, создавая свой роман «Последняя война». Там множество отрывков из донесений, трофейных документов, публикаций партизанских газет. Литературный критик А.И. Кондратович так отзывался о прозе Рослякова: «Всё в романе достоверно, документально точно (вплоть до вкраплённых в роман подлинных приказов, протоколов, газетных заметок) и психологически убедительно, поскольку нигде не упрощено и не спрямлено, не сглажено».

Итак, фактография и достоверность только добавляют силы художественному произведению о войне – и в этом мы убеждаемся на примере прозы Грибановой. Ещё одна весьма сильная сторона её прозы – умение на контрасте показать войну и мирную жизнь. Ведь, в конечном счёте, война – это аномалия, а мир родной сторонки прекрасен и вечен.

«За окошком редееет предрассветный сумрак. Накидываю

шаль, выхожу на крыльцо. Солнца ещё не видать. Всё затихло в ожидании появления этого извечного, но каждый раз нового, необычайного чуда.

Сначала, словно пенки «райского» варенья, вскипают, розовятся над Марьиной ложиной края кудлатых облаков. Следом «мяконькие», рыжеватые дымки затепливают по склонам Ревун-оврага полуобнажённый березняк. Потом скирда гречишной соломы посередь игинского поля, проступая сквозь ниспадающие туманцы, набирает цвет и окрашивается в тёмно-красную, ржавую медь. Воздух, настоящий на ароматах палой листвы и зарывшихся в её вороха улежалых антоновских яблок, кажется забористым бабушкиным квасом: и терпкий, и хмельной и пьёшь – не напьёшься». (эссе «Сломав хребет фашистской нечисти»).

Конечно, на этом фоне мирной жизни невероятными, безмерными по своей людоедской жестокости видятся дни оккупации, фронтового смерча. Но у писателя хватает мужества говорить о горьком – без прикрас, скорбно и искренне. Лично я увидел в повести «Всего дороже» удивительную повествовательную переключку со знаменитой повестью Бориса Горбатова «Непокорённые» («Семья Тараса»). Напомню читателям, что эта книга о судьбе советских людей, попавших в оккупацию, первоначально печаталась с продолжением в центральной советской газете «Правда» в 1943 году. Для орловцев глубоко символично то, что первая часть повести была опубликована весной, а вторая, заключительная, – уже осенью того переломного в войне года. Рассказывая о судьбе попавших в фашистское иго соотечественников, Горбатов звал бойцов в наступление, чтобы быстрее принести освобождение. А вторая часть повести была, по сути, той страшной правдой, что открывалась всей стране уже не только из газет.

Повесть «Всего дороже» занимает центральное место в книге Грибановой о войне. Зачин повествования – последние дни фашистской оккупации, когда каратели «помиловали» обитателей затерянной в лесу деревушки Берёзовки и не сжигают их в амбаре, а угоняют в полон. Скорбный путь заставляет персо-

нажей вспомнить минувшее, задуматься о сути вещей, найти силы для главного в жизни поступка.

Тема зла – одна из центральных в повести. Но без зла не проявилась бы значимость добра. Раньше (в XIX веке) писатели видели исток зла в крепостничестве, затем – в капитализме. Советские писатели объясняли зло «наличием» пережитков прошлого. Перестроечные писатели винили во всём сталинизм. Эпиграф из Максима Горького в повести стал свидетельством того, что Татьяна Грибанова призывает не к разрыву с наследием советского периода в истории народа, а к пониманию его как времени великих испытаний. В повести нет обличения сталинизма. Но есть представление о том, что в жизни много такого, что не определяется желанием или нежеланием кремлёвских правителей.

Татьяна Грибанова нарочито уходит от социального объяснения причин зла (очевидно: она не делает главного отрицательного героя, полиция и душегуба Митроху Жихарева, сыном кулака или партийного деятеля). Она показывает читателю, что сама жизнь порождает зло – и то вечно, как полюс магнита (в повести рождается от сильнейшего любовного влечения – вспомним хрестоматийно известного младшего сына Тараса Бульбы Андрея). Вот, казалось бы, почти братья – Роман и Митроха. И вдруг жизнь стремительно разводит парней по разным полюсам. И порой кажется, что отрицательный герой показан даже ярче, рельефнее, чем положительный Роман (тот больше похож на безмолвного тургеневского Герасима).

Русская женщина Ариша – вечный, узнаваемый образ нашей литературы. В ней воплощена загадка русской души. В сущности, повествование об очень молодых людях – героям максимум по тридцать лет. Но сколько ими пережито! В то же время, несмотря на контекст эпохи, это не роман, не набросок романа, а именно повесть – действие вширь охватывает несколько месяцев (а в глубину – всего с десятков лет). Героев немного, сюжетная линия одна. И всё это на фоне многоликого, многослойного и противоречивого до крайности XX века. Это именно повесть, более того, повесть сказовая, – что особенно зримо прояви-

лось в финале. Взрыв в глухом лесу – как нечто таинственное и сказочное, неведомое, положившее предел смертельной угрозе, терзаниям и скитаниям, давшее нежданную свободу. Пришли беды неоткуда (!?) и ушли в лесную чащу, в никуда, как морок, кошмарный сон. Да навсегда ли ушли, не вернуться ли? – вполне может задать себе вопрос вдумчивый читатель.

Отрицательный герой всё-таки любит, оттого и жертвует собой в итоге ради любимой женщины. Но любовь эта больная, отравленная дьявольским наваждением. И нет другого пути справиться с ней как пожертвовать своей пропащей натурой, вступив в схватку с врагом ради спасения души.

Зло приходит «ниоткуда», а значит, все социально-экономические улучшения, военные манёвры и политические убеждения не гарантируют род людской от наступления беды, от нашествия захватчиков. Чем противостоять? Бороться? Да. Но не менее важно остаться людьми в этих испытаниях. И если не удаётся сохранить в себе человеческое, то с честью принять мученическую смерть.

Деревня Берёзовка в повести – средоточие мира. На страницах – Белоруссия, Германия, Финляндия, Сибирь, Венгрия... Все беды вселенной огненными потоками тянутся и жгут деревеньку, убивая людей и разрушая созданное людьми, но в то же время выжигая в душах оставшихся всё несправедное, наносное, фальшивое. Живым на будущее остаётся самое главное, самое дорожное.

Образ дороги в лесу, по которой гонят в рабство русских людей, – зеркальное отражение событий дальних-дальних времён, когда первые поселенцы также по лесным дорогам пришли в эти места Среднерусской возвышенности и основали деревни и сёла. Снова сказ, снова хождение по мукам – совсем как в поэме Татьяны Грибановой о Марье, которая Ивана искала. Только теперь не кочевая конница, а орда фашистская одолевает. У каждого столетия – свой Батый.

Тема любви – казалось бы, очень простая для писателя в его обращении к читателю. Но в действительности, самая трудная в литературе. Кто-то сказал, что настоящая любовь за-

кончилась тогда, когда появились первые книги о любви: начались повторения, подражания, а то и пародии, пересмешки. В повести любовь не плотская (сеновальная или малинная, где-то на речном берегу). Здесь любовь не в яркой обёртке хороводов и записных деревенских обычаев. Нет, это любовь исконная, заповедная, времён райского Эдема и пробуждения человека в человеке. Описание любви, этого вечного движителя загадочной русской жизни, в повести «Всего дороже» – художественное открытие Татьяны Грибановой.

Тема оккупации. Написано о ней немало, да и в наши дни книги выходят одна за другой. На удивление, Татьяна Грибанова нашла своё в этом разноголосье – ей важно увидеть, как живёт дух человека в исключительно враждебной среде. Кажется, противостояит нашествию захватчиков сама лесная, болотная, луговая, скрытая туманом и сумерками потаённая сила жизни, которая почему-то сразу не смогла одолеть ошалелого насильника, но спустя какое-то время, в великой ярости начинает давать отпор: где из чащи выходит партизанский отряд, где мороз сурово и неумолимо студит вражью силу, где топь жадно поглощает вражескую колесницу, а где в дремучей глуши теряет дорогу отряд карателей. Необоримый дух земли пронзает чужаков такой порчей и жутью, что сгинут они бесследно среди дремучего леса. И, кажется, что в финале взорвались не гранаты, а тот комок боли от попрания чести и правды, что сжимался столько дней и ночей.

Созвучен и образ юродивого Афони – сказовый, из времён далёкой Смуты, из стрелецких восстаний, из церковного раскола. Народ-богоносец юродивого жалеет, до последнего заботится о нём. Здесь что-то непознаваемое и необъяснимое, чего никогда не понять ни врагу, ни заезжему начальству.

По сравнению с хрестоматийно известной прозой Петра Проскурина в повести дана иная трактовка темы Судьбы. Здесь место Судьбы занял Бог, Бог земли Русской, Русского мира. И в этом я вижу шаг вперёд в художественном развитии литературы по сравнению с прозой советского периода. Мир огромен, многолик, переполнен действием и тайной, но и у человека

(Божьего создания) есть своё главное, есть возможность выбора и поступка.

Мне очень хочется, чтобы военная проза XXI века не была поделкой, результатом неких литературных упражнений или горделивых попыток «успеть к празднику». Нет, о многом в «сороковых-роковых» ещё не сказано, и нравственный долг творческого человека – писать о войне, говорить правду и опровергать ложь, показывать судьбы людей. Причём делать это с чувством высокой ответственности за каждое написанное слово.

Творчество Татьяны Грибановой – один из лучших примеров в этом ряду. Её искренние строки обязательно найдут живой отклик у современного читателя. Прошлое достойно того, чтобы взглядеться в него и увидеть ответы на непростые вопросы своего времени.

Алексей Кондратенко,
член Союза писателей России,
доктор филологических наук

*Из письма моего деда Михаила Александровича Булыгина
жене своей, моей бабушке Анне Григорьевне
от 23 июля 1941 года*

...У горя, как известно, края нет.
А нынче столько – кровушка по жилам стынет!
Мы пятимся... сквозь чёрный белый свет,
Сквозь полымя хлебов, степями Украины...

Нам чад и пыль повыели глаза,
Смешалась с кровью гарь, но мы не позабыли,
Как в клочья рва́лось солнце в небесах,
Как, обезумев, на руинах бабы выли.

Нам эти дни – да что и говорить! –
Пусть даже ринутся обратным ходом реки, –
Горшей полыни – ни заесть и ни запить.
Прожгли насквозь сердца, не остудить вовеки.

Наглеет враг, зубастей с каждым днём.
И рвётся на восток, и мессерами крестит.
А там – дочурка..., наш в рябинах дом...
И ты..., и на груди твоей лебяжьей – крестик...

Да, отступаем... Беженцев – поток...
И вдоль обочин – безымянные могилы.
Но мы вернёмся – Бог назначит срок!
Вот только соберём в кулак единый силы!

СМЕРТЬ КОНДРАТА



С тех пор, как не стало Серафимы, убедился в никчёмности утюга... Серафима не любила теперешних легковесных и по старинке держала в хозяйстве тяжёлый матушкин, на угольях. Пусть простит меня Сима... приладил его в погребе вместо гнёта в кадушку с огурцами.

А нынче незадача получается. Тот самый случай, когда утюг позарез нужен. Каждый год числа пятого-шестого мая собираются у обелиска на митинг. Все как есть..., от мала до велика. Как же в такой день и без нас? Без меня, Кондрата, без двух друзей моих – Миколы и Тихона? Как записались добровольцами в начале войны, так бок о бок до самого Рейхстага пёхом..., до последней минутки...

Не стало на деревне нашей фронтовиков..., ушли один за другим. Только мы, три кряжа, и остались. Может, потому и копит ещё небушко, что всегда горой друг за друга: и под пулями, и хату поставить пособить, и бакшу вспахать.

Вчера вот Тишина Петровна причепилась: занеси да занеси рубаху. Выглядит, мол. А то как же на такой праздник да в мятой?

Чего утруждать? Пусть Тихона своё обряжает. Сам справлюсь. Нехитрое дело... Утюг Петровна всучила. Полочки потру, а со спины и не видать – костюм надену.

Костюмчик у меня, конечно, знатный... Спасибо Ивану, сынку. Почитай, лет пятнадцать костюму-то? А то ещё поболее... Приехал как-то в отпуск, подарки выкладывает. Матери, Серафиме-то, – шаль закудрявистую пуховую – носи, не жалей. Сестре Людке – отрез букетистый крепдешинный на платье. А мне – этот самый костюмчик. «Негоже, – говорит, – фронтовику, да с тремя орденами Славы, кой в чём перебиваться. Примерь-ка, батя!».

И надо же – в пору, как по мне шит! Сразу по душе пришёлся: иссиня-чёрный, в тонкую полосочку... А сын: прими, мол, от шахтёра-орденоносца. Он тогда уже орден Трудового Красного Знамени имел... И обувку мне справил. Премию получил... Как он там теперь? Почтальонша чтой-то не заглядывает. Дошла ли посылка-то? Как Тихон увидал его по телевизору у шахт

на голодовке, притопали с Миколой ко мне тут же. Сидят, мол, горняки, касками об асфальт бьют, порядку требуют.

Собрали мы им посылочку... Всё домашнее: сальца, самосадику, первачку (не без этого) в бутылку из-под «Буратины» накапали. Петровна сушки какой-то насыпала, лепёшек наварнакала – в общем, по-свойски. И записочку прописали: «Держитесь кучнея, мы с вами. Кондрат, Микола и Тихон».

Ну вот... Рубаха на загляденье... Обувку ещё вчера надраил... Сима не преминула б шпильку вставить: «Аль на Красную площадь на парад нацелился?». А что? Мы ежели втроём... И по Красной пройдем, не стушуемся. Мы ещё о-го-го!

Ах ты, проказница, Жулька! Ты как тут оказалась? Кто тебя впустил? Опять вертушок в сенцах подкусила? Ну ладно уж, коли такая смышлёная, проходи, чего уж там... Только сиди смирно, не шкودничай! Чтой-то ты вторые сутки не отходишь? То тебя не докличишь, а то ластишься, как котёнок. Ай, что у тебя неладно? Не захворала ненароком?.. И ночью спать не давала: то под дверьми скулила, то выть удумала... Накось жамочку. Тиша с району привёз... Мятная... Ешь, не кочевряжься. По нашим с тобой зубам, во рту тает...

Смотри, об уютю обожжёшься. Вот лизнёшь не мою руку, а его... Что я с тобою делать стану? Поди на половичок приляг, жамочку помумли...

Где он тута, костюмчик-то?.. Шкаф мылом земляничным пропах... Сима моли не терпела. Не так свои кофтёнки берегла, как Иванов подарочек, костюм мой парадный. Под праздник, бывало, в саду на сучок повесит, проветрит, почистит... Награды фланелькой, смоченной в конопляном масле, натрёт – горят!

Господи! Да где ж они, ордена-то?.. Замест наград – три дырочки. Куды ж они запропалились?.. Ить я костюм с Симиных похорон не доставал, почитай что год... Сами-то они не сымутся... Кому они нужны?.. Кроме Миколы да Тихона никто и не заходит. А у них и своих хватает. И фронтовые, и мирные... Вот ведь остальные и у меня на месте. А трёх орденов Славы – как не бывало!

Жулька! Беда-то какая! Ну разве ж я фронтовик теперь? Среди мирного дня боевые награды потерял! А ещё думал, перед смертью внуку, сыну Людкиному вручу. Пусть помнит, какой дед у него был, равняется... Род-то наш brave! У отца мово Георгиевские кресты имелись. В музей на сохранность передал ещё лет двадцать назад. А свои не сберёг... Горюшко-то какое! Как же я на митинг-то? Через час Микола с Тихоном зайдут. Что им скажу?

Чтой-то мне нехорошо, Жулька..., жжёт в груди... Ух! Точь-в-точь, как у Симы на похоронах...

Ничего..., пройдёт. За час отпустит... Пока побреюсь, оденусь, глядишь, и вспомню, куда ордена запропалились. Память, видно, совсем прохудилась..., а штопать уж и некогда... Чужих с поминок не было..., последними уезжали Людмила с сыном... Душно было..., пиджак я снял..., в шкаф повесил... Нет, не помню, чтобы награды прибирал с костюма... Раньше Сима их в шкатулке на божничке держала... Пустая шкатулка-то...

Что ж так под сердцем печёт? Спасу нет! Счас..., счас валидол под подушкой... Мне б только Ивана дожидаться. Обещался по весне подскочить. Холмик осел, пора Симушке памятник ставить... Да и Людмила, может, заглянет... Ох, и не по нраву мне этот её новый ухажер. Больно прыток. Дела настоящего мужицкого не знает. «Я – коммерсант», – говорит. Какой ты к такой матери коммерсант? Спекулянт, самый наипервейший. И Людку с панталыку сбивает. Дома баба не живёт, снуёт с сумарями по Польшам–Турциям. Совсем Витьку сына забросила. За ним глаз да глаз нужен – восемнадцать. Как без пригляду в большом городе?

Просил на лето ко мне спровадить, а она: «Хвосты телушкам крутить? Ему с друзьями тусоваться надо, а тут ни клуба, ни вечеринок, ни молодёжи». Избаловуха растит... Сама к лёгкой жизни тянется и сына туды ж... Боится, как бы дед в деревне малого работой не утрудил, не испортил. Бугай вон какой вымахал, а толку с того?

Муторно на душе... Хотел собрать всех на майские... Мо-

жет, Иван повлиял бы на Витьку. У него-то хлопцы на загляденье: один – подводник, уж майор, другой строителем будет, университет заканчивает. Правда, Людка и сама особо мало к кому прислушивается. Сколько Иван бился, чтобы образование получила... К себе на Украину забирал. Одевал, обувал... Тогда ещё зарабатывал неплохо... Бросит и бросит учёбу Люд-ка. Похлопочет Иван, опять восстановит... Так и не дотянула до диплома.., пустышка.., Витьку родила. До школы Сима за им приглядывала, у нас был. Но Людмила наехала: не позволю, мол, чтоб телушкам хвосты крутил. И чего она к этим телушкам привязалась? Вон сколько ребятишек с нашей школы в люди вышло... Нет... Не легчает... И Жулька опять жмётся, скулит...

Ну, вот и нарядился... Только жжёт всё сильнее.., как раз под тремя дырочками на пиджаке... А костюм-то выгорел... Там, где ордена были, ткань яркая... Дышать неважно...

Пойдём, Жулька, на воздух, под черёмушку... Скоро уж Микола с Тишей подойдут... В голове мельтешат какие-то обрывки мыслей... Не продыхнуть...

Словно из тумана, выплывают две сгорбленные фигуры.., приближаются к лавочке...

Что происходит? Зачем они тормозят меня?.. Почему я не слышу их голосов?.. Рты открывают, будто рыбы... Почему я не чую запаха черёмухи? Тихон плачет.., и разом осунулся Микола... Не надо плакать! Мне легче... Я совсем не чую боли. Вот, смотрите: встану и пойдём к обелиску. Там, наверно, уже заждались...

Облокачиваюсь о плечо склонившегося надо мной Миколы и легко, как в молодости, делаю несколько шагов вперёд. Оглядываюсь... И вижу себя, сидящего на лавочке... в пахнущих ваксой ботинках, в выцветшем костюме. Отчётливо темнеют три дырочки на левой стороне пиджака. Внезапно обостряется слух, и я улавливаю дрожащий голос Миколы: «Кондрат! Как же мы без тебя? Что же ты наделал, Кондрат!». Утирая слёзы рукавом, Тихон садится прямо на землю и всхлипывает: «Очнись же, Кондрат! Надо спешить! Нас ждут... Как они без нас?..».

Я всё-таки умер! Не дождался своих. А ведь как просил Иван: «Крепись, батя, скоро свидимся!». Оказывается, это совсем не страшно: я ещё с вами, я тут. Я вас вижу, слышу, только не могу сказать: «Ну что, старые вояки, распустили нюни? Не к лицу вам это вовсе!». Да, голос пропал, зато слух какой, даже мысли читаю. Вот сейчас Микола подумал: «Всё кончено... Утрись. Надо похоронить как следно».

Через двадцать минут, наносив родниковой воды, Микола с Тихоном раскинули клеёнку в сенцах на полу. Сняв пиджаки и закатав рукава, товарищи обмыли меня. Вода у нас в ключах ледяная, аж до ломоты в зубах, но я совсем не почувал холода. Я уже остываю...

– Надо побыстрее одеть в чистое, – засуетился Микола.

– На нём и так всё чистое..., праздничное, – всхлипнул Тиша.

Меня снова облачили в недоглаженную рубаху и в Иванов костюм.

С тех пор как на фронте осколок задел позвоночник, у меня побаливала спина, а с годами мучения усилились. Когда-то я сколотил из сосновых тесин лежак, военврач предупредила: «Спать на жёстком!». Тихон вспомнил о нём и, вытащив из-под матраца, мужики водрузили щит посередь горницы на табуретки. Застелили покрывалом и уложили меня.

Тиша всё никак не мог связать мне руки на груди. Он постоянно утирался промокшим платком, отсмаркивался. Микола молча отстранил друга и закончил дело. Пока он занавешивал окна, Тихон отыскал в Симином сундуке какой-то чёрный подшалок и прикрыл им зеркало. Микола знал порядок в таких делах. Полгода назад схоронил Пантелеевну.

Подойдя к иконостасу, зажёл лампаду. В солонку насыпал соли и воткнул зажжённую восковую свечу. Покопавшись в карманах, отыскал стольник и положил на тумбочку. Тихон, перекрестившись на божничку, вынул ещё один и положил рядом... Вот ещё удумали! Свои ведь!

Смерть моя за какой-то час состарила и без того немолодых моих друзей. На мгновение они присели... Слышно было, как

тяжело вздыхал один, как поминутно шмурыгал носом другой. «Ну, рассиживаться некогда», – скомандовал Микола, и они вышли... Я расслышал, как брякнула щеколда, и Микола сказал: «Я – к Петру, а ты – на митинг». Я догадался: отправился в столярку гроб заказывать. А Тихон объявит сейчас прилюдно о моей смерти., прямо на митинге. Испортит праздник... Ну, такой уж он был всегда, День Победы. И радость, и слёзы вперемешку.

Оставили одного... Как знали... Попрощаться без чужих глаз с хатой надо... Всё на месте... Прабабкины иконы в тяжёлых окладах, пожелтевшие карточки в рамках под стеклом, вязаная с голубками скатёрка. Только Симы нет... Теперь и меня не станет... Тишина давит так, что если б был жив, наверное, разболелась бы от её гула голова.

Протяжно завывала Жулька. Её привязали за амбаром, чтоб не мешала, не путалась под ногами.

Послышались шаги, и горница начала заполняться людьми.

Народ, не закончив митинг, потянулся к моей хате. Односельчане входили с зажжёнными свечами, стояли некоторое время, выходили, на их место заступали другие. Старухи расселись по лавкам, помоложе – засуетились на кухне.

Часа через три на подводе подкатил Петро, привёз обтянутый алым сатином гроб. Принесли соломы, разбросали по полу. В гроб уложили тюфячок, тоже набитый соломой. Петровна, покопавшись в Серафиминых ларях, каким-то своим, бабьим чутьём отыскала всё необходимое. Не могла уйти Сима, не сготовив смертное и для меня. Здесь было и белое церковное покрывало, и образок, и связка восковых свечей и ещё куча погребальных принадлежностей. Казалось, Сима и с того света волнуется за меня, заботится обо мне по-прежнему.

– Май месяц, а лето летом, – шептались старушки.

– С похоронами не задержишься. Жара.

– Ивана бы дождаться. Людка-то опять в Турциях. Микола до Витьки дозвонился., прибудет.

Ну вот, даже проститься шебутная не явится. Может, хоть Витёк соизволит. Иван, конечно, с женой постарается. Только бы не закопали раньше срока. А с другой стороны – чего теперя меня беречь? Вон как припекает! Будь что будет, терять уже нечего, всё потеряно...

Жаль только, не успел узнать, куда всё ж-таки ордена задевались. Как-то нехорошо... Будто я их сам перед смертью от глаз людских спрятал., застыдился ими. А стыдиться мне нечего! Вся жисть перед нашенскими на ладони. И на фронте, Миколай с Тихоном помнят, за мной ничего дурного не водилось. Вшей кормил, грязь хлебал, промерзал до самого сердца, пули не раз ловил вместе с ими...

Прожито много, но как подоспеет весна, кажется, всё вот-вот только и начнётся. И жисть будто целая ещё впереди. И помирать страсть как не охотно! Май-то нынче какой! Сады в кипении, год урожайный, должно, будет. Эх, пожить бы! Ну, ещё хоть годок-другой. Пусть даже печёт в груди и темнеет в глазах, всё равно – жить!

Проснуться от крика петушиного, от тявканья Жулькиного, выйти с крыльца, вздрогнуть от утреннего холодка, пофыркать рукомойником, согнать Зорьку в стадо. Да мало ли что ещё! И желания-то самые простецкие: пройтись с литовочкой по лугу росному, подышать цветом липовым, хрумкнуть яблочком яровым.

Писал же мне Иван: «Сходи к медичке. Пусть от сердца чего-нибудь пропишет». А что ходить-то? На девятый десяток перевалило... Видать, срок подоспел... Чего зазря лекарства изводить?

Давно в моей хате не было столько народу. Как дети разлетелись, мы с Симой словно осиротели, даже говорить стали вполголоса. Да нам и говорить не надо, с полвзгляда друг друга понимали, с полнамёка.

Вошла Никаноровна. Бабки потеснились, уступили местечко поближе к гробу. Никаноровна раскрыла «Псалтирь» и забубнила по привычке себе под нос. Никто на деревне не знает,

сколько ей лет. Я ещё мальчонкой бегал, а уж она и тогда старухой была. Церкви у нас нет, потому и батюшки нет, отпевать некому. На случай похорон призывается Никаноровна со своей древней, как и она сама, «Псалтирью». Коли вздумает кто подтрунить над бабкой: мол, когда сама помрёшь, кто ж тебя, старая, отпевать станет? – на это заготовлен у Никаноровны ответ: «Не дождёсси!». Назначенную самой себе службу старушка справляет добротню. Знает, когда в течение ночного бдения разрешается покемарить, когда перекусить не помешает, когда свечки зажечь, когда погасить. На неё полагаются, и установленные ею порядки принимают за церковные.

Никаноровна прервала чтение, вспомнив о чём-то, всплеснула руками, мол, нехристи вы, нехристи и приказала задвинуть Симины фикусы куда подальше – не место живым цветам у гроба.

Микола помогает бабам по хозяйству. Тихона спровадил в район за провизией и в военкомат за оркестром. Похороны будут скорые, на завтра передали +25.

Ну вот.., теперь точно Иван не успеет. Он же у нас за границей живёт! Когда это было, чтоб Украина чужой страной называлась? Таможня, граница... Тьфу ты! Разодрали страну на части, ни детям к родителям не добраться, ни родителям их не дождаться.

Односельчане идут и идут. И все ко мне... Даже как-то неловко. Не привык я к такому вниманию. Да и к тому, что умер, тоже пока не привык... Может, я просто сплю? Ведь вижу же я, как Сенька-баламут под шумок будильник мой с подоконника потырил и за пазуху пихнул. Вижу.., точно вижу. Слышу, как плачет закрытая в будке Жулька. А поделать ничего не могу: ни Сеньку по рукам шлёпнуть, ни Жульку вызволить. Тело не моё, не подчиняется мне больше.

Видать, я всё же умер... Душа только никак не успокоится... А как тут успокоиться? И ордена не сыскались, и с могилой не определяются. Места, сомневаются, рядом с Серафимой маловато. Ишь, чего выдумали! Не могу я вдали от жены лечь. В

тесноте – не в обиде. Шестьдесят годков под одной крышей теснились, а уж там Сима ради меня подвинется. И Ване polegшее будет.., траты какие... Памятник уж теперь один на двоих поставит.

Вот Сима-то обрадуется... Дождалась-таки. Я, как в холода её хоронил, места себе не находил. Сон последний год совсем пропал. Как вспомню, что одну в холодной ямине оставил!.. Всё просил гроб постилками шерстяными укрыть, не пожалеть, только потом уж землицей присыпать.

Хотел с Ваней потолковать... Оставался бы он дома. На кой ляд ему эта Украина, коли такой расклад у них пошёл? Никого своих там нету... Опереться не на кого. Дети далеко, в России. Переезжал бы уж на дедовский корень. И нам с матерью спокойнее б лежалось... под его приглядом... Шахты рушатся. Не ровён час, завалит... Вишь, праветель ихний никудышной какой... Напрочь с Россией расхристаться вздумал. От нас отбилси, а один не справляется. Мы рядышком, вот они, а Америка евонная, где это она? За морями-океанами. Когда-то помочи с неё дождётся.

За окнами стемнело. Зажгли ещё больше свечей. Тени расползаются по стенам, снуют из кухни в сенцы.

Командует Тишина Петровна. Жарится, парится, готовится поминальный обед.

Последняя ночь дома... Как я буду без него? Сима же смогла.., и я, наверно,.. смогу. Всю жизнь тянулся к ней... и за ней... Как увидел её в гостях на Казанскую, так и украла она моё сердце. Ни на кого никогда не взглянул... Куда им до моей Симы! Видать, и я ей приглянулся. Сватов заслал – не отказала. Правда, никогда не слышал от неё «люблю». Всё «жалкий мой» да «жалкий мой». Вон меж окон карточка довоенная. Я на стуле сижу, на руках Ванюшка годовалый, а Сима рядом стоит... Краше во всей губернии не сыскать.

Никаноровна помурлыкала, помурлыкала и прикорнула. А бабки наскоро пробежались по тем, кто не был рядом, быстрё-

хонько обсудили проблемы местного и международного масштаба.

Перемыли и постель, и косточки Лидке-фельдшеричке. Мол, почему это на медпункте бесплатных лекарств для инвалидов и престарелых нет, а за деньги – бери любые.

Досталось и Сидоровне, что дурманит мужиков некачественным самогоном. Подсыпает димедрол. Того гляди, траванётся кто-нибудь.

Пробрали Стёпку-тракториста. Вспахал по пьяни «дорогу жизни» – единственную шоссейку, ведущую в деревню. Теперь автобусник ездить отказывается, а ремонтом никто не собирается заниматься.

Иногда старухи вспоминали обо мне, притихали, крестились и сожалели, как тому и полагалось: «Хороший был Кондрат, царствие ему небесное!».

Ближе к утру, разобравшись с делами, к бабкам присоединились Микола и Тихон. Микола из нашей троицы – самый молодой. Тихон – самый добрый. А я... Я был на пару лет постарше.

Странно, почему, когда видишь себя в гробу, так остро хочется жить? А в запасе нет уже ни секунды, ни мгновения! Стою у черты... Передо мной, как в ускоренном кино, мелькает моя жизнь... Кадр за кадром, день за днём. Я не успеваю разглядеть картинок. В основном они чёрно-белые, лишь изредка – цветные.

Да, действительно, праздников было маловато... В большинстве – серые, беспросветные будни... Полуголодное детство... Война... Смерть трёх детей... Работа., работа., работа...

Лишь иногда вспышки... Отец вернулся живой с Финской (уже не надеялись, пропал без вести)... Сима, свадьба наша... Рождение Ивана... День Победы... И снова Сима., беременная дочерью... Вот, пожалуй, и все радости...

Светает... У крыльца резко тормозит легковушка. Слышится голос внука. Надо же... Не знал, что водит машину, да и вообще, что она у него есть.

«Витя, Витенька! – Петровна кинулась к двери. – Нету больше Кондратушки! Что ж, мамке-то сообщил?». «Где за ней угодненься? В Грецию за шубами отбыла. Будет через неделю». Внук, задержав взгляд на моём пиджаке, на том самом месте, где должны были красоваться ордена, прошёл к иконостасу, поправил лампадку и по-деловому, чего никогда за ним не замечалось, закомандовал похоронами.

«Жарень! Хоронить надо сегодня, часа в два. Дядька Иван всё равно не успеет», – Витёк заходил по хате, поторапливая баб со стряпнёй. Сам вызвался сколачивать с Тихоном столы во дворе. Поминать будут в саду под грушенкой.

А что? Место самое подходящее. Бессемянка в цвету, пчёлки жужукают, рай земной, да и только. Сады гудьмя гудят. Нынче мёд уже в мае качать можно. С вербы взяток хорош... теперь яблони пошли, вишни, груши, черёмуха. Только трудись, пчела. Да ей подсказывать не надо. Она, проныра, всё сама наперёд знает...

Да.., что станется с моими улюшками?.. Может, Микола догадается, подберёт. Хотя... Ему бы со своими управиться. Вот Жульку Тиша точно не кинет. Он сердобольнай... С куриами Петровна уже распорядилась – бабы щиплют. Ну и правильно, чего беречь-то? На помин души хозяйской пойдут.

Петровна – бабонька хлопотная. Стряпать умеет, хохлушка. Тихон её из Германии привёз. На работу немцы из-под Киева угнали. А как освободили, она в нашем эшелоне домой возвращалась. Пока ехали, обзнакомились они с Тишей да и поженились. Свадьба у них на колёсах прошла – весёлая.., победная...

Микола, тот всю войну по училке, что в сороковом к нам в деревню прислали, сох. Вернулся и не отступил, будто прилип. Не устояла Елизавета Матвеевна. Трёх сынов ему родила, выходила. Только свили Миколины орлы не в наших краях гнёзда, не стало Лизы, доживает друг мой Микола в опустевшей хате со щеглом Фимкой да котом Филькой. Хоть с ими словом перебросится... Я его понимаю... От одиночества и онеметь не мудрено.

Сам, бывало, затоскую, впору Жулке подвывать. Сбираюсь –

и к Миколе... Посидим..., выпьем по стопочке-другой, помянем Симу с Лизой..., потолкуем, вспомнить-то есть о чём, а там – и на печку пора.

Хорошо всё-таки, что Витёк подъехал. Вишь, как старается, организывает. А то Микола с Тихоном из сил выбились, годы-то какие...

Привезли венки, расставили вдоль стен. Лесом запахло, смолой. Даже не ожидал такой красоты. Как магазинные. В сенцах от крышки и креста тоже свежей сосёнкой пахнет.

Бабки раскопали Симины рушники. Ещё из приданного. Вот ведь когдагодились! Один завязали на крест. Отобрали самые длинные – гроб в могилу опускать... Там и останутся... Вот и ладно. Вышивала их Симушка. Опустятся на гроб, словно она руками ко мне на прощание прикоснётся.

Часам к двенадцати начал сходиться народ. Откуда столько взялось!

Ах, да! Праздничные дни. Гости понаехали. Вот и привалили со мной проститься. Спасибо, конечно..., только не по себе мне от этого... Да уж ладно, потерплю напоследок. И самому всех увидеть хочется..., проститься...

Витёк весь день с телефоном ходит. Придумали же игрушку: без проводов: маленькая, карманная, а в дальнюю даль дозво-нишься. Иногда Витёк кричит так, что слышно даже в хате. Вот опять: «Не торопи ты меня. Сказал – привезу, значит, привезу». Деловой Витька стал... Видать, поумнел... Даже радостно как-то... и помирать спокойнее...

Подошёл грузовичок. «Лапник, лапник тащите!» – поторапливает Витёк постовых-пионеров. Пристроившись на лавках в палисаде военкомовский оркестрик настраивает инструменты.

К часу дня Витёк объявляет, что пора заканчивать прощание. Оркестр играет «Славянку». Гроб выносят из дома и ставят на грузовик.

Душа моя разрывается, мечется между осиротевшей, всхли-пывающей сенной дверью, хатой и ещё не определённым на

вечный покой, но уже готовым ко встрече с Господом и Симой телом.

На кузов поднимают крышку, венки и крест. У изголовья – Микола с Тихоном. Витёк усаживается в иномарку. Жители деревни идут следом пешком.

Кладбище наше прямо за околицей. Грузовик еле ползёт вдоль улицы.., и я... прощаюсь... с каждой хатой.., с каждой ракушкой.., с каждой скворечней.

Так муторно, а тут ещё этот оркестр! Как ударит своими тарелками! Кто только придумывает такую музыку... Так жалко вдруг стало себя... Поскорее бы, что ли, всё закончилось. Хотя... Вот снова невыносимый приступ – нестерпимо хочется жить! Ещё чуть-чуть! Прокатиться с Витькой на его новой машине, повспоминать чего-нибудь из фронтовых передрыг школярям. Да просто поболтать ни о чём с незнакомцем.

Встать бы сейчас и сказать во весь голос, прямо с машины: «Любите друг друга, прощайте друг другу, общайтесь, заботьтесь друг о друге! Нет ничего дороже этого. Потому что это и есть жизнь, и ничего нет прекраснее неё! Даже самые невероятные жизненные тяготы – радость и счастье по сравнению с могильным покоем».

А Ивана так и нет... Может, телеграмму не получил? У них там стачки-забастовки. Досадно, не успел даже записку черкнуть, чтоб ордена поискал. Не могли же они бесследно из хаты исчезнуть?

Людка возвратится, приедет на могилку, выть станет. А что теперь выть-то? Мы для неё обуза. Всегда старалась подальше держаться. Семьдесят километров до города, а приезжала в полгода раз, а то и реже. Какой ей от нас прок? Пенсия крошечная. Она за день такую сумму спускает. Научилась спекулировать у своёво Вовки-Вольдемара.

У кладбищенских ворот притихшие было музыканты заыграли снова, и бабы зашмыркали носами. Мужики подхватили гроб и понесли через погост в дальний левый угол.

Душа моя вдруг почему-то заторопилась. Опередела односельчан, и воспарив над погостом, наблюдала, словно старалась запомнить лица пришедших, расслышать их редкий шёпот, сосчитать их шаги до ожидающей меня со вчерашнего дня могилы. С высоты голубиноного полёта ещё печальнее казалась поникшая толпа. Медленно, будто нехотя, пробиралась она меж покосившихся замшелых крестов, расшитых молодым земляничником, осыпанных, словно крошками пасхального кулича, первыми мать-и-мачехами, могильных холмов туда, где совсем недавно сладил я тесовую лавочку, куда зачастил со дня Симиных похорон... Под рябинку... Песню жена про неё всегда напевала...

Когда гроб поставили на табуретки, из могильной утробы потянуло отсыревшей глиной, дохнуло кладбищенской горьковато-слащавостью, и провожающие невольно отпрянули, видно, почуяли, как из глубины свежевырытой домовины на них взглянула вечность. Мне показалось, я даже вижу красную материю Симушкиного гроба. Стало спокойней... Значит, всё-таки бок о бок...

Как я и думал, выпятив пузо горой, председатель Прилепкин выступил вперёд и завёл тягомотину минут на двадцать. Даже я устал от его болтовни. Но тут выручил внук. Только Прилепкин надумал перевести дух, Витёк предоставил слово представителю военкомата. Тот был по военному краток. Щёлкнули затворы. Два бойца, приехавшие вместе с оркестрантами, произвели салют.

Гроб, наконец-то, начали опускать в могилу. Сильнее запахло сосновой доской... и бездной... Вдруг мне ещё раз захотелось взглянуть... в последний раз... на Божий свет.

Микола и Тихон уткнулись друг другу в плечо и беззвучно рыдали. Петровна обняла их обоих и прижала к себе. Я искал внука. Зазвонил телефон, Витёк дёрнулся в сторону, и я услышал, как он в полголоса сказал: «Успокойся! Дай хоть закопать. Ордена получил, получишь и иконы. Я тебя когда-нибудь обманывал?».

Что он сказал? Ордена?! Так вот где взял паршивец деньги

на иномарку! Надо что-то делать! Не могу позволить, чтобы в его руках оказался Симин иконостас!

Витёк, не дождавшись, когда засыплют могилу, рванул в деревню. Но где ему на своей жестянке теперь угнаться за мной!

Это только тело! Я слышал, душа, если дела земные не завершены, остаётся на земле до сорока дней. Не всё потеряно! Надо что-то придумать! Надо успеть!..

Ещё издали я узнал его... К хате быстрым шагом с остановки приближался Иван. Значит, всё-таки приехал! Спи спокойно, Сима. Я скоро буду.... Теперь и ордена найдутся, и иконы твои никто не посмеет тронуть... Иван дома...

На крышку гроба глухо посыпалась земля. Очнулась Никаноровна: «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного представльшагося раба Твоего, брата нашего Кондратия, и яко благ и человеколюбец, отпускай грехи и потребляй неправды, ослаби. Остави и прости вся вольныя его согрешения и невольныя, избави его вечныя муки...».

ПОДРАНОК



Весна бьёт во все звонницы. На Оке сошли льды. Изумрудится первая травка. Солнце припекает не на шутку – не по-мартовски. Мы сидим в парке на скамеечке – я и мой хороший знакомый пожилой учитель физики из Орловской школы Пётр Михайлович Сиваков. Говорим о раннем паводке, о последней подборке его стихов, опубликованной в местной газете. Пётр Михайлович родом из Белоруссии, с Могилёвщины. Давным-давно переехал в Орёл, но каждый отпуск проводит на родине.

– Не могу, – вздыхает, – лишь запахнет в середине февраля весной, лишь задзынькают сосульки, потянет меня, как старого аиста, в родные края. Посмотреть, буйно ли зацветёт вереск, урожайна ли черника нынче на моих болотах, не перевелись ли плотицы в заросшем купавками прудке.

Грачи горланят в кронах, таскают веточки, подновляют гнёзда. Порой взлетают всей хлопотливой братией, кружат в тёплых ветрах и шумной тучей снова обрушиваются на парк.

Мой собеседник наблюдает за птицами. Вдруг замолкает, словно припоминает что-то из далёкого прошлого. Я не осмеливаюсь нарушить его раздумья.

– Надо же., выплыло вот., – наконец вспоминает о моём присутствии Пётр Михайлович. – Был март., совсем такой же, как сегодня. Ранний. Звонкий. Разноголосый. Моя шестая весна. Военная...

И мне сразу же представился мальчик из разорённой войной белорусской деревушки. Подранок... Память его – открытая, незаживающая рана.

– Почти два года прожили мы с мамой в землянке. Фашисты спалили нашу деревушку Груднички. Оставили лишь несколько дворов на безлесом взлобке, подальше от партизан. Разместились в уцелевших хатах и начали вершить новый порядок.

По утрам Федька-староста пробегал с двумя полициями вдоль землянок, выгонял жителей на трудовую повинность – валить лес. И так изо дня в день и летом, и зимой. Боялись партизан, вырубали в округе лес.

Как не бояться-то? Весь край поднялся, вся Белоруссия. Кто стерпит такое зверство?

Жутко жить среди обуглившихся срубов, осиротевших печных труб, среди порушенного, которое для нас сизмальства до каждого плетня, до каждой скворечни было самым дорогим местом на Земле. Бабы ревели, мужики проходили молча, только сжимали крепче ручки топоров. Из мужиков всего-то два инвалида Первой мировой, а остальные наши – кто на фронте, кто подался в леса.

Матушка неделю как слегла. Ноги её распухли, вокруг глаз ещё сильнее проступили чёрные круги. Одежка мешком висела на обострившихся и без того худых плечах...

Общая беда сближает людей... Не бросали соседи... Помню деда Трифона... То взвар маме принесёт, то пирепиков на огородах насбирает, лепёшек сварганит, мне в карман засунет. Сам – в чём дух держится! Даже землянку вырыть не осилил. Накрыл кое-как валежником вырванную миною ямину, так и жил в ней вторую зиму, как медведь в берлоге...

Не забывала нас и соседка Макарьевна. Правда, была она не в себе после того, как немцы расстреляли её старшенького. Когда фрицы ворвались-таки на улицу Грудничков, засел он на колокольне посередь деревни и снял из дедовой берданы офицера.

Какая ж мать не свихнётся от такого горя?... Иногда Макарьевна забывалась и принимала меня за своего Стёпушку. Сovala в руку печёную картофелину, прижимала к плюшке, от которой пахло гарью и сыростью... Как сейчас вижу её, стоит перед глазами. Не забудутся, видно, вовек её обгоревшая белокрайка, разбухшая от весенней распутицы, на ладан дышащая обувь –слаженные из милостыни дедом Трифоном чуни.

В тот мартовский день полицей раньше обычного стукнул прикладом в амбарную воротину. Как-то, собирая на погорелье пожитки, матушка притащила её к землянке, приладила вместо двери. «На сход!» – заорал фашистский прихвостень.

Деревенских, согнанных на старую ферму словно перед забоем овец, оцепили автоматчики. Дед Трифон нащупал мою

ладошку в длинном рукаве отцовского ватника и крепко сжал. Толпа тихо переговаривалась.

Были последние дни марта. Ручьи золотистыми ящерками скользили по склону, убегали в ещё заснеженный бор. Пригревало. Федькин Вороной сыто лоснился на солнце. Яблоки навоза, просыпанные вдоль дороги, отогрелись, от них подымался пар.

На крыльцо вышли два офицера и колхозный счетовод Рудольф Францевич. Один из фрицев возбуждённо заиграл в сторону замерших баб. Автоматчики встали наизготове. Дед ещё сильнее сжал мою руку. «Ты, Петро, зажмурься», – посоветовал старик.

Я, не понимая ребячьим умишком происходящего, любовался начищенными офицерскими пуговицами, разглядывал непонятные знаки – молнии на красиво подогнанной шинели.

Заговорил Рудольф Францевич: «Господин офицер ищет добровольца, кто бы помог доблестным войскам Вермахта – нашим освободителям – пройти через болота». Толпа заволновалась.

Не раз устраивали каратели облаву на засевших в топях партизан. Но все попытки оказывались бесполезны. Как рвали они «железку», так и продолжали рвать.

– Пять минут на размышление, – взвизгнул переводчик.

Бабы молчали. У каждой второй ещё в начале войны муж подался в леса. Как могли они сдать отцов своих детей?

Прошло пять минут., потом ещё пять... Никто не сделал шаг вперёд, не поднял руку, не подал знак. Не было и не могло быть среди истерзанных работой, почерневших от голода и стужи, предателей.

Офицеры заговорили меж собой. Дед Трифон, побывавший в Первую мировую в австрийском плену, прислушался: «Об нас гуторють... Рыжий всех порешить удумал. А энтот, что в очках, супротив пошёл... Чья возьмёт – такая наша планида и станется».

Казалось, бабы от страха ещё сильнее потемнели. Сгребли детей, прижали к себе. Спор затягивался, офицеры ушли в хату.

Народ онемел. Зачуяв неладное, дети притихли, уткнулись в подолы матерей. Вдруг стоявшая в середине толпы Макарьевна не выдержала и начала за каким-то делом пробираться вперёд. Бабы сомкнулись плотнее, сберегая ополоумевшую от беды, сжали, не позволили протиснуться...

Ещё двадцать страшных минут стояли мы под прицелами автоматчиков.

Офицеры спустились с крыльца, за ними семенил счетовод Рудольф Францевич, выкрикивая: «Вам предоставляется возможность доказать свою преданность Великому Рейху – работать, пока не выпилите свои проклятые леса! Отправляйтесь за инструментом!».

– Выкусил? – зло сверкнул на счетовода дед Трифон. – Испокон веку на земле нашей такого не водилось, чтоб своих сдавать, холуй ты паскудной!

...Весна наддавала. Проклюнулся апрель.

С ватагой пацанов я бегал на пепелище. Рубил лапник, наваливал недогоревших хархаров, устраивал под сосенкой лежанку. Дед Трифон помогал выводить обессиленную маму. Укладывали, прикрывали. Она всё никак не могла согреться. Даже под палящим солнцем её не покидал озноб.

Уже замуравилась лужайка перед нашим убогим жилищем. Показался первый щавель. Ребяшня набивала голодные желудки травой. Хворала.

Схоронили Макарьевну... Не уследили-таки: кинулась с топором на полиция, приставленного к вырубке сторожевым псом. Полоснул из автомата – не моргнул... Детей разобрали соседи.

В ту пору подружились мы с Макарихиным Колькой. Лет на пять постарше меня, ловкий такой, смышлённый. Тощий, чёрный, словно грачонок. День-деньской лазали по лесу: то ягод сухих насобираем, то беличьи ореховые схроны разорим.

Как-то прибегает Колька спозаранку.

– Петрусь! Айда на охоту!

– Какая охота! – отвечаю, – до ветру выйти сил нет.

– Околеешь, коли со мной не пойдёшь!

– Чем охотиться-то?

– А во! – и вынимает из-за пазухи две свежеструганные ро-
гатки.

– Ишь, чего удумал! Кого эдаким орудием подобьёшь? – со-
противляюсь.

– В Параськины ракитки смотаемся. Там грачей – тьма тьму-
щая! – не сдаётся Колька.

– Спятил с голодухи! У неё немцы на постое!

Тяжело застонала мама.

– Чего раздумываешь? – Колька кивнул в её сторону. – Аль с
осени закормлены?

Поправив под болезной тюфяк, прикрыв получше фуфай-
кой, я зачерпнул воды, поставил с нею рядом.

– Ну, Кольша, гляди! Словят, не сдобровать!

...Снег давно сошёл, и солнце подсушило пожарище. Ветер
веял пепелище, гонял прогоревшие головешки. Деревенскими
задами пробрались к Параськиному двору. По пути завернули
на ручей, набили галькой карманы.

За бакшой плотным забором громоздились ракитки. Пожар
сюда не дотянулся, лишь слизал край ореховой горожи. В эту
дыру мы и пронырнули.

Грачи только просыпались. Переговаривались, взлётывали,
осматривали окрестность, возвращались в гнёзда. Мы засели в
прошлогодных черныбылях.

– Грачихи худые, без приварку – высиживают, редко слета-
ют. Бей по грачам, – учил Колька.

Прошло немало времени прежде чем наострились пулять.
Зачуяв недоброе, грачи облетали нас и с недоступной стороны
заходили на посадку. Наконец, Колька умудрился подбить пер-
вую птицу. А потом изловчился – и ещё двух. А у меня охота не
клеилась. Шесть лет – дитя малое!

– Возьми-ка, – друг протянул подстреленного грача. – Не го-
руй, Петро! Ещё и яичек набираем!

...Во дворе закопошились фрицы. Дебелый повар крутился
вокруг полевой кухни, готовил обед. До тошноты пахло тушён-
кой.

Усевшись на порожки, молодой немец наигрывал на губной гармошке. Из-под горы к Параськиному двору потянулись грузовики. Выгружались солдаты, пили из колодезной бадьи, умывались с дороги, готовились к обеду.

– Каратели! Снова облаву задумали, сволочи, – сплюнул Колька, – надо свистнуть нашим.

– Может, хватит? – кивнул я на добыток, – пора удирать! Завтра ещё разок заглянем.

– Щас! Я мигом! Ты пригнись пониже, посиди минутку. С той стороны ракиетки взберусь. Толстенная, не заметят, – заспешил пацан.

Подкинув мне своих грачей, быстро полез вверх по стволу. Дотянулся до гнезда, выгреб яйца, положил в котомку. Рядом ещё гнездо и ещё, и ещё!

Колька, словно хищник, опустошал гнёзда. Грачи, не выдержав вероломства, спохватились, застонали.

– Партизанен! Партизанен! – послышалось с усадьбы.

Колька белкой метнулся вниз. Раздались выстрелы. К ракиткам бежали фашисты.

– Тикай, Петро! Ти... – только и успел выкрикнуть парень.

Автоматная очередь оборвала его на полуслове. Колька рухнул в бурьян и из последних сил протянул мне котомку. На Макарихиной душегрейке, в которой он ходил после материной гибели, заалела кровь. Вдоль и поперёк была она прошита пулями, лохмотьями выбивалась окровавленная вата.

Глаза друга погасли. Ничего не соображая, я протянул руку навстречу Колькиной, схватил котомку и помчался к прорехе в изгороди. Нырнул в неё и – к обрыву. Кубарем – вниз, через ручей и в лес!

Позади – переполох: орали грачи, гыркали немцы. В Параськиных ракитках остался мой друг Колька...

Я бежал и бежал, пока, наконец, обессилев, не упал в довоенный омшаник. В моей котомке лежали три чёрных злосчастных птицы. В Колькиной – размелюженные грачиные яйца. Долго не решался в неё заглянуть. Под вечер голод взял своё. Всхлипывая, растирая по лицу грязными ладонями слёзы, вы-

брал скорлупки из сумки. Склонился и выхлебнул скользкое желтоватое месиво.

Два яичка оказались целыми. Свернув кульком лопух, уложил в него драгоценность. Подобрал обмякших грачей и по сумеркам прокрался к врывшемуся в землю Грудничкам.

Подполз к своей землянке, отворил дверь, прислушался... Тишина...

– Мама! Мама! Посмотри, что я принёс! – бросился к маме, протянул на ладошке два крохотных яичка.

Мама пошевелила рукой, видно, захотелось напоследок меня пожалеть...

Разбив яйца в алюминиевую кружку, недавно разысканную на останках нашей хаты, я поднёс её к маминым губам.

– Чуток пораньше бы..., голубь мой..., – еле слышал угасающий голос.

... На другой день дед Трифон ощипал грачей. В чугуне на костре сварил похлёбку. На помин.

Собрались соседи. Маму завернули в обгоревшую штапельную занавеску с нашей припечки, отнесли к лесу, на новое кладбище. Старое во время боя разворотили фашистские танки. Уж и на новом виднелось столько крестов! Полдеревни легло на нём за два года.

Яму выстлали лапником, опустили маму. Сверху насыпали гору вереска... Любила мама пору, когда цвёл вереск.

«Помянем рабу Божью Матрёну», – пришедших позвал дед Трифон к себе в землянку.

...Ещё издали, выходя из лесу, заметили на взгорке виселицу. Фашисты повесили моего друга Кольку ... Уже мёртвого... На шее – доска. Крупными корявыми буквами: «Партизан»... На устрашение...

Через месяц наши отбили мою, выжженную дотла деревушку. Партизанский отряд проходил вдоль улицы. На одной из печных труб аисты обустроили гнездо, из него выглядывали два птенца.

– Наладится... Всё наладится! – кивнул мне командир. – Держись, малец!

К РОДНЫМ



Радоница. Второй день от Красной горки. Нынче весна ранняя, швыдкая. С каждым годом, стала примечать бабка Катерина, всё быстрее отметили для неё метели. Подберёт зима свой истрёпанный ветрами хвост, твякнет-хватит, будто лютая собачища, напоследок морозами – и нет её, как не бывало. Лишь останутся напоминанием о ней замызганные сопливые снега по буеракам, но и те слизнут парные апрельские дожди, растопит-поджарит, будто смалец на сковородке, бойкое внешнее солнышко.

И оглянуться Катерина не успеет, как горожу надо городить, чтобы скотина по бакше не шастала, картошку прогревать, с Федькой-трактористом загодя сговориться стать на очередь, чтоб вовремя вспахал-засеял. В былые годы за пару зорь ничего не стоило ей и лопатой управиться. Но то ж когда было! С тридцати трёх вдовствует. Всё в одни руки. Поизносились бабка Катерина. Глазньками-то чего б не наворотила! А только порой и похлёбки сварить мочушки нет. С каждой весной урезает она себе бакшу и урезает. На кой ляд такая-то? Вон в подполе ещё сколь картошки! Всё одно под гору валить. Проросла, спуталась, не разобрать.

Уж и третьи петухи отголосили, а бабка так и не сомкнула глаз. Какой сон? Дождалась-таки, дал Господь и в эту вёсну дотянуть до самого наиглавнейшего для неё дня – Радоницы.

На кухне зашипели ходики, растворилось оконце, но кукушка кашлянула, поперхнулась и притихла. Катерина сползла с постели, натянула бурки и, пригрозив птичке корявым шишкастым пальцем, поддёрнула гири. Вернулась в горницу, села на кровать. Дожидаясь рассвета, взяла с полки прореженный временем гребешок, расчесалась на пробор. Коса у неё всё такая же, по самый опоясок. Только из тугой пшеничной короны вокруг головы осталась белёсая жиденькая верёвочка. Бабка закалывала косицу шпилькой, заправляла её под низко повязанный платок. Некому пожалковать об её угасшей красе. Уж сколь годков некому!

На Петровичевой веранде пыхнул свет. «Витька ихний из Заречного возвратился, – решила Катерина, – бабы перетирают:

по Людке Тимохиной сохнет, обхаживает... Коли не война эта растреклятая, и я внучат бы давно выхаживала... Как убивалась тогда на росстани по Митеньке Варя Сотникова! Любовь у них, знать, была... Сказывают, так и не сложилось потом у неё в городе»...

Бабка пообвыклась глазами. Всё в горнице по-прежнему. С тех пор как ушли её родные, не меняла она в своём обиходе ничего. Надеялась, что живы, что ошибка вышла. Не могли они уйти, оставив её одну-одинёшеньку на белом свете, знали, что она и дня без них не может. Только верой в их возвращение и цеплялась за жизнь. Сердце не смирялось с похоронкой.

Тятка-то за Василия не отдавал... Катерина из крепкой семьи, а Вася – сирота сиротой, бабушка выхаживала. За все годы, что прожила Катерина с мужем, ни разу не пожалела о той мартовской ноченьке, когда семнадцать лет в одном платъице ушла из родительского дома к Васе.

Всё нажили... Вася рукастый... И дом поставили, и хозяйством обзавелись. И табуретки, и стол, и этажерка – всё мужем слажено... А уж как берёт её, Катерину-то! Соседки завидовали: «И за что тебя, девка, Господь мужиком таким наградил?».

А как народился Митя, так и жили ради него. Смышлёный был мальчонка, всё около отца, около трактора крутился. Вася прикидывал: сынок на механика выучится... Вон и книжки Митины на полке... Сколько лет надеялась, пыль сметала, хранила, думала, может, вернётся Митенька, сгодятся.

Катерина встала, подошла к шкафу, раскрыла резные створки: Митины сатиновые рубашки, Васин тёмно-коричневый в полоску пиджак. Погладила вещи, опустила руку в карман пиджака, нащупала расчёску. Когда-то она купила её в городе на ярмарке для Васиных норовистых кудрей... А в другом кармане... она точно знала... письма её родных.., все семь... Писал их всегда сынок. Почерк мелкий, убористый. Всё: как ты, мамка? Не хвораешь ли? Как с уборочной, управились ли без мужиков? И обязательно – Варе поклон. А о себе особо не прописывал. Про-

мим, мол, врага лютого. Ты только дождись нас, мама, снова заживём, лучше прежнего. А в конце – обязательно приписка. Буквы корявенькие, Васины. Мол, крепко тебя, Катерина, обнимаю, помню. Навеки твой – Василий Митрофанов.

Старушка за долгие годы ожиданий запомнила на треугольниках каждый завиток. Очки не надобились, заучила наизусть... все до одного.

Вчера днём было не до воспоминаний, а ночью нахлынули, не отпускают...

В сенцах громыкнуло, и в отзынутую дверь проскрёбся Катеринин нахлебник, хозяин и гроза всего проулка кот Стёпка. Шляется с самого марта где ни попадя, пропадает по неделям, а мыши ходуном ходят. Сготовила старая семечки гарбузные на посадку – угостились за моё почтение. «В каждом дворе опосля твоего гостенья рыжатки мявчут», – пощуняла любимца бабка.

Ещё с мужем завели они эту золотистую масть. С тех пор Катерина сколь котов сменила! И все рыжие, и все Стёпки... – как при Васе.

Накануне умаялась, хлопотала у печи. Красила в луковой шелухе яички. Рябка свеженьких после Пасхи поднесла... Рябку вчёрась, хоть и жаль, порешила.

Вечером разостлала на сундуке новый подшалонок, собрала всё, что полагается на помин: свячёный в новой, в прошлом годе поставленной церкви, куличик, пяток крашенок, умлевшую на тихом жару Рябку. Спихватилась – позабыла красненькую. Откутала чулан, разыскала поллитру.

Вася-то особо не потреблял... Было, правда, раз., гулял дружкой у Федьки Прохорова на свадьбе... Но уж как маялся! Опосля и нюхать не нюхивал...

Увязав узелок, выставила его на холод, в сенцы на лавку. Сверху прикрыла плетушкой. Не дай Бог Стёпка начередит, разучует Рябку! Плетушку, для покоя, привалила голышиком, что из капустной кадки под Велик-день вынула (квашенка уж на самом донце, подъелась за зиму, гнёт ни к чему).

Не спалось...То ли от того, что не как обычно, на печке, а пройдя по полосатым, редко хоженным половикам в дальний угол почти нежилой горницы, Катерина прилегла в прохладную (столько лет не тронутую!) постель; то ли от того, что пахло от подушек чабрецом и донником. Вася любил дух спелых трав, и она в лучшие годы, тайком от мужа, сушила и подкладывала в подушки пригоршню-другую душистых цветиков. Бабы допытывались, бывало: «И чем ты Василия приворожила? В жисть на сторону не лызнул, будто окромя тебя в округе и баб статных не сыскать!».

Почти исчезнувший, но такой знакомый, сразу уловимый запах трав напомнил Катерине довоенное время, пору сенокосную.

Двужильная была она, мужику на косовице не уступала. Ручку шла за Васей след в след, ни на шаг не отставала. Припомнились ей давно затерянные, почти уж стёртые временем ночи в лугах покосных. Не ночи – мгновения! Откуда силы брались! Ночь с Васей в копёшке пролюбятся-промилюются, а утром опять за косу, за грабли-вилы. Знать, от ласк Васиных, от поцелуев жарких душа у бабы пела, руки к работе рвались... Вася дочку хотел... А Катя ему: «Срамота! Митьке пятнадцать, а ты – роди да роди!» Да.., жизнь была в радость. Только такое короткое бабье счастье оказалось!

За неделю до того проклятого дня покосы у Светлого дола отвели. Председатель Фомич расщедрился, от колхозных работ освободил. Паи богатые нарежали. Коси – не хочу! По двору бабушку Васину оставили. Хоть и духу у неё на копейку к той поре осталось, а всё ж таки живая душа: курам сыпанёт, Милку из стада встретит-подоит.

Травища! Стена стеной! После тёплых дождичков как попёрла! Не разгонишься, коса задыхается. Ручку пройдёшь, уж на копёшку смахнул. Работы хватало. Спозаранок, покуда роса, косили. Потом прибежал Митя на подмогу – валки подразбить, вчерашнее сворошить. Днём жара! Сенцо, что чай, душистое. Неподмокшее, за день просыхало. Бери да смётывай. Вася – са-

мый мужик, тридцать пять, Катя – чуток помоложе.. Подвострят жалыцы да и вдругорядь, без передыху. Силушка на волю рвалась. Весь отдых – кваску попить. Подвалили – на три коровы. Подумывали, не пустить ли бычка в зиму. Корму – хоть отбавляй.

В тот день Вася заканчивал делянку, а Катерина с Митей в валки скатывали сухое. Уж полдень вовсю. Смотрят: бригадир на Смелом летит. Вася ещё: «Запалит, паразит, коня!». А жена ему: «Васенька, знать чтой-то приключилось! Уж не пожар ли?». Петрович на стременах привстал, картузом машет, созывает: «Война! Война с германцем!» Вася только и сплюнул: «Эх, скопнить, сволочь фашистская, не дал!»

А Катерина не могла, не хотела верить... Какая война? Всё такой же залитый солнцем день, на небе – ни тучки, ни громыхнёт, ни сверканёт. И дед Редька погнал стадо к тырлу на дойку. Беспечно роятся бабочки, воробьи барахтаются в просёлочной пыли, голопузая ребятня ныряет с кладки у Стешкина омута. И кукушка с самого утра считает и считает. Всем до ста лет наворожила. И такая красота кругом! Разве может в такой день где-то прятаться, подкрадываться смерть?

«Брешешь, – загалдели мужики на Петровича, – у нас сговорённость!». Но, подхватив наспех косы и грабли, рванули в деревню. Какая косовица!.. У правления, вывесив на столб тарелку, всех поджидал председатель. Завидев его, смекнули: видать, дела нешуточные, коли так посуровел и ссутулился Фомич. Разом постарели бабы, посмурнели мужики, притихли ребятишки... Казалось, помертвело всё вокруг, будто перед грозой: осыпались маки в конторском палисаднике, присмирели в чертополошинах воробьи, и только ласточки, словно пули, вжикали и вжикали низко над землёй... И вдруг над покосными лугами, над просохшим несмётанным сеном ка-ак бубухнуло, и с запада потянулись тяжёлые страшные тучи. И уже совсем рядом, у околицы, ударило ещё раз и сверкнуло так, что полыхнули тополя на Манькиных задворках. Над ними застонали грачи, заорали, закружили, накрыли обмершую деревню чёрным расплзающимся облаком...

А уж после Петровок, в середине июля, мобилизовали всех работных мужиков...

Растревожила старуха душечку воспоминаниями... Да и как забудешь те минуты, с которых жизнь покатилась кувырком и не сыскать уж возврата к её далёкому счастью?

Не давала бедной Катерине уснуть и карточка, что висела в горнице над фикусом, напротив кровати. Пожелтела совсем. Вон ведь как рушник по раме белеется, а Васи с Митею почти не разглядеть. Только старушка точно знает: тут они, смотрят прямо на неё, в упор, будто до сих пор сердчат за то, что выла, пласталась у большака, как провожала, не отпускала.

А как не причитать-то? На велику бойню нешто лёгко сразу обоих спровадить? Вася всё ж таки мужик, а Митенька!.. Господи, до семнадцати годков двух месяцев не дожил... Море разливанное слёз утекло, а всё не может простить себе Катерина, что не доглядела, не удержала, не спасла единственную кровиночку...

Сколько раз, не считано, голосила она за свой век старинную вдовью песню:

*На кого ты, милый мой, обнадеялся?
И на кого ты оположился?
Оставляешь ты меня, горе-горькую,
Без теплова своего гнёздышка!..
Ни от кого-то мне, горе-горькоей,
Нет-то мне слова ласкова,
Нет-то мне слова приветлива.
Нет-то у меня, горе-горькоей,
Ни роду-то, ни племени,
Ни поильца мне, ни кормилеца...
Остаюсь-то я, горе-горькая,
Младым-то я млада-младёшенька,
Одна да одинёшенька.
Работать мне – изможенья нет,
Нет-то у меня роду-племени,
Не с кем мне думу думати,*

*Не с кем мне слово молвити –
Нет у меня милова ладушки.*

Причитала Катерина всегда душой. Повоет, глядишь, и полегчает. Поголосит, что через скобку водицы святой плеснёт, – отляжет с душеньки.

Как провожала мужа, думала, до осени..., край к Роштву свиятся. А оно вона как закрутилося! На годы захлестнуло!

Оба легли..., вместе..., в сорок третьем... И ведь где-то рядом... А могилы старушка не знает. Дуга-то Орловско-Курская эвон какая была! И бойня жуткая... Тут., в нашенской земле лежат её родные – хоть это успокаивает надорванное сердце.

Как подходят майские, День Победы, собирается всё село к правлению, у обелиска; откричит Катерина у себя в хате, повяжется вдовым, ни разу не менянным на светлый со дня двойной похоронки платком, и, окаменев (как только ноженьки несут?), потянется за односельчанами на митинг.

Много фамилий высечено на камне, но нет на нём двух её самых дорогих имён. И оттого нет и ей покоя сколько уж лет. Не заспит, не заест своего горя Катерина. Хоть бы одним глазком увидеть то место, где остались навечно её Вася и Митенька... Как могли сгинуть без вести её родные?.. Землицы бы своей, деревенской свезти, на холмик посыпать, поголосить бы от души, рассказать им, как жила все эти годы осиротевшая в самом расцвете Катерина.

Хоть и была с вечера сварена поминальная пшёнка, собран узелок, бабка поднялась, ещё не забрезжило. Зажгла свечку у Георгия Победоносца, пошептала с ним о чём-то, поклонилась в пояс мужниной и сыновней карточке. Но не заголосила, не закричала. Утёрла влажные глаза кончиком подшалка. Слез не было. За долгие мучительные годы выпали они ядовитой росой на её сердце, иссушили его. И сама она – щепка-щепкой. И живёт из года в год одной надеждой, что откроет Господь ей глазоньки и в этот год на Радоницу...

За окном затарахтел мотоцикл. Агроном Иван Сидорыч со-

брался ни свет ни заря в поле. Гришка, вроде, у Дальнего лога вчера рыкал, пахал. Сидорыч ему не доверяет... Да и как доверишь? День работает, неделю пьёт... Да.., пулей долетит агроном до Дальнего. Теперь эвон какая техника!.. Раньше-то лисапедка за диковинку слыла. Редко у кого имелась.

Помнится, отселись по весне, Василию премию выдали. А он – ишь чего удумал! – на подарки её и убухал! Лисапед в сельпо приобрёл. Митька всё Варюшку Сотникову в Снежный овражек за черёмухой катал... Потом её соседскому мальцу отписала... Вещь почти неиспользованная. Чего зазря без уходу ржаветь-то? Застоялась без хозяина... Митя бы позволил.., душенька на распашку.., бесхитростной... Кто только ни гонял при нём на лисапедке том!

И жену не обнёс тогда Василий: отрез крепдешиновый прикупил. По топлёному молоку розанчик аленький с голубиное яичко. А ещё учудил – помаду к лицу! Вовек она губы ничем не мазала. Только за ради Васи и приняла подарок... И по сей день лежит та помада в сундуке, рядом с любимыми бусами, теми самыми, что одарил её Вася за сына. Крупные, ягодка к ягодке, вишенка к вишенке... Не стало мужа, и запрятала она свою радость, завязав в носовой платочек, на самое донце сундука. Нечего душу берeditь!..

Любил Вася Катерину порадовать. Да и вообще задористый был. Привёз как-то из города штуковину. Для всех, мол, чтоб в дому веселье не переводилось. Открывает ящик чёрненький, а в нём – патефон! Первый на деревне! Катерина: «Что ж ты? Видать, все деньги ахнул?». А Вася: «Ничего! Жизнь впереди! Ещё заработаем!». Вынесет к вечеру музыку во двор, вся молодежь на «Кукарачу» да на «Рио-Риту» и сбегается...

Патефон Катерина в сорок пятом отнесла в клуб... на общий праздник.., да там и оставила... всем на радость.

С полным рассветом бабка отправится в путь. А пока, не привыкшая к безделью, Катерина искала своим рукам заботы. Бурьянным веником размела утоптаный до сметанного блеска пятачок у крыльца, прибралась на загнетке. Порылась в сундуке,

вынула тёмно-синюю в мелкую крапку штапельную кофту, обористую, цвета смурной октябрьской ночи юбку, новый подшало. Целая стопка этих чёрных подшалков громоздилась в углу сундука., чтоб хватило до конца бабкиных дней. Видать, её это цвет – чёрный...

В тот день, когда Маруська-почтальонша принесла похоронку, жизнь Катерины, словно берёзовое полено, раскололась надвое. Маруська протягивала страшный конверт, а она отступала. Забежала в хату и заперлась. Пролежала в беспамятстве сутки, а как выползла на другой день в сенцы, обнаружила похоронку на полу. Почтальонка подоткнула её под дверь.

Маруська и сама была не в себе. Месяц назад получила такую же страшную весть о своём Николае. А потому не стало у неё сил на причитания с Катериной. Сколько похоронок разнесла по деревне! Но разве к такому привыкнешь? Со смертью мужа оборвалась в натянутой душе её какая-то звонкая струна, и она сникла, как никнет от лихих заморозков всё живое.

С тех самых пор Катерина старалась не заглядывать в зеркальный осколок повыше загнетки, встроенный когда-то для неё мужем. А если бы ненароком посмотрела, то не узнала бы себя – за ночь выбелило ей голову да так, что и невозможно предположить, русая или чернявая была её коса до гибели мужа и сына.

Выгребая из подвала на посадку картошку, баба откидывала старую, сморщенную, никому не нужную, не годную на еду, не способную родить. Она невольно сравнивала себя с никудышной, жмуриной картофелиной. Становилось ещё горше.

А сейчас, в свои восемьдесят с лишком, бабка Катерина, как замшелая верба на Синь-юру, гнулась всё ниже и ниже. И так же, как верба, не сдавалась ни лютым ветродуям, ни страшным февральским буранам: всё ещё скрипела зачем-то на этом свете. Почему Господь до сих пор не забрал её к себе? Может, и ему она не нужна? Или за давностью лет позабыл Всевышний о её существовании?

Бабка и сама понимала, что задержалась на этом свете. Но несколько лет назад в райцентр ко Дню Победы доставили на-

стоящий танк. Говорили даже, что времён войны. Установили его на главной площади как памятник над могилой неизвестных солдат, погибших у нас в сорок третьем.

И решила тогда для себя Катерина: эта общая солдатская могила и будет могилой её родных. Они ведь танкистами были, у танка им и лежать полагается.

И повадилась она в район. Не на День Победы, когда митинги да оркестры, а на Радоницу. Хотелось ей наедине попричитать о Васе с Митенькой, потолковать с ними о своём.

Теперь у Катерины в этот поминальный день неведомо откуда брались силы. Согнутая в три погибели спина её распрямлялась, и бабка становилась проворна, словно молодуха. Издали казалось, сорокалетняя сноровистая баба снуёт по Катеринину подворью: вывешивает чугуны на просушку, отворяет ставни, стучит-гремит вёдрами, торопится с управкой.

В те страшные дни, когда фашисты нахрапом брали в округе село за селом, всю колхозную технику, лошадей приказали спешным порядком отправить на фронт. Председатель Фомич уговорил приехавшего уполномоченного, чтобы колхозу за все трактора и грузовики позволили иметь именной танк. Так и назвали его, как колхоз, – «Родина». И усадили на него лучшего тракториста, Василия Митрофанова.

Митя к тому времени два раза убегал на фронт. Но его упорно возвращали. И порешил Василий взять сына в экипаж. А Катерину успокаивал, мол, всё одно сбежит, а со мной хоть под приглядом будет.

Так и воевали почти два года отец с сыном на колхозном танке. На карточке разглядела как-то Катерина, на башне танка Митя краской вывел: «За Родину!». И за колхоз, значит, и за всю огромную страну.

Мужики её бились с врагом, а Катерина вздрагивала от каждого стука в дверь...

Через месяц как ушёл Василий, поняла она, что ночи июньские покосные оказались для них действительно счастливые – Катерина понесла. Но крошечная Василиса, не прожив и ме-

сяца, померла... В страшном сорок втором не было места младенцам.

Как бедовали под немцем, жутко вспомнить! Хорошо, что бабушка Васина через неделю как он ушёл, преставилась. Чем бы кормила её Катерина? Выгребли всё подчистую нехристи. Бабке до сих пор не верится, что съюжила деревня тогда, не померла с голоду. Картошку прошлогоднюю в полях по весенней хляби собирали, сушили, мололи, «пирепики» стряпали. Хлеба два года не видывали. Всё на подножном корму. А чтоб приварок какой! Об этом вовсе позабыли. От голода пухли, еле волочили ноги. Скот, птицу немец вырезал. Детишки мёрли один за другим. Крыс-мышей и тех не стало. Стёпка с голодухи стащил у германского повара курицу... Пристрелил злыдень Стёпу...

Бывало, идёт Катерина вместе с другими бабами под прицелом полиция Афони окопы рыть, а сама думает: «Только б знать, что живы, что бьются, а я уж тут как-нибудь». А саму ветром шатает от мякинных лепёшек да от лебеды. Чёрная, словно смерть, в чём только душечка теплится.

А как нашим придти, удумали фашисты девок, мальчишек да баб молодых в неметчину гнать. Двое суток просидели они с Варей в шейной яме. Дед Микитка соломой завалил, стог над ямой свостожил. Тем и спаслись.

К осени сорок третьего, как уж похоронка пришла, надумала Катерина с жизнью расстаться. Прасковья, соседка, из мотка вынула: «Ты что ж это, девка? – серчала она, отхаживая Катерину. – Фашиста погнали! Только жизнь начинается. Эх, ты!». А Катерине на белый свет глядеть не хотелось. Ничто не мило.

Но демобилизовали с фронта израненного Фомича, затеплил ся колхоз. И Катерине некогда стало задумываться о собственной судьбе. Навалилась страшная, тягловая работа. В деревне не осталось даже коров. Подходила весна. Надо было как-то вспахать, чем-то засеять. По четвёрке бабы впрягались в плуги и пахали не огороды – запущенные колхозные поля.

Тупая, тяжкая, каждодневная работа опустошала и тело, и душу. Повечеряв кой-чем, валилась замертво. Наверно, это и спасало. Не оставалось времени на нытьё. Надо было выживать

всем бедам назло. И в душе всё не гасла, теплилась крошечная надежда: а вдруг всё-таки живы ...

В сорок четвёртом на одной ноге вернулся с фронта Фомичёв Михаил. Парень видный. Но на десять лет моложе... Вернулся – и к ней. Так, мол, и так, всегда нравилась, напрасно ждёшь, мёртвые не воскресают.

Захолодело у неё всё от правды жестокой, но сдержалась, не накричала, не вытолкала прочь, лишь твёрдо сказала, как отрезала: «Не серчай, Васю люблю». Не «любила», а «люблю!». «Мёртвым не видала, а значит, живой он для меня, и дороже Васи с сыном нет в моей жизни никого!».

Катерина раздвинула занавески, выглянула в оконце. С востока, словно крашенки, выкатились малиновые облачка, вот-вот покажется запоздалое солнце – румяный пасхальный куличик. Уже блеснула, прорезалась над Мишкиной горой его коронка.

Старушка всплеснула руками, вспомнив, что позабыла о выращенной для Васи с Митей гераньке. Она вынесла и её в сенцы, поставила рядом с узелком.

Выпросила у Семёновны ещё с осени росточек. Выходила. Кустище звон какой вымахал! Геранька – цветок немудрёный, особого ухода не просит. Гореть будет у танка до самых заморозков.

Поначалу власти настороженно отнеслись к появлению бабки Катерины у танка, но, присмотревшись, смирились, допустили, сошли до бабкиного горя. Обычно она садилась в сквере на лавочке, развязывала свой поминальный узелок, наливала стопочку себе, две других ставила на краешек памятника. На землю, туда, где по весне школьники высаживали цветы, к подножью танка, клала крашенки, крошила куличик. А потом часов до пяти вечера обсказывала родным о своём житье-бытье. Старалась понапрасну не тревожить. Зачем им знать об её хворобах, о том, что угол у горницы осел так, что и зимовать страшно, что в деревне проводят газ, а ей денег даже на дрова собрать непросто? Пусть покоятся с миром. Земля им пухом и царствие небесное.

Совсем развиднело. Прихватив узелок и горшок с геранью, бабка затворила крыльцо, вставив в ручку орешину и уселась наизготовке под грушенкой. В её кипени уже жужжали пчёлы. Дульку эту раздобыл где-то Митя и посадил у крылечка в предвоенную вёсну. Не один десяток лет кормит она безотказно деревню. Людям на здоровье, Мите с Васей на помин.

Коровы стадом прошли вдоль улицы за околицу, в Марьин овражек. Потянуло парным. Когда-то и Катерина держала корову. С последней Зорькой тяжело расставалась... А куда деться-то? Руки совсем не слушают. А её, сердешную, ну-кась, обиходи. Советовали ей козу завести... Нет скотины и эта ни к чему. Конечно, стакана б молока ей хватило. Но как вспомнит она вымястую Зорьку!.. Идёт по улице на закате, дойки чуть ли не по земле волочит. И молоко сдержат не может, так и кропит на подорожники...

И что это Михаил задерживается? Уж кой год молоковозит, а порядку не помнит. Правда сказать, об одной ноге-то шибко не разгонишься. Да и в дому один. Лидия-то когда ещё померла... Во все концы один... И с конягой поди управься!.. Молочка тайком прямо с фермы завезёт и завезёт Катерине... Тебе, мол, словно дитю малому, полагается... Придумал тоже!.. Не раз, как помоложе была, предлагал сходитья... «К чему на старости лет срамиться-то?.. Да и Васю я с годами ещё пуще люблю», – отнекивалась Катерина. Он, видать, за любовь такую крепкую к Васе и уважает её, каждый раз поклон её родным передаёт. Сполню, мол, Катя, просьбу твою, сполню...

Слышится скрип, и из-за Прониной хаты выкатывает телега, гружёная молочными бидонами. На передке, на охалке сена восседает Михаил. Он в новом картузе и потёртом плисовом пиджаке, на котором поблёскивают медали и орден Славы. Заметив пристальный взгляд Катерины, поясняет: «Ить я тоже... не у мамки за печкой хоронился!.. Собралась что ли?».

Катерина, придерживая узелок и гераньку, усаживается рядом. «Ну, милай, поспешай! Аль не знаешь, куды едем?!», – прикрикивает на Гнедого Михаил.

ФРОНТОВИЧКА



В детстве была у меня закадычная подруга Галка. Зимой мы до блеска укатывали – то на санках, а то и на пузе – Мишкин бугор. А летом в Жёлтом меж камней ловили руками пескорея да головастики. Всё как у нормальных деревенских девчонок.

Одно меня всегда смущало. Бабку её «Колдучихой» звали. Для Галки она – родная бабушка, а мне боязно. Я вечером мимо её хаты и проходить-то боялась. Засижусь у подружки, а потом она меня от собственной бабки провожает.

Полола я грядки на бахче (в деревне все с детских лет при деле). К вечеру сыпь на руке объявилась. Серпантинном обвила и чешется... Подпрыгнула температура.

Хутор он и есть хутор. Ни врача тебе, ни фельдшерицы. Бабка Галкина за всех сразу.

Промучилась я ночь. Наутро, бойся-не бойся, а идти к Колдучихе надо. Никогда раньше у неё не была, а вот пришлось.

Хата под соломой. На крыше поросль берёзовая. Мох шапкой набекрень напозавет на ветхое крылечко. Поднимаюсь... Порожки поскрипывают, сердце ёкает... Что как околдует, не вернусь? Превратит в гусыню какую-нибудь.

В углу метла из бурьяна. «Вот, – думаю, – и транспорт её». А сама бочком, бочком от метлы подальше – и в сенцы.

Полумрак. Маленькое окошко в паутине – свет еле проникает. Слышно, как на чердаке воркуют голуби. Зачуяв меня, выпархивают в круглое отверстие под самой крышей. Я вздрагиваю.

По стенкам – плетушки, коромысло, пила-двуручка, какая-то ветошь. На пыльной полке – старый медный самовар, керосиновая лампа да пара запасных пузырей.

Из угла в угол натянута верёвка. А на ней – связки сушёных грибов, яблок, пучки калины, всякого чертополоха.

– Вот из чего зелье-то она колдовское готовит, – смекнула я, – небось, грибочки – мухоморы да поганки.

Тихонько отворилась дверь. На пороге стояла Колдучиха.

Наверно, ещё по фронтовой привычке она коротко стриглась и, к удивлению наших баб, никогда не носила юбку. После возвращения с войны ходила в солдатской форме. А потом – летом

в брюках, которые сама шила, а зимой – в ватных штанах да душегрейке, подбитой заячьим мехом.

Признавала только самосад. Сажала в палисаде. Разбавляла его душицей и баловала себя самокруткой. Пальцы цвета ржавчины. Кашляла, словно заправский курильщик.

– Что стоишь, заходи. Я тебя уж и заждалась.

Колдучиха проводила меня в горницу. Я обомлела: как так заждалась? Откуда она могла знать, что я к ней зайду?

– Проходи, проходи, что заторопела? Помогу тебе. Только лечь буду, как ягнёночка, ты же нехристь. Ну, Господь никого не оставлял в беде. Пообещай, что не отринешь Спаса нашего, придёшь к нему.

Я молча кивнула. Горницу на две половины разделяла цветастая занавеска. Бабка, оставив меня, шмыгнула на вторую половину. Что-то заплескалось, и послышался неразборчивый шёпот.

От нечего делать я стала разглядывать «избушку на курьих ножках». Хата как хата: печка с чугунами, ямки рядом, крылья гусиные на гвоздике: загнетку обметать. На стене в одной большой раме фотокарточки, пожелтевшие от времени. Поверх рамы – расшитый рушник.

Я пригляделась: среди незнакомых людей – Колдучиха. Только совсем девчонка. Та же стрижка, те же глаза. Рядом такие же молоденькие санитарки. Стоят у танка, а на нём: «На Берлин!». Видать, правду в деревне говорят: всю войну в медсанбате отпахала.

На дощатом столе горой какие-то травы, корешки. «Работала», – подумала я. В углу под образами лампадка. Пахло чем-то очень приятным, неизвестным. Поразил иконостас. Казалось, такой древний, что лучше и не притрагиваться, рассыплется. Оклады потемнели, но лики виделись отчётливо. Почудилось даже, будто святые угодники за мною наблюдают, следят, как я без хозяйки себя веду. Прислушалась: «...и запрети духу немощи, остави от неё всяку язву, всяку болезнь, всяку огневицу и трясавицу...».

Скрипнула дверь. От неожиданности перехватило дух. В горницу ввалился кот. Ну, как же в этой хате да без него?

– Потерпи чуток, сейчас тебе помогу, – послышался голос Колдучихи.

Кот, не обращая на меня внимания, пытался взгромоздиться на табуретку. Голова его была ничуть не меньше моей. Никак не мог устроиться. Наконец, притворился, что затих, уложив только туловище на табуретку. Для головы, хвоста и лап места не хватило – свисали в разные стороны. Кот обтекал сиденье, щурился и зорко наблюдал за мной исподтишка. Казалось, даже ехидно ухмылялся, намекая на моё скорое будущее. Я боялась пошевелиться. Вдруг громко закричал петух. Сердце моё оборвалось...

– Что вздрогнула? – послышался хриплый голос бабки. – Это Стёпка балует, петуха дразнит.

Я и не заметила, что в углу у окошка висела клетка, а в ней на сучке примостился скворец.

– Всех во дворе переснял, шельмец. Как начнёт выдавать! И за гусака шипеть может, и за курицу кудахчет, а уж птичьих голосов знает – не перечать! Уймись, Стёпа, что ты нашу гостью напугал. А ты, Таня, посыпь ему конопелек, он тебе и споёт, спасибо скажет.

Сыпанула из плошки, стоящей на подоконнике, зёрнышек. Скворец щёлкнул раз, другой и запел. И на душе у меня отлегло, даже повеселело. А тут и бабушка выглянула.

– Заждалась, небось? Ну, садись, голубушка, поближе к окну, посмотрим, что тут у тебя.

Я протянула руку.

– Да тебя ужако, милая, укусил. Редко, но бывает такое. Видать, ты его потревожила, сам-то он добрейший, не тронет.

Сполоснула Колдучиха мою руку водицей нашёптанной, дала напиток из бутылочки с божницы, а на прощание сказала:

– А ты с Галочкой моей заходи, не пужайся.

Возвратилась я домой, смотрю: рука – здорова, температуры – след простыл.

Так я побывала на приёме у Колдучихи.

С этих пор, когда бы мы с Галкой ни забежали к бабе Насте – так, оказывается, Колдучиху звали – на чай, кот тут же сползал и уступал мне табуретку, а Стёпка-пересмешник, приветствуя нас, орал на все голоса.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ФРОНТОВИКА СТЕПАНА ПОЛЫНКИНА



1.

Аккурат за неделю до начала войны рядовой Степан Пылынкин получил отпуск. Служил он на западной границе. Домой, на Орловщину, ехать – только время терять: ни папани, ни матушки, ни родных, ни ближних. Сколь годков, как к храму прихоронены. А тут, на соседнем с заставой хуторе, – полячка Ядвижка, вдовушка молоденькая, так и сверкает озорными глазёнками, так и заманивает.

И заквартировал у неё Степан. Присушила бабонька, что, ей Богу, коли не поломали бы Степановы задумки фрицы проклятушие, ни за какие коврижки не расстался бы парень со своей Ядвигой. Хоть цену себе знал, а согласись вдовушка – шабаш! Не стушевался б, в примачи пошёл.

Степан, сиротствуя с малых годков, – небалованный, к работе привычный – соскучился по крестьянским заботам, кинулся помогать по хозяйству. Как не помочь? В нахлебниках не привык. Задарма лоб не разлысывал, на чужое губы не раскатывал. Смахнул не одну опушку для Ядвижкиной коровёнки. Июнь стоял знойный. Зарёй скосишь, в полдень поворошишь, а к вечеру уж и на двор вези.

Ночи и те жаркие. Справная, гладкая Ядвига стелила на вольном духу. Но разве с такой уснёшь! К утру сложенная с вечера копна размётывалась по двору, а счастливая молодка, босая, в одной исподней, расшитой убористым крестом рубахе, с осыпанными свежим сеном, размётанными в земь косищами, всё не унималась.

В короткие передышки, когда Степан спускался с копны, подальше от греха курнуть, когда мог видеть хоть что-нибудь ещё, кроме жгучих Ядвижкиных очей, числа с пятнадцатого парень начал примечать, как в долине, по-над Бугом, по течению реки, с юга на север, по несколько раз за ночь барражировали странные летательные объекты.

– Это что ж такое, Стэпан? – уже и Ядвига всматривалась в озарённое над Бугом небо.

– Что, что?.. У нас таких счас нету... Скорей всего, немецкие самолёты-разведчики. Поговаривают, мол, сгрудились,

подвалили с той стороны. – Степан мямл папиросы, вчастую затягивался, доставал непочатую пачку, смолил одну за другой, – хотя.., слишком уж необычный фюзеляж... и какая манёвренность! Не подходит ни для одного известного самолёта, ни нашего, ни немецкого.

Пограничник – он и в отпуске пограничник. Степан метнулся к своим, доложил замначальника заставы. Тот поблагодарил за службу, но подливать масла в огонь, толковать с рядовым о том, о чём и сам уже знал, не стал.

2.

О необычных объектах, которые виделись, а может, пригрезились им с Ядвигой в самые последние мирные ночи, вспомнил старшина Степан Полынкин только в сорок четвёртом. И то по случаю.

Не до воспоминаний было. После войны будут воспоминания... А тогда!.. Чего тогда не пришлось перебедровать Степану!

Жутким рассветом двадцать второго июня, когда он, умаявшись Ядвигой любовью, казалось, только-только прикрыл глаза, взлетела на воздух рига с Бурёнкой, запылали свежие стожки сена, а мир взревел отчаянной нарастающей болью. Не успев сказать ни слова сжавшейся в комочек любимой (только мельком взглянул в её обезумевшие глаза), служивый рванул на вздыбленную от взрывов заставу...

Отступление под распластанными над сенокосами, над лесами и болотинами Белоруссии бесчисленными, помеченными свастикой, крыльями стервятников...

Трёхмесячный плен... Побег... Легко сказать!.. Слава Богу – натолкнулся на своих! Слава Богу – поверили!.. Партизанил... Повезло – в сорок третьем, уже в регулярных частях, в разведке, освобождал родные места, бился с ворогом на Курской.

А в сорок четвёртом военные дороги, рытвины и ухабы привели его в Заполярье, на побережье Баренцева, сто семьдесят километров от Мурманска.

Не зря попал сюда старшина Полынкин. Места эти – секрет-

ные, а он – фронтовой разведчик, бывший пограничник.

Летуны наши донесли: мол, обнаружили какие-то непонятные строения. С воздуха всего не разглядеть, надо бы направить наземную разведку.

Подобрались морем, иначе – никак. Шибко засекреченный объект. Сколько ребят полегло! Но так и не подступились. Ещё бы! Охрана – ни много ни мало, элитная дивизия СС «Эдельвейс» – со своей задачей справилась блестяще. За пять лет присутствия гитлеровцев в этом районе сюда не смог проникнуть ни один разведчик.

Жалко Степану друзей терять, приблизились они, насколько могли, засели на сопке, вооружились биноклями, неделю безвылазно сидели. Ноябрь в Заполярье – зима зимой. Закоченели, задубели совсем, но кое-что всё-таки выяснить удалось.

Как по возвращении из рейда докладывал старшина, на каменистом плацдарме, чуть поодаль друг от друга, расположились восемь огромнейших загадочных сооружений кольцеобразной формы. Окрестили их «бетонные блюда». Одни – недостроенные, другие, казалось, совсем готовы. К чему? А бог их знает! Тайна тайн, попробуй – раскуси! Мужики – круть-верть, очень уж хотелось эти штуковины распонять, язви их... Покумекали и сошлись на том, что «блюда» эти имеют, должно быть, артиллерийское предназначение. Скорее всего, фашисты разработали новые дальнобойные орудия.

Но возникли сомнения. Как же так, посты боевого прикрытия смотрели в прямо противоположную сторону, не туда, откуда могли нагрянуть корабли Северного флота? Разведчики заметили, конечно, и тщательно продуманную, мастерски выстроенную оборону всех этих объектов. Вокруг каждого из «блюд» – не менее пяти дотов! Попробуй, сунься! Железобетонный дот с вмонтированной танковой башней позволял контролировать всю округу, обеспечивал круговой обстрел всей прилегающей территории. Степан тогда ещё подумал: «Слишком мощная защита для артрасчёта., пусть даже и сверхдальнего орудия».

Когда наши, с большими потерями, всё-таки выбили фри-

цев из этих мест, целый месяц потом стояла часть, в которой служил Степан, под Мурманском. Старшина не раз бывал у тех фантастических колец. Может, начальство и разгадало их назначение, только кто ж простому старшине раскроет такую военную тайну?

Прошли годы, и память вдруг сама собой преподнесла Степану подсказку. Среди ночи – шарах! Те аппараты, что барражировали над Бугом перед войной, точь-в-точь повторяли форму колец, возведённых в заполярных сопках! Припомнилось: диски-блюдца имели равномерные входы, словно это отвод газов от дюзов какого-то стартующего летательного аппарата. До старшины дошло: эсэсовцы хранили тайну нового немецкого Wunderwaffe – чудо-оружия!

Заполярные диски не соприкасались с краями котлована, а значит, им невозможно доставить боеприпасы, и снизу подачи тоже не было. Итак, уверился Степан: стартовая площадка для летательного аппарата!

Воспоминания цеплялись одно за другим, выстраивались в последовательную цепочку. Степан напряг память. Ведь знает.., точно знает! Но откуда? Может, из фронтовой газеты, а может, как-нибудь обмолвился командир? В сорок втором... или в начале сорок третьего?.. на Балтике, на одном из островов, немцы обустроили полигон. Испытывали ФАУ-2. Охрану, кажется, доверили тоже «Эдельвейсу». Но что-то там пошло наперекосяк, и фрицы разработали мобильные установки. Получается.., с этих площадок должно было взлетать... Что же с них взлетало, если так идеально выравнивались не только сами бетонные кольца, но и вся громаднейшая площадь перед ними?.. Тысячи кубов бетона! А если учесть, что под ними – гранит и кварц?.. Для чего же немцам понадобился такой мощнейший фундамент?

И так раскидывал Степан умом, и этак... О чём-то догадывался, что-то мог лишь предположить. Но не мог он знать, что площадки, требующие такого основания, предназначались для аппаратов дискообразной формы, вертикального взлёта и посадки, которые собирались немцами на заводе в Бранденбурге.

В Заполярье происходили испытания этих летательных аппаратов. «Блюдца» – их посадочные площадки.

Откуда мог знать старшина об одной из самых загадочных организаций Третьего Рейха – Ананербе, под неусыпным глазом которой проводились эти разработки, о рассекреченных документах, где чёрным по белому сообщалось, что всего было построено семнадцать «тарелочек», что ими произведено восемьдесят четыре пробных полёта, что к концу войны у фрицев имелось аж девять (!) научных предприятий, где разрабатывались подобные «блюдца». Из захваченных архивов следовало, что с конца сорок четвёртого (немцы торопились) эти аппараты поступили бы в серийное производство. Слава Богу, что-то не срослось!..

Захваченные архивы подтвердились сенсационным фактом – на Шпицбергене норвежцы обнаружили обломки странного объекта дискообразной формы. На борту – нацистская свастика.

ВСЕГО ДОРОЖЕ

ПОВЕСТЬ



*Земля вращается вокруг солнца,
а человек – вокруг духа своего.*

М. Горький

1.

Хоть бабонька она и не из хлипких, но трёхмесячное бездорожье под неусыпным бдением немцев и власовцев по брянским и белорусским бурыгам и гущобинам, по мшанинам, окроплённым кровавой брусникой и пенным потом измученных лошадей, давало о себе знать.

Разве ж думалось тогда, в первых числах августа, когда всего ничего (пять неделек, не боле... только-только понесла)..., думалось ли, что всем семейством: и забрюхатевшая не ко сроку Ариша, и искалеченный, лихо припадающий на правую ногу муж её Жихарев Роман, и пятилетний сынок их Сергуня со всеми берёзовцами... подчистую (беда связала всех в узел)... Знали ли они тогда, что спешным порядком выдвинутся в неизвестность..., в ихнюю эту, растудить её, Германию?

А поначалу и вовсе дрогнули. На Ильин день автоматчики согнали прикладами берёзовцев, всех до единого, в клуб, заперли двери-окна и давай соломой стены обкладывать. Бабы, детишки, конечно, орали не своим голосом (неделю назад соседний посёлок выжгли начисто, народу перегубили – несчётно!). Мужики было подналегли – принялись двери высаживать. Шум, гам, неразбериха!

Но что уж там у них, проклятуших, перекосило, только вдруг примчался какой-то вестовой, закурыкали на своём – и скорее отпирать. Да опять – взащей прикладами: «Schnell! Schnell! Schnell!», распустили по хатам, дали два часа на сборы. Замутусилась немчура – с Кром-то, оказывается, уже прорывались наши. Сгуртовали фрицы срочным порядком из жителей Берёзовки обоз и, прикрываясь им, ударились в отход, на запад.

Жихаревы прихватили с собой самую малость, что попало в ту злую минуту под руки. Заскочили домой, в избе ещё пахло сыростью не домытого до конца пола, споткнувшись о сдёрнутые половики, Ариша опрометью кинулась к божнице, успела снять и завернуть в полотенце прабабкин медный складень да небольшую, в побуревшем окладе, иконку Николая Чудотворца.

Под зорким присмотром врага, по делу и без дела зыкающего: «Шшшевелись!», под хриплый, неумолчный лай овчарок ни свернуть с пути, ни приотстать, ни отбиться от этой огромной, ползущей на запад массы, не представилось ни единой возможности. Любое отклонение – расстрел... А вослед им слезилась, провожала благословляющим взором засиротевшая родимая Берёзовка.

Кругом (не приведи Господь! Как не охватит щемящей тоскою сердце?) горели деревни – сматываясь, фашисты не оставляли после себя ничего живого, лишь голую, выжженную землю. Но жидки на расправу! Как только приближались наши «ястребки», тут же рассеивались меж телег, особенно туда притулялись, где много детишек.

Гитлеровцы драпали. Лошадёнки шли, шли и шли дальше, гуськом, нос в хвост по шершавой, с глубокими застывшими колеями дороге... пять телег – бабы, старики, детишки, потом – немцы, пять телег – власовцы, пять телег – венгры и опять в том же порядке: пять телег – бабы и детишки...

Мимо ещё не разминированных полей, мимо сотен сгрудившихся обугленных танков в местах великих побоищ, мимо изрытых снарядами и минами, с разбитыми голбцами древних русских погостов, мимо огороженных пряслами спалённых стогов, мимо молчаливых, обезумевших погорелиц-старух на останках родимых хат... И глаза снова и снова заволакивало слезами.

Ариша спала с лица. На нём, резко состарившемся за эту осень, посеревшем и обрезавшемся (а бывало-то, солнечней и во все округе не сыскать!), казалось, вдвое укрупнились поблёкшие, но всё ещё росно-фиалковые глаза.

Слёз у неё уже не было. Со стороны посмотришь – закамелела, оглохла и ослепла. Скорбящая, она почти перестала разговаривать, ни о чём не просила, прям-таки обезумела, потерялась: день ли, ночь ли – всё одно свету Божьего не различала. И совсем упустив счёт времени, стала пугаться наступающего дня.

Запахнувшись в побитую молью плюшку, сидела она на телеге посередь пожжённой белорусской деревушки, где обретался, дожидаясь каких-то там указаний германцев, их обоз. Несчастная, обхватив колени руками, лишь мешковато раскачивалась из стороны в сторону. Востроносая, исхудавшая до того, что «нечего в гроб положить», то тихонько, как подступит совсем нестерпим, по-щенячьи скулила, то, опершись горящими, тронутыми тоской и усталостью глазами о поднебесье, прислушиваясь к тому, кто живёт у неё внутри, до иступления шептала:

«Осподи Иисусе Христе! Буди милость твоя на сыночке моём Серёженьке, сохрани его под кровом Твоим, покрый от всякого лукавого похотения, отжени от него всякого врага и супостата... Боженька Праведный, спаси и помилуй! Помогги.., ну, хоть скорлечко-нибудь!.. Царица Небесная! Всё приемлю на стези моей, лишь пошли моему сыночку с благодатной верой покров твой!».

Над ней, словно тальниковая зыбка, скрипела и скрипела искореженная, исплакавшаяся последней листвою ракушка.

Роман не смел заглянуть в Аришины бесконечно дорогие, позабывшие всяческое терпение глаза. Чем утетишь, чем обнадежишь?

– Пошла вторая неделя, – неотвязно ныло в заиндевелой душе его, – втора-ая неделя!.. Жив ли?.. Нет ли?.. Боже ты мой! Будет ли когда конец этим мукам? – слышала и не слышала Ариша, как сокрушался он от беспомощности, понимая: срочно что-то надо делать.., что-то невозможное. Словно пулей прошивало мозг – ужом проползти сквозь власовские посты?.. Вызволить детвору, передувив, укокошив лагерную охрану голыми руками?.. А там – будь что будет – либо пан, либо пропал!

Не спалось мужику... Не спалось, хоть тресни. Память-то не заспишь, шмыгает, словно тень! Сердце ныло, в душе было пусто. Вот ведь и бывалый он, и кремень, но только смежит веки, ан нет!..

Видно, смертный страх всегда обостряет слух. Всё чудилось ему: километрах в шести, к Брусничному, что прикорнуло у самой кромки леса, где уже неделю без него, без мамки своей

Ариши бедолажит отнятый у них фрицами пятилетний сын, с большака свернули замаскированные под санитарные фургоны фашистские душегубки.

– Надо же! Выбраковали мальчугана! Заразный, мол. На территории Рейха такому не место... Да пропадите вы вместе со своей Германией пропадом! Вовек бы её не видать! – запылали губы, подступили – не сдержать – выжигающие глазницы слёзы. – Это ж надо, а?.. Малых детишек, воробышков, оторвали от мамок, сгуртовали, держат за колючкой. У кого прыщ, у кого краснуха от пыли-грязи дорожной (конечно, подзапаршивели малость – позабыли, когда и мылись-то по-людски; у ребятишек – цыпки, вшей – хоть веником обметай).

Рази ж спрашивают за такое детей в лагерь? Да и довезут ли их до тех-то лагерей? Может, до ближнего рва? А брешут, мол, на лечение... Пожили при «новом» порядке, всласть насмотрелись. Нет им, душегубам, веры! Эх, Серёжка, Серёжка! Тебе бы сейчас в лапту играть!..

Обоз проредили как следует ещё под Шаблыкино, в Вербниках огородили вокруг церкви колючкой место, согнали всех от подвод и давай выдёргивать молодёжь. Видать, их первыми в Германию спровадили.

Как ни напрягайся из последних сил, как ни обмирай душа, не разобрать за столько вёрст: птицы ли какие заполосные в ночи кричат, собаки ли там, в посёлке, будто кто помер, воют, захлёбываются.

– Вроде, палят за мшарой!.. Детвора малая плачет!.. Серёжка надрыдается, кулачками глазёнки трёт, тятюку на помощь кличет! – била неудержимая дрожь, становилось невольно тоскливо, отцовское сердце вещевало недоброе, гадало, опасалось как бы...

Так и не забылся до утра. Воротило с души. Помаялся, помаялся мужик под телегой, на застланном веретём лапнике, а чуть забрезжило, хоть и неохота подыматься из утретого телом гнезда – и вовсе выбрался из укрытия. Накинул на плечи потрёпанную финскую шинель, служившую ему и одеялом, и какой-никакой

одежей, не по росту длинной, под которой уже не первый год скрывал свой изъян – укороченную на финской правую ногу.

Уселся, сутулясь, на подваленную, замшелую елину. По привычке нащупал, вынул из правого кармана засаленных штанов кисет – это уж первое дело! – нашарил спички, всё никак не мог свернуть сигарку: рассыпался и рассыпался табак. Чиркнул, угнувшись от ветра, закрывая ладонями спичку, жадно закурил. Хрипел, сипел, а привычку, страсть свою к вонючему самосаду не бросал.

Роман любил порядок в мыслях. С каждой затяжкой прояснялось сознание, и на ж тебе – всё горше захолинывало сердце от боли, сжимавшей калёными клещами его виски – уходили часы! – а он не мог найти хоть какую-то зацепочку, всё не мог сообразить, как вырвать свою кровинку из огороженного колючкой скотного двора в этом самом Брусничном. Ум за разум заходил.

Безысходным крошечком осыпалась ещё одна бессонная ночь.

Затаившись, вставал, просачиваясь сквозь сосённик, ещё один беспросветный рассвет.

Роман задавил кирзачом окурок, хочешь не хочешь – принялся помалу хозяйствовать, налаживать костёр. Хоть чай какой травяной сварганит да кинет в чугунок брикет германской каши (вчера «осчастливили» нехристи, выдали мизерный, чтоб совсем не загнулись, паёк). Кулеш – не кулеш, а всё ж-таки варево. Ариша совсем ослабла, выносит ли дитё при такой кормёжке – одному Богу известно. Нервы напряжены, душа истомлена. Думки – одна черней другой.

– Коли мускорно на сердце, от всякого недуга – выплыли из ранних лет наставленья богомолки мамки Степаниды – пользительна девятичинная просфорка... да чтоб запить пренебреженно святою водицей... – Где ж её взять-то, вздохнул, ещё шибче закручинился Роман, припоминая, как ласково дышали матушкины ладони – храмовым воском и печной копотливой гарью. Эх, маменька, маменька, смог бы – в доску за-ради Ариши расколошматился.

Роман подошёл к телеге, прикрыл жену своей просоленной

мужицким потом шинелью. Ариша – ни слова, ни полслова; зелёный плат её усыпали красные и жёлтые осиновые листья, на сведённом морщинами лице нараспашку безучастные глаза.

Береста скрутилась в свиное ушко, занялась щепка, костёр засопел березняком, огонь, словно и он отощал от голода, мигом проглотил сушняк, а кулеш ещё и не думал закипать. Роман завозился, загораживаясь ладонью от едкого дыма, пододвинул на серёдку котелок, принёс беремя дров, подкинул последние поленья – в рассветное небо потянулся оживший витой столбец дымка.

Враздёжку, налегке он метнулся в лесистую лощинку. На-собирал летошнего валежника, а на обратном пути не стерпел, заглянул в светящийся обочь просёлка молодой приземистый дубнячок.

– Так и есть! Время-то – самое что ни на есть подходящее! – обрадовался находке мужик, вытягивая из замшелого пня длиннющие веснушчатые крепыши-опёнки. Нахряпал с дюжину – и назад.

Совсем развиднело. Туман уполз в болото. Над островерхи-ми зубцами елей, над позолоченными кронами берёз распахнулись, брызнули голубиные, первобытные небеса, по закрайкам перелесиц заколыхался хрустящий свет.

– Гоподи Боже ты мой! – ёкнуло, встрепенулось мужицкое сердце, – точь-в-точь нашенские.., домашние... Эх, разнебе-сились! Бывало-то, к ноябрьским выполощутся, выголубятся оконца Божии! От Сосково до Дмитровска! Загляденье! Точно развернули штапельный отрез, что наградили Аришу в сороковом на колхозном собрании к празднику.

Восток всё светлел. Роман остановился и залюбовался: досыпала тишина, в её полудрёме тихонько роняли последнюю листву дерева. «Тинь-тинь-тинь», – перетинькивались желтопёрые синицы, шныряли по кустам, славливая последних мошек. Там и тут просыпалась, чиликала, тонакала орава лесных птах.

В кустах завозилось, и из елани послышался и растаял в шорохе хвои хряст сучьев, на поляну выступила лосиха с со-

хатёнком. Боднула впереди себя рогами, покопытила и, всхрапнув, потянув ноздрами воздух так же, как и объявилась, не приметно исчезла. И почудилось Роману, будто он, как бывало, сбегал с утреча в лесок за опятами и ходко торопится домой, подивить Аришу.

– Накось, родная, полюбуйся! Околь Сычина, на опушку выбежали.

– Жарёха будет знатная, хочь всю деревню созывай! – ахнет, бывало, только и молвит ещё парная ото сна, с гладким лицом, с неубранной косой жена... и, покоя на выпирающем животе сцепленные руки, блаженно озарится по-детски не тронутой печалью улыбкой.

– На поверку! – загавкали, заразорялись, обходя подводы, конвоиры.

Роман очнулся. Отряхнув с картуза рыжие хвоины, взвалил на спину утянутую ремнём вязанку, сгрёб подола рубахи, покидал туда добыток и опрометью кинулся к обозу, напрямки через татарник, через горбатый, как кочатыг, овраг, шею свернуть – запросто!

– Только бы успеть! – метнулось удушливо в мозг, – только бы уберечь оставленную без призора Аришу от допроса этих цепных псов, мол, куда за ночь мужик подевался: ни к партизанам убёг? Итак издёргался вся, голубка...

Нет-нет-нет! Полетело всё в тартарары! Всё разом порушилось, сама земля уходит из-под ног. И – вишь ты! – даже гроздь ягод на калине – будто застывшие капли крови!.. Нет больше родных штапельных небес, ни зашкворчат на загнетке сдобренные луком да чесноком грибочки..., не пошлёт Сергуньку обежать деревню, созвать родню на доброе застолье... Ни к ноябрьским, ни к майским... Вишь, как разгыркались христопродавцы! У самих к земле родимой лютая оскомина, крутая злоба, и нас на погибель за собой на чужбину тянут.

Роману подфартило. Охранники – два власовца и Сазонов Митроха (не какой-то чужак и приبلуда, а их, берёзовский, му-

жик, вроде и не прожжённый сукин сын, но, прошёл слушок, ещё в сорок первом подавший врагу в прислужники), задерживались, остервенело спорили, матюгались почём зря у соседней телеги. Видать, обнаружили какой лакомый кусок и никак не могли меж собой поделить.

Неужто среди слегло-прокисшего скарба: провонявших лошадиным потом хархаров, старых хламид, чугунков, влажных фуфаяк, белокрайных штопанных-перештопанных подшальников и другой, прихваченной наспех, наваленной как попало домашности – ещё могло-таки затеряться что-нибудь ценное? За месяцы пути всё мало-мальски стоящее десять раз перепродано и переыменено в редких полууцелевших селищах.

– Ну, как там Арина-то? – кивнув на телегу, не стерпел, с ухмылкой полюбопытствовал, ощупал Романа мутными (видать, со вчерашнего) глазами Митроха. Но, поёжившись от его жгучего взгляда, приметив, как заиграли желваки на ввалившихся, заросших серой щетиной скулях, как напряглась рука с дубовой орясиной, отпрянул, опасаясь, что Роман не сдержится, не сладит со всем тем, что долгие годы накапливалось в его сердце, «уходит» насмерть. Обернулся к власовцам и, брызнув сквозь зубы слюной, крикнул: – Жихаревы, стал быть, все.., две души! – и прошипел, зарёкся: – Ну-ну, я не гордый, подожду. Будете ещё мне ноги мыть да юшку пить.

Едва Митроха ретировался, Роман кинулся к жене. Шинель сползла с её плеч, а ей будто и нипочём, вовсе не чуяла утренней осенской прохлады. Ещё перед зарёй вспомнила вдруг о чём-то и сейчас развязала узелки, медленно и копотно возилась в них, занятая своими думами; всё не получалось у неё сыскать чего-то очень нужного, схватого на самый чёрный случай. Хотя телега и не безмерное хозяйство, а вот поди ж ты! – запрятала и сама позабыла куда.

– Ай чего потеряла, Аринушка? – спросил крадущимся полущёпотом, по-детски беспомощно Роман.

– Это чегой-то он? – облокотясь на тележные грядки, будто не расслышала мужниных слов, вымолвила она раздумчиво-надтреснуто побелевшими от гнева губами. – Чего?.. Совсем,

что ли, обасурманился или мозги пропил? Поди, считать холуй разучился? Кого из себя корчит-то? – Ариша вскинула на мужа воспалённые, заострённые от бессонницы в чернильных полукружьях глаза, и, не позволяя усомниться ни Роману, ни кому на целом свете, не горячечным шёпотом, а отверделым голосом на сдавленном дыхании припечатала: – Четверо нас... Жихаревых! Чет-ве-ро!

– Должен! Должен же быть какой-то выход! – до самого полудня, как в наковальню молотом, било в груди сердце, не находил себе места Роман. Не мог он за просто так позволить сгинуть его первенцу, не мог подвести эту сильную женщину, свою жену Аришу. Знал бы, что смерть его зачтётся во спасение Серёжки, – умер бы не медля.

2.

А что духом Ариша сильна, так это точно. Проверено и не раз. Вот взять хотя бы зиму тридцать девятого... Да нет, намного раньше... И Роман канул, окунулся в те, как теперь казалось, далёкие-далёкие годы...

Они ведь с Митрохой-то – годки, с четырнадцатого. Оба потеряли в Гражданскую отцов. Когда в девятнадцатом Деникин попёр на нашу округу, в бою под Звягинцево оборвались жизни их родителей, бившихся тогда под Кромами и Дмитровском против беляков рука об руку с Красными латышскими стрелками. И покоятся Петро Жихарев и Данила Сазонов после прокатившихся по земле нашей братоубийственных ураганов рядышком, в одной могиле.

Может, от того, что судьбы отцов их переплелись, теснее не бывает, возрастали Роман с Митрохой корешами не разлей водой. Вместе шпингалеты по соседским бакшам лазали, вместе потом у костра обжигались поделенной поровну печёной картохой. Вместе с другой пацанвой, когда от мала до велика под Троицу собирались на Сенькином лугу, ходили с мужиками «край на край».

Как раз тогда, в малолетстве, и обменялись они тайно (время-то какое!) медными нательниками..., а значит, – и судь-

бами. Знали, всяк православный знает, что «крестованием» установили они промеж собой по обоюдной воле побратимство. С тех пор они – крестовые братья, и крест брата своего должны нести, как свой собственный. И ещё – взяли они на себя обязательство молиться друг за друга и помогать друг другу как братья по крови.

А в тридцать втором они, сговорившись, сгребли свой нищенский скарб и, несмотря на материнские вопли, одними из первых оттащили его на обустройство только-только начавшего гуртоваться колхоза «Светлый путь».

Но случился в их жизни случайный случай, положивший начало великой вражде, порушившей их беззаветное братство, послужившей запевом к долгой горючей песне.

Как ни тужились берёзовцы, а колхоз еле-еле сводил концы с концами. Да что говорить? Заголодали! Просвета не видать. Лебеда да мякина, мякина да лебеда. У Романа – два братишки голоштаные, в кармане мышь прогрызла дырку. А у Митрошки – и того пуще: четверо сестрёнок, а дыр в карманах и вовсе не счесть. Вот и попутал их чёрт, взял, и вправду, измором. С голодухи, значит, и приключилась с ребятами беда.

Годков по восемнадцать-девятнадцать о ту пору им стукнуло, на деревне да без отцов – мужики мужиками, ненабалованные, некогда шалыганить да в подкидного играть. В работе на земле не бывает скидки на возраст.

Сеяли они на пару озимые за Кривым логом. И как уж там случилось, только смотрят, а в сеялке, по закрайкам, осталось с четверть мешка ржицы. Эх, знать бы тогда, что играют-то с огнём, и как распорядится их судьбами тот соблазн!

И не устояли парни перед искушением (почему? гадать не приходится) и припрятали под ветошкой в амбаре у Романа то злосчастное зерно. Даже поделить не успели.

Всё у Романа с Митрошкой было в молодости на двоих да поровну, без дураков. И если говорить начистоту, как нередко случается, когда встали уж на ноги, и любовь настигла их одна

на двоих. Да, да, она самая, Аришей звать. (Видать, сразу двоим так на роду было прописано)... Тут-то и встала меж ними загвоздка, тут и вырос несусветный, не примиримый на всю остатнюю жизнь раздор. Точно бес вставил промеж них шилья.

Любовь-то, Аришу, на двоих не разделишь. Всё было: и матерились парни до тошноты друг с дружкой, и кулаки чесали за девку. Да не тут-то было! Целый год так и велось: днём – по-прежнему вместе, а как подступает темень – порознь. Правда, тропки всё одно сводили их у Аришина крыльца, над которым дурманил липовый цвет. И неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не Роман.

– Кипяток кипятком не остужают. Хочешь, нет, а решать что-то нужно, – зная, что и Митроху голыми руками не возьмёшь, не стерпел он наконец.

Ну, мало-помалу сговорились они с Митрошкой не топтать больше Аришин палисадник, не таскать ей охапками сирени. Кого сама в первый день на покосах окликнет, того и счастье. А кому не повезёт, пусть не юлит, завет не нарушит, а будет первым дружкой на свадьбе названного брата.

Помнится Роману, будто только вчера это было... Утренняя прохлада переходила в знойкий день. Солнце переполняло мир искристой радостью. Замашная Кулига благоухала запахами ромашки, полынка и отцветающей черёмухи.

Там, у молочного ржаного поля, на обочине, полной медушника да каши, затюкало сердечушко девичье вразбой, и окликнула Ариша Романа... Какой же свет хлынул тогда в его душу! Не передать!

Свадьбу решили сыграть на Покров день.

Тридцать третий ничем не отличался от тридцать второго: голод, неурожай... Но молодость есть молодость. Роман не ходил, а летал над землёй, и счастьем их с Аришей, несмотря на худое житьё, казалось, не будет конца... немерено.

Нагрянули в обеды, за неделю до свадьбы. Председатель Кузьма Алексеич, комбедовцы. Роман – ни в дудочку, ни в сопелочку. Пришли, значит, не громыхнув в ворота, законники и не

стали церемониться – прямой наводкой в амбар, схватили вора за шиворот, не отвертеться.

– Э-эх, негодяй бессовестнай, без ножа зарезал, стервец анафемский, острамил мать на весь белый свет. Лезешь в волки, а хвост – собачий! Есть ли у тебя башка на плечах-то? Укради иголку – всё одно – вор! Взять бы дрючок да сдёрнуть с тебя порты! Драсьте, пожалуйста! Слыхано ли дело? От кого-кого, а от сына героя, павшего за Советскую власть, – отбрил хриплым шёпотом, присовестил с какой-то обезоруживающей простотой председатель, – такой подножки не ожидал, надеялся я, что по отцовской струне ударишь. Удавить тебя мало за энтакие дела, – и пасмурно, с горчиной, посмотрел в набежавшую толпу. Возмущённо нахлобучивая треух, вышел, перекинув за спину художочный мешок. Норов-то у председателя был не голубиный.

Ариша, замачивавшая в тот день с бабами коноплю на торфяниках, узнала о несчастье только поздно вечером, когда Роман был уже далеко от Берёзовки...

– О-ох! Горюшко-о! – не зная своей беде ни названья, ни предела, закричала, точно кончалась, как водится, в голос, ахнула пронизанная дрожью, похолодевшая, будто пришибленная громом, девка. Тело её опустилось и обмякло, а к ночи и вовсе – свалилась она в жару: то ли застудилась, уж и тальники с морозу коченели, – лапти с онучами промочила в тот день у воды до ниточки, то ли не смогла снести внезапного удара судьбы. Только провалялась она в бреду, с ног до головы охваченная жутью, до самого Зимнего Николы. Да и потом до крайнего новолетья всё-то ей неможилось-горбатилось, всё-то на печке отлёживалась.

– Ну откуда выплыла наша с Митрошкой тайна на людской суд, и куда запропастился закадычный дружок? – все пять годочков, обретаясь на казённых харчах в краях, отдалённых бездорожьем на тыщи вёрст от Берёзовки и от всего мира, томился Роман от мучительно-неизъяснимой обиды, раскидывал и так, и эдак умом, гнал от себя смутные подозрения. Не было мира в душе его, всё-то глодали сомнения, не хотелось верить

в Митрошкину пакость. Начередил друг-приятель! Но, видать, правда говорится: волк коню не свойственник.

А ведь тогда – пыль столбом! – на сход приплёлся весь честной народ: зеваки тыкали в него пальцем, горланили. Но были и такие, кто не стерпел, заголосил: «Прощевай!», жалостливо закрестил вослед тронувшуюся в путь телегу, на которой двадцатилетний Роман, накинув казинетову поддёвку, покидал («Ну, оставайтесь с Богом!») и родимую Берёзовку, и несчастную мамку свою Степаниду, с вечно усталыми глазами, с дотлевающей в них тихой вдовьей печалью, у которой всю жистюшку – семь понедельников на неделе.

Прибежала, принялась она совать сыночку узел с насущными за ночь на жаровне, промоченными её слезами ржаными сухарями. Оставлял он на неё двух малых погодков братьёв. А что горше всего – расставался с наречённой своею, Аришей, не ведая, скрепится ли, дождётся ли она его.

А она – накось! – хоть и время почало ржаветь, травой порастать, хоть и обмирало сердечушко девичье от щемящей тоски по любимому, скажи кому, не поверит – дождалась! Чего только не натерпелась за эти, показавшиеся безрассветной ночью, годики! И в душе, и в хате – сквозняки, и моросит, моросит, как из сита, частый дождь. Но знала край, блюла себя девка: греха за ней никакого не водилось.

Увидав вернувшегося Романа, кинулась к любушке, заплакала легко и благостно. Прильнула к его груди, просветлела лицом, словно в годовой праздник. И уже ни на минуточку от себя не смогла отпустить... Знать, до гроба ей по суженом своём с ума сходить.

Ариша не стала рассказывать (по какому такому случаю? И без неё найдутся любители почесать языком, глазом моргнуть не успеешь – в миг Роману в уши надуют, что ни слово – яд), как обивал её порог все эти годы женишок Митрошка, как не давал поводыр проходу ни ей, ни батяне её.

Надеясь, что капля камень точит, подбивал склонить за него несговорную дочку: «Ишь, заартачились! Вы подумайте толь-

ко! Умерьте гордыню-то! Ить скоро никто и замуж не поκληчет, а она всё ерепенится! Разуьте глаза-то: двадцать четыре, а всё ещё не забабилась, по нашим меркам – перестарок».

– Ну, прямо в гроб вогнал! Чистый пиявка-прилипала! Рази ж могу я обнесчастить собственное дитя? Кто ж в наше время силой выдаёт? – не лез в карман за ответом Аришин отец.

А однажды и вовсе вот что случилось.

Стояло красное летичко, ведренный июнь. В жиденьком маре тонули горизонты. Пели коростели, кумокали кузнечики. Ветер не трепыхал ни листочка. Был канун Пятидесятницы. Небо белое-белое, молочное. Чиркни о воздухе спичкой – вспыхнут. Солнце совсем сдурело, кропило горячими каплями, жгло землю на прожёт, до самой что ни на есть сердцевины. Губы спекались от жары.

Ветер крутил песок на переезде, подымал облака пыли, кружил их вдоль Берёзовки, выгонял на просёлки. Морила не-сусветная сушь. А тут ночи две подряд за Ерошкиной балкой, вроде, запогромыхивало, закурилась молочная морока, как-то чудно закучились стожары. И вдруг тишина приключилась такая, аж уши заложило, только одиноко в этой дремучей тиши в Звень-лесу грустила кукушка. Небо защурилось, заморщилось, воздуха напряглись – того гляди треснут.

Митрошка на порожняке возвращался на Сивом Красной лощиной из Больших Хомутов, дело уж к полудню. Глядит он: хоть и висит ещё пропахший цветущей рожью да ромашками зной, но всё же насупилось – откуда что взялось!

На макушки Фомкина леска поползли сизые кули облаков, сверкнуло раз, другой и так ударило, что Сивый зафыркал, заржал от страха, показалось: яблоки скатились с его рябого крупу; шарахнулся до дому напрямки, внамёт, не разбирая просёлка, из всех своих стариковских силёнок.

Небо подёрнулось ватагой облаков, и они испуганной отарой нестриженных ярков побежали над окрестностью, куда-то в дальние лога, за правый берег Березуйки, заполонённый тальниками и торчащими меж них мшелыми камнями.

В тёмной сини купола зашелестели, захлобыстали, как пакли, тучи. С небесной кудели швыдко-швыдко засучилась конопляная пряжа. И ухнул ливень, стеной! Такой, что, показалось, снова разразился Потоп. Правда, земля под ним не успела остыть, от неё, навстречу струящимся небесам, восходил ласковый пар.

Дорога кисла киселём. Грязь, лихо высверкивая из-под колёс, залепила Митрошкину рубаху и порты. На выветренном месте, по спуску реки, телегу заносило в сторону, срубая красные головки татарника, ставило поперёк дороги. Сивый, напрынув уши, скользил по сметанному раскату.

Наконец, миновав за хворостинником Кобылий лужок, расхристанные там и тут недомётанные стога, Митроха прищёкнул кнутом, выскочил на берёзовский просёлок, что желтоватым ужином завился, завихлялся промеж сизоватых полей. И тут нос к носу парень столкнулся с окутанной рожью Аришей. Аж покачнулся от ударившего в голову хмеля, как солнышко из-за облака явилось.

В одной руке – насобирала девка меж колосьев и расстаться не хочет – промокшая охапка любимых цветов-васильков, в другой – кузовок с первой крупной, но ещё белощёкой земляникой. На животе, в кармане подвязанного передника – пригоршень десять лугового щавеля да столько же стручков молочного хрусткого гороху.

Вышла из дому – ни свет ни заря, когда ещё идти легко и прохладно. Но за полдня так ухайдакалась в Горонях! Успела присмотреть: «Орехов нынче – пропасть, не забыть бы с Дашкой под Успенье как-нибудь после дойки забежать. Пудовик, не мене, можно натаскать».

Правду сказать, хоть и притомилась Ариша, но довольная – не зря протоптала ноги. Надышавшаяся росой, свежестью леса, луговыми травами и цветами, возвращалась она по мясистому, расхристанному ливневыми потоками просёлку в Берёзовку.

– День добрый, Арина-свет-Демидовна! – натянул вожжи, притпрукнул Сивого Митрошка. – С добытком!

– Спасибо! Подсобрала малешки! – поровнявшись с

подводой, Арина на ходу скрутила, отжала подол бумазийной юбки, затушевалась, кинулась оправлять облившую одёжу.

На ресницах её дрожали капли, от швыдкой ходьбы на щеках полыхал, раскраснелся румянец, отчего ещё лише блискались берестяные кипенные кубы.

– До деревни – версты две с гаком, пристраивайся, ягодка, – засматривая ей в глаза, заломил козырёк картуза, подвинулся было на телеге, не скрывая радости, загудел парень.

– Да теперь вроде как и не к чему – почитай – наскрозь! Уж не обессудь – прогуляюся, дож-то, гляди, какой тепленький, – опята заотнекивалась неговорящая.

Так и не уступила Ариша. Стало быть, так было угодно Богу. Со стороны посмотри кто – диву бы дался: хоть и приустиали ноги, прошлёпала девка то по лужам, перебивая рассыпчатым смехом шелест затянувшегося дождя, то сбиваясь на обочину, утопая босыми ногами в мягкой резеде до самой деревни, не порадовалась подвернувшейся подводе. Подивились бы и вознице: не огрел мерина хворостиной, не помчал опрометью – рубаха-то к телу прилипла, – спасаясь от прорвавшихся небес к жилью, терпеливо, даже довольно махнув рукой на проливенный дождь, кинул на холку поводья, ехал себе обочь зазнобы, подстроив Сивкин шаг под Аришин.

А девка скинула набрякшие башмаки, сполоснула их в луже и, перекрестив ремешки, перекинула через плечо, бойко зашагала по густому, оладьевому тесту проселковой грязи, по разлитому морю луж аккуратными, облепленными мокрым травяным крошечным ножками. Из-под пяток чвиркали ошмётья, во все стороны разлетались серебристые брызги. И сама Ариша – да начихать ей на ливень! – серебристая, молодая, звонкая, задорная!

Ветер рвал подолья, ноги выше колен, до самых бёдер заголял. По началу-то, чтобы побороть грех, Митроха всё угубился: ввела его Ариша в краску, хоть и нарочно не норовила, а все одно – сверкая крепкими икрами, нехотя дразнила девка парня всем своим видом, всей своей недоступностью насмехась. Что ж, дело молодое.

Разве от такой зажмуришься?.. Аль молоком по заре умывается? Губы красные, как калина. Брови, как горизонт. Кофтёнка к тугим грудям прилипла, сосцы ядрёными орешинами сквозь зелёнький, в мелкий белый горох ситчик на волю рвутся. На крыжовниковых бусах, вдругорядь, отвисли дождевые. Исполоскали её ветер и дождик до ниточки, места сухого нет. Каждый бугорок, каждая лощинка на виду. И даже с телеги, чуялось Митрошке, тянуло от Ариши распустившейся мятой.

– Не дай Бог, кто встретится или выглядит! Станут потом обсусоливать, пойдут разные намёки-экивоки! – застесняла девка Митроху. А может, просто пожадничал, не хотелось делиться только ему выпавшей минуткой, любованием этой нетронутой спелостью.

Косы её золотые, что ещё спозаранку, свесив с парной постели ноги на половику, уложила она, подоткнув нарядным гребешком, в великолепную корону вокруг головы – хоть выжимай. Вода с них тысячами алмазных струек стекала по спине, по крутым, с блюдцами-ямочками на ягодицах, бёдрам, блескучими ручейками прокрадывалась за распахнутый беленький воротничок, ныряла серебристой рыбкой в трещинку меж наливными, словно крупнящие сентябрьские штрифилины, грудями, сбегала по животу, омывала крепкие загорелые лодыжки.

Смотрел на неё Митроха, и кровь бушевала у него в жилах, аж дух перехватывало: «И все бабы в их роду таковские!» – мутилось в глазах, видел: во всём её теле зреют, разливаются по всем жилам сладчайшие соки. Как же мечталось ему утолить ими свою, ни чем иным не заглушимую жажду.

– Неужто не добыюсь?.. Неужто не моя будет?.. Как же без неё жить-то стану? – вихрилось в голове, волновалась его кровь.

А через пару дней или через неделю, уж и не помнит Ариша, шла она от подружки своей Настёнки, припозднилась – уже совсем свечерело, солнце часа три как потонуло за хутором Троицким. Погасла заря, и над овинами выплыл месяц с белыми рогами. Сиреневый отсвет лёг на плёс, на небесных полянах выпорхнули и задрожали удалёнными мотыльками малахи-

товые звёзды. Лощины закалили сизыми дымами. Пролилась июньская ночь, льняная, голубая-голубая.

Улочки в Берёзовке по кругу ходят, вихляют. Митрошка, приметив с вечера, куда подалась Ариша, дождался, когда она домой засобирается, и – не будь дурак, – чтобы приловить её у калитки, резанул угол, рванул напрямки – через перекрёсток объезжих дорог, притаившимся в глухой крапиве пересохшим ручьём, лопушняком, меж ронявших пухи вётел.

– Ни жисти, ни покою без тебя, девка, нету! Всю душеньку ты мне измочалила, без тебя мне – могила, – в анисах, у Федосьиной горожи заступил Митроха Аришке дорогу. – Что ж ты со мной делаешь-то, пригожая?

И, не владея собой, сгрёб девчонку в охапку. Аж в голове помутилось, как упёрлись в него её пружинистые, сочные груди, дышащие июньскими травами, Бог знает, чем-то ещё завораживающим, как почуял её горячее дыхание, её тёплую влагу губ.

Ариша заотпихивалась, зашумела было на Митроху, но кожа её пахла немислимо желанным, и уже выше его сил было разнять свои руки, выпустить попавшуюся, наконец-таки, заветную Жар-птицу. И Митрошка, не помня себя, не выпуская из объятий Аришу, сминая духовитые зонтики анисов, опустился наземь.

Как нарочно – ни души! Только слышно сквозь стрёкот кузнечиков, как у сарая, на вольном духу, Федосьина корова вылизывала спину своему малолетнему телку.

– Ну, не пужайся, не пужайся, дурочка!.. Вишенка ты моя! Ягодка! – зажимая Арише ладонью рот, шептал, задыхаясь, Митрошка. – Разве могу тебя обидеть? Я ж только поласкаю, – в предчувствии чего-то неизведанно обмерло сердце, по спине пробежала радостно волнующая дрожь, и парень, дорвавшись (знала бы девка, как изнылось по ней его тело!), кинулся жадно её целовать, гладить ноги и плечи.

То ли цветом каким диковинным пахло из Федосьино палисада, то ли с задворок тянуло дурманной сладостью, руки парня потеряли контроль, и как только Ариша это почувствовала, рванулась и со всего маху залепила парню оплеуху, со

всей ярости плюнула нависшему над ней Митрохе прямо в лицо.

– Ах, так! – навалился на её колени ещё крепче Митроха, придавил девчонку, подобрал подол и задрал на голову. – Всё одно буду первый! Кричи, не кричи – моя!

– Ишь, чего уздумал, припадочный! До чего докатился! Девочек портить пригрезилось, сильник?! – Ариша замолотила по его спине руками, закусалась, забрыкалась что есть мочи. – Тронешь, паразит, – дня не проживу, нынче же сигану с крутой-ру в Березуйку, а не то на тополе супротив твоей хаты повешусь – плёвое дело! – заартачилась девка, как обухом шарахнула парня по голове.

И ослабил Митроха руки, и кольнула проснувшаяся мысль: «Надо же, как не люб! Накосы, выкуси – кукишь под нос – словно отравы в душу влила... Отпихнула зазноба, будто моток пряжи отбросила!» – И, покорившись опутавшей его участи, бес-сильно скатился с Ариши в анисы.

А девчонка – лызы! Из-под него выскочила, прижалась к городьбе на осыпанную мальвовым цветом стёжку – розовый полущалок свалился под ноги. Покуда будет жив Митрошка, не забыть ему, как сверкнули, заполыхали её глаза, как рванула она со всей мочи частоколину от палисадника бабки Федосьи. Вместе с гвоздями! И откуда духу-то хватило?

– Не подходи таперича, дьявол ты этакий! Христом Богом прошу, не подходи! – дрогнула в гневе крылами разлётистых бровей Ариша, гордо откинув голову, трянула гранёными в три нитки бусами, вспыхнула белыми, как сахар, зубами, прикусила до крови губу, – заporю, не сумлевайся! Вот те крест – заporю! – Смерила его девка с ног до головы, а сама торопливо одёрнула подол,правила растрепавшиеся косы и всё тряслась, тряслась, словно осина, мелкой дрожью, казалось, готовая вот-вот решится на невозможное.

Митроха не на шутку перепугался (а то! досель ещё ни одной бабы не касался), душа в нём запища-ала! Схватился за голову, заломило виски: совсем с катушек слетел, до чего девку довёл!

Ещё не осознавая до конца, что только что потерял, не об-

реть, Аришу на веки вечные (говорят же старики, мол, раз оборвёшь – уже без узла не натянешь), застегнул ремень, заметался из стороны в сторону, отыскал в подлунье закатившийся в траву картуз, отряхнул об колено.

– Ну, что ж, ходи нераспечатанная! На «нет» и спросу нет... – и пристально взглянув в лицо, – для Ромки, что ли, бережёшься? – Только и обронил и, не дожидаясь ответа, обессилено вздохнул.

Через минуту встрепенулся, перекинул через плечо пиджак и нарочито спокойно зашагал прочь.

– Не ожидал я, что так противен тебе... Прости ты меня Христа ради! – В десятке шагов, ссутулившись, овладев собой, вдруг обернулся.

– Сlopал, охальник! Иди уж... Бог простит!.. Такие дела сердцем надо решать, – утёрла губы краем кофтёнки Ариша.

Стожары помutilились над головой. Откурекали вторые петухи. Девичьим кленовым гребешком сронился в придольные стога молодой. Потухли, ахнув, следом скатились в Березуйку первые звёзды. Где-то «чижалёхонько» заскрипели нетерпеливые колёса.

Честно говоря, никогда потом ни Ариша, ни Митроха не поминали друг дружке о той встрече поздней ночью в Федосьиных анисах. Мало ли чего в жизни случается? Лучше уж не ворошить... Так и остался тот случай тайной за семью замками, а со временем и вовсе почти порос забвением (времена-то подступились какие тяжкие? Всё, что произошло меж ними, показалось баловством).

И Роману о том происшествии Ариша не осмелилась за всю их совместную жизнь обмолвиться.

– Зачем его с Митрошкой ещё лише стравливать, на драку науськивать? – прикидывала, рассуждала она сама с собой наедине. – Ведь у них из-за меня друг с дружкой нелады. Кто его знает, как надумает расквитаться Роман с соперником? Далеко ли до беды? Итак не могу дожидаться родного... Да и Митроха... не со зла ведь... Видать, взаправду любит...

А она любила Романа. Любовью сокровенной, всё стерпящей. Сколько свечей за-ради него Богородице переставила! Жалковала по нём – не передать! И святого Николая Угодника тоже молила о нём денно и ночью. Митрошку жалела, но ни умом не принимала, ни душою. И ничего с этим поделать не могла. Да, по правде говоря, и не хотела: «Вот те Бог, а вот порог!».

Ну, не зря ж говорят: «Руби дерево по себе!». Такая вот печальная история, и «отдавал себя Митроха за Аришу замуж», но так и не расщедрилась судьба, не поднесла ему подарок – хоть и прилип он к девке, как банный лист, не сложилась у них семья...

3.

Ещё в тридцать третьем, когда уж совсем было запогибал колхоз, удумал председатель, хозяин-то он рачительный (а может, бабка Спиридониха ему присоветовала, всегда у неё в погребе капуста до новолетья водилась), теперь уж всё равно, кто там подкинул Кузьме Лексеичу мыслишку, только ударился он в разведение капусты. В общем, если говорить кратко, сам захворал этой думкой и колхозников заездил, сбил с панталыку (сбил, не сбил, а ведь дело-то – выгорело!). Настропалил, мол, «и уходу особого за энтой овощью не надоть». А и правда, какой особый уход? Роскошь небывалая – знай поливай. К тому ж не уморно, воды в Березуйке ещё, слава Богу, – черпать не перечерпать, на тыщи лет вперёд хватит.

Как порешили, так и стали отводить колхозные поля из года в год по левой, низменной стороне Березуйки, в основном под «Славу». Но выращивали не только озимую – кормиться-то надо круглый год – не забывали и про яровую. Парников своих пока не держали, а потому рисковали: как спадут мало-мальски морозы, как обтеплится чуток поле, сеяли по два зёрнышка в одну лунку прямо в вешнюю землю. И Бог миловал: ещё ни разу приречная земля не подводила. В убытке не бывали.

Хоть Ариша и доярствовала, но как подвалит, бывало, капустная страда (обычно на Сергия, восьмого октября), чтоб

управиться к Покрову, и их, коровьих нянек, уламывал председатель подмогнуть полевым работницам.

И в тот, как вернуться Роману до дому, год взяли Аришины товарки на свой обиход её бурёнок, а саму её прикомандировали к «порубному» амбару. Чтобы не перекидываться кочаньями, теплушку эту туточки и притулили, на бережку. Вокруг него сладили деревянные настилы, вроде завалинки, только широченные. И по осени у Березуйки уж какой октябрь высилась поднебесная гора капусты – проходи мимо чужак, ни за какие коврижки не догадается об том сараюшке – под крышу обложен побелевшими после первых заморозков кочанами. Сладили буржуйку (дров – полные сени). Сарайчик тот разве что невзначай выдадут голубые дымки от печурки, вытягивавшиеся в тонкую струйку по осенской стыни до самого поднебесья.

Заквашивали капусту только на растущей луне, караулили, верили – как старикам не верить? – тогда она будет твёрдой и хрусткой.

Перво-наперво мужики прикатывали вымачивавшиеся всё лето на омутке осиновые кадки и кадушки, дальше бабы брали дело в свои руки – ошпаривали их крутым кипятком, вытирали досуха тряпками. Окунали в вар и собранные на правом, каменистом берегу Березуйки тяжи – пригнётные каменья.

Острющими ножами отсекали от кочанов верхние (зелёные) листья. Вырезали кочерыги. У мужика всё сгодится в хозяйстве – листвою этой зеленушной выстилали донья кадок. А кочерыжки наперебой расхватывала крутящаяся под ногами детвора.

Наступал самый работной, но очень задорный час. В огромные деревянные корыта устанавливали бурачные тёрки – и давай наяривать! Вжик-вжик – таял вилок за вилок.

Капусту сдабривали ягодой-калиной (плетухами надирали её в Богачовом лесу), выскобленной, натёртой на той же бурачке морковкой, посыпали ядрёной солью и анисом (благо приправа эта не заморская, куда ни протяни руку – повсюду, бери – не хочу!).

Рядами, на середину бочки укладывали вылежанную антоновку, целиковые, что подробнее, вилки. А то додумались – нашмыгают на тёрке лосточками красной свёклы – сыпанут в кадушку. Замалинивает капуста – красотища! Вроде и не капуста это вовсе, а какой-то ненашенский продукт, поди разберись.

Утопчут квашенку что есть мочи, проткнут черенком деревянной, добела выскобленной лопатки, до самого донца кадушки, закроют тяжёлыми деревянными кругами, сверху придавят их голышами-каменьями – и в погреб.

Убрав продукт в кадушки, как дойдёт, уже к Зимнему Николе, примутся колхозники торговать им на орловской, кромской и дмитровской ярмарках.

Под Сергов день, когда заканчивалась копотня с последними бочонками, и тут не ко времени, – что ты будешь делать! – раскунежилась, захворала Дарья Синицына, Аришина напарница по «порубному» амбару.

Ариша-то, конечно, – что ж тут хитрого? – догадалась, смекнула о Дашкином обмане, но не стала совестить бестию, чай и правда, Сергов день на пороге. А бабонька она, хоть и на два года помлаже Ариши, семейная – успела, не поленилась со своим Федькой троих «сострогать».

Вот и поди попробуй теперь поворотись: ребятишки – мал мала меньше, мужик по ночам докучает, а спозаранку, ещё затемно, на ней коров колхозных – аж три десятка да и по дому, на подворье, как-никак, тоже прибраться надобно.

А под Престол – и вовсе: печку подзатри-подбели, холодец притоми-разбери, квасу кадку-другую заведи, самогона бутылки три навари – меньше никак нельзя: сродственников полна горница набьётся дня на три, не мене. А закуски? Ну-ка, мыслимо ли дело: на такую «компань» одной настряпать?!

– Ладноть! Чего уж там! – махнула тихо и кротко на Дарьину уловку Ариша, – покуда одинокая, куда ж деваться, пособлю колхозу и за себя, и за товарку, ить на ей обуза – тройка детворы.

Роман постучал, когда она, босая, зардевшаяся, с еле прикрытой грудью в нижней одежде – левая бретеля сорочки спала с плеча, подол подъюбки на обоих бёдрах подоткнут под резинку – дотапывала последний десятиведерный наполь. В перетопленном амбаре пять туго набитых кадушек уже кучились у дверей, поближе к прохладным сенцам.

– Кто там? Заходи – открыто! – не вылезая из кадушки, подбоченилась, дала она добро неожиданному гостю.

Поторапливалась нынче завершить засолку – кровь из носу. А уже засумерничало, лунью облился на взгорье бор, а в нём и вовсе – уже часа три как висела крошечная темень.

Роман так и застал её в жаркой томи теплушки на верхотуре наполненной капустой бочки, остолбеневшую, не сумевшую вымолвить даже словечка от нежданного счастья. Кинулся, обнял Аришу, уткнулся в её просоленную подъюбку. И, держа свою любушку, словно свечку, не стерпел – плечи его затряслись... Ариша присела на корточки, обняла его, молча гладила, гладила по голове, не перебивая, дозволила мужику справиться с собой.

А потом они наперебой до глубокой ночи рассказывали друг дружке, как дожидались их души этой встречи, как сжигала дума, как неизбежная боль бредила их сердца, как хворали они от безызначности, пока Роман валил в Сибири лес, пока летело на не шибко быстрых крыльях для них времечко. Как засыпали и просыпались с мыслью, что рано ли, поздно наступит срок этой, самой заветной, минуточки, и жизнь потечёт по новому руслу: без омутов и камней.

О том, что поладили они, не дозналась, как ни суровила свои смурные очи, даже пронырливая октябрьская ночь – сквозь алый Аришин плат, накинутый на обвязанное паутиной оконце, не особо-то что доглядишь. К тому ж, рядом, на взгорье, во бору, падая, щелкали-перещелкивались расперившиеся шишки.

Разве что досужий ветер, прислонив ухо к амбарной трубе, мог подслушать страстный шёпот Романа: «Зоренька моя!», жаркое дыхание Ариши: «Любый мой!» или хруст сминающихся капустных листьев под их молодыми телами. В ласковых от-

блесках притомившейся буржуйки не разобрать уже и самому Роману – листва ли сияет капустная, нежно-атласная, кожа ли Аришина гладкая, упругая. Весь он, до самой малой капельки, до самого последнего дня своей жизни во власти этой непостижимо притягательной женщины. За пять лет как повзрослела-то его любимая, округлилась, где положено, выладнилась! Даже мысли о ней, а не то что прикосновение всегда опьяняли его тревожным желанием, зажигали кровь, дурманили сердце, а теперь – и вовсе.

– Спасибо тебе, Господи, что снизошёл до нас, услышал наши молитвы! – Кланялась Арина, благодарила Всевышнего.

И снова обвивала желанного своим телом, ласкала лебедьними крылами и таяла, таяла, хрусткая и тугая, в волосатых, загрубелых от топора и кирки крепких, но таких родных и нежных Романовых руках.

Пахло печёными на буржуйке антовками. Скрипел обмятый до земли ворох капустных листьев. Она подымалась разгорячённая, потягивалась, согнув кольцом над головою руки, привстав на носки, лениво и страстно, дзенькала о ведро корцом, подавала его Роману с молодым, чуть розоватым рассолом, словно с каким приворотным любовным зельем.

– Пряма-таки мёд! – Утерев со лба пшеном осыпавшийся пот, он пил взахлёб. Солоноватые струйки сбегали по Романовым усам, растекались по обветренной загорелой коже, и он снова переполнялся силой.

Ариша склонялась над ним, не позволяя растеряться драгоценной влаге, подбирая, пригубляя её, чуток горчашую, душистую лепестками своих разгорячённых малиновых губ.

А он, её единственный, её до остановки дыхания желанный..., он зацеловывал, изласкивал её от макушки, от золотистых завитков на покрытой едва приметным пушком розовато-парной, как у младенца, шеи до покрасневшихся пальчиков её ног, насквозь пропитанных рассолом. На них, на аккуратных ступнях и пяточках, всё ещё пестрели прилипшие белые – капустные, рыжие – морковные лосточки.

Проголодавшись уже к утру, они таскали из плетушек скобленную морковку, хрустели капустными хряпками – благо корзинками с кочерыжником были заставлены все амбарные сени.

Обезумевшая от свалившейся на её голову внезапной радости, Ариша сияла: то невпопад плакала, то до слёз смеялась.

– Ничего! Ничего! Слаще будет капуста, – не отпуская её ни на минутку, улыбался, всё не мог наглядеться Роман.

Он брал двумя руками её лицо, долго и пристально смотрел в осиянные глаза и исповедовался, исповедовался... Выплёскивал в самую глубину девичьего сердечушка все те думки и чувства, что берёт он для неё в самых заповедных уголочках своей искалеченной души все долгие, пересыпанные колючим сибирским снегом, прокалённые сиверком, тяжкие годы разлуки.

– Свет мой ясный, радость моя! Суженый мой долгожданный! – Светилась она счастьем.

– Господи! Как же боялся я позабыть твой голос!.. Говори... Говори, родная! – Закапывался Роман в её пшеничную замять.

А на Покров тридцать восьмого, через неделю как вернулся Роман из краёв суровых, лесоповальных, сошлись они по закону (а чего теперь-то дожидаться? – Так задумано было ещё пять лет назад). Расписались, значит, в сельсовете, веруя, что отныне, после стольких мытарств и страданий, ничего и никто на всём белом свете не сумеет их разлучить, помешать круто посоленному Аришиными слезами счастьем. Свадьбу не шумели, справили по-свойски, семейно.

Хоть и молод был Роман, а уже здорово хлебнул лиха. Но среди всех злключенияй любовь его на колючих сибирских ветрах не только не остудилась, а того пуще – распалилась незатухающим пожарищем. Начихал он на все пересуды-ухмылочки – набрешут что попало пустоболты, языки-то у баб – помело, а не языки! – балагурят, мол, гляди, не промахнись, паря, стопроцентовая ли девка-то? Вся деревня глаза пучила, зазря что ли, Митроха за кралей твоей хвостом увивался? Быть того не может, чтобы не свалилась она, страмница, с Митрошкой. Эдакий крутень своё, мужицкое, не упустит.

Едва ли не на следующий день как объявился Роман в родимой деревне, Митроха, забубённая головушка, чтоб не закиснуть, как двухнедельный квас, не сказав ни здравствуй, ни прощевай, первой попуткой «захвисталупил» из Берёзовки – да потуда его, перекасти-поле, и видели!

Куда занесла его утлая жизнь? А кто ж его ведаёт? По всей стране росли тогда, словно под Успенье в Зарядье по дубовым пням опёнки, новостройки. Может, на Балхаш завербовался? Наши туда в поисках достатка (за морем-то телушка – полушка) валом повалили. Поговаривали, дескать, мотается Данилы Сазонова сынок по свету, на одном месте полгода не задерживается, видать, надеется словить самую что ни на есть Жар-птицу. Что ж? У каждого своя колея.

Молодые не больно-то приняли к сердцу его исчезновение – пускай себе шатается по свету – они налаживали судьбу, одну на двоих, порушенную Митрохой на пять лет.

Роман мужик смекалистый, покрутился неделю у старенького ХТЗ, куда-то плюнул, что-то подмазал – глядь, зафырчал уготованный было на слом тракторишко и к несусветной радости председателя Кузьмы Алексеича снова натруженно затарахтел на берёзовских полях.

Ариша по-прежнему бригадировала на ферме, а кому ж ещё-то, если не ей? Жадная до работы. Растворилась в ней. Хваткая, убористая в хозяйстве, к подушке прикасалась урывками, самую толику.

Переполненная любовью и радостью, понесла она с благословения Богородицы в первую же ночь своего замужества, на Покров, и вылелеяв дитё под сердцем, разрешилась накануне Петрова дня белобрысеньким мальчиком Сергуней.

4.

Теперь тому – века. Взвенела полузабытая песня. Наладилось..., конечно, всё бы наладилось... Чего ж не жить-то в такой любви до самого смертного дня? Но так извечно ведётся: большой любви – большие испытания. По силе духа, видно, и крест.

До глухой Берёзовки докатывались чёрные вести из охва-

ченной войной Испании. К тому ж Фёдор, Николай Страчёва сын, гордость отца, кадровый военный, по первопутку, в канун солнцеворота, ни с того ни с сего объявился на отцовском пороге. На побывку... или передышку?

– Изранены-ый! – зашептались, опершись на горожу, деревенские, и поползло от хаты к хате: прямо оттудова...

Зашевелилась деревня, слух ведь, хоть и крадучись, а бежит неуследимо... Потом и того пуще – загуляли толки о том, что Гитлер затачивает зубы оттяпать у соседей землицы насколь рот разинет. Заволновались старики на завалинках, зачастили к словоохотливому и общительному, травленному в окопах Первой мировой германскими газами деду Нехаю. Тот, безобразный от болезней, старости и худобы, выложив мосластые, с шишковатыми пальцами работные руки свои на пыльную бобылью столешню, чертыхался, разглагольствовал, разматывая нервы, скручивая козью ножку, продрогло ёжился, утирал рукавом слезящиеся глаза, суровя брови, на все бока крестил «ерманца» по матушке.

– Ой, лишенько! – запричитали, запроклинали разом, как по команде, войну-разлучницу, сжавшись от страшного предчувствия, берёзовские бабы. Видать, сызнава засосало у них под сердцем, забила лихорадка, заскулили охолостелые – мало ли слёз проглотали? Им ли, не так давно перебедедовавшим Гражданскую, только-только начавшим очухиваться, не знать: война – такое дело: заварит кашу – ведром не расхлебать. Закрутит она, как цыган солнце, весь белый свет... И прижилось в Берёзовке какое-то пронзительное ощущение надвигающейся чудовищной опасности. Тихо, с оглядкой (газеты-то кричали о мире с Гитлером) начали поговаривать о неминуемой беде.

– Господи ты Боже мой! Кажись, цельная вечность прокатила с той, мирной, поры... Вспоминать – только душу рвать. Не вернуть! Не вернуть уже прежней жизни. Слишком много чего неожиданного-негаданного стряслось: Финская..., потом – нешто лёгко? – кому скажи: двадцать два месяца под немцем... А теперь вот и вовсе через пень-колоду – сорвали изверги с наси-

женного места, пусть и разорённого, «наушшал» порушенного, а всё ж таки, как ни крути, родного, и гонят, подлюги, под автоматами, не понять зачем, в свою Тмутаракань, – снова полез было за кисетом Роман.

Оторвав кусочек от свёрнутой в несколько раз власовской листовки, он пробежался глазами по строчкам: «Едрить твою налево! Это ж надо, как оплетают! «Русский народ – равноправный член свободных народов Новой Европы!» – сплюнув под ноги, крупно выматерился. – Прихвостни фашистские, брехуны! А по какому такому праву тогда вы, сволочи, меня, равноправного, от моей хаты, от поля моего с такими муками на край свету турите? Да ещё и под дулами автоматов?».

Вытряхнув из кисета последний табак, свернул сигарку. Настоящей махорки он не нюхал уже, почитай, года два (бывало-то, в углу бакши каждый год высеивал он свойский на кусочке – сажень в ширину, три сажени в длину). Сельповские папиросы – как ни экономь-таись, кури не кури в рукав – в глаза не видал и того боле. Да и запасы свойского, огородного табачку поиздержались. И Роман, как и весь курящий деревенский люд, попривык не понять к чему.

– Рази ж энто табак? – от души выматюганился Роман, – Так, одно прозвание – «БТЩ» («брёвна, тряпки, щепки»), а где разживёшься махры? Слухи доходят, в самой Москве восьмушка махорки стоит двести рублей... Подумать только!.. А раньше-то – всего ничего – сорок копеечек! Поминай как звали! – втягивая прогорклый дым глубоко в лёгкие, Роман поймал себя на мысли, что с некоторых пор стал разговаривать сам с собой.

Козья ножка затрещала, будто в неё насыпали не крошево палой листвы, а порох, посыпались искры. Роман заотмахивался от них, словно от назойливых болотных гундосиков – итак вся рубаха и штаны в мелких прожжённых дырочках. Глаз да глаз с таковским табаком – того гляди, сам пыхнешь или задымится на телеге веретьё.

Он совсем было собрался припрятать (на очередной перекур) листовку, да глаза выхватили рядом с разлапистым паучиной портрет Гитлера. А чуть ниже, видать, от его имени: «Мы

объаты безграничной любовью и преданностью своему народу. По той же причине мы уважаем национальные права других народов. Поэтому не преследуем цели германизации. Мы рассматриваем окружающие нас европейские народы как объективную реальность».

– Ещё один брехун!.. Заглавный! У! Гадючье племя! Людоед проклятуший! Сдохлыми б воронами тебя накормить! – прохрипел Роман, не пожалев бумаги, скомкал её что есть мочи и швырнул в прогорающий костёр. Печатные буквы запрыгали в глазах, строчки с гитлеровской трепнёй заморщились, поползли и осыпались прахом.

Цигарка отпыхала. Набитая не махрой, а чем попало, она не заглушила голод, не успокоила нервы. Но если бы не перепало совсем никакого курева, тогда б и вовсе – хоть вешайся! Единственная утеха. Именно она, цигарка, служила сейчас Роману тоненькой палочкой-выручалочкой, не позволяющей окончательно потерять голову.

Ещё в Берёзовке, выискивая хоть какую замену табаку, чего только он не перекурил! И хмель, и даже зверскую, вышибавшую слезу смесь из коры и сухих дубовых листьев. В зависимости от степени крепости, мужики прозывали её: «вырви глаз», «матрас моей бабушки», «стенолаз» или «сено, пропущенное через лошадь». Кому сказать, Роман пробовал курить даже мох. Но собранный в бору, – бейся не бейся – он отдавал сосновыми смолами, всяким-разным, чего душа Романа напрочь не желала принимать. После таковской цигарки его выворачивало наизнанку, а тогда и вовсе наступал крах.

Бабка Косёниха, пользовавшая берёзовских от больших хвороб и малых болячек, присоветывала вовсе покончить с куревом. И Роман вроде бы сдался (чем претерпевать таковские муки!), даже засушил, разузнав, что к чему, по косёнихиной подсказке, мол, отобьёт хотенье напрочь, каких-то там трав: подорожника, чабреца, пижмы, малины, земляничника, кажется, даже крапивы и лещинника с дягелем.

Пробовал он бросать курить и уже в пути, на Брянщине, а в белорусских дебрях заталкивал в цигарку ещё и собранный по

ложбинкам можжевельник. Хотя и давала бабка голову на отсечение, что травки эти безотказные, но как дома не помогало, так теперь уже и подавно на них надежи не стало.

Ариша, вытряхнув из телеги, наконец-таки, все хархары, наводила в их дорожном хозяйстве порядок – снова укладывала «добро» меж лесенок. Оставив жену за этим занятием, Роман – до вечерней поверки ещё эвон сколько! – надоело щепотью одалживаться – спровадился в ближайший, почти уже начисто общипанный октябрём, лесок в надежде «подсобрать табачку». А по возвращении собирался подправить обротя.

Самокрутки из сухой листвы в народе прозывались «золотая осень». В ход шли листья и осины, и берёзы, и дуба, и клёна. Роман пристрастился к «берклёну» – табаку из смеси берёзово-кленовой листвы. И сейчас покинул он Аришу на самую малость в поисках того, без чего душа его, кажется, и вовсе разорвётся от тоски по сыну, от стыдобы за беспомощность.

– Фрицы-то – не дураки, сигареты у них что надо! – спускаясь в поросший высоченным иван-чаем овражек, снова заговорил сам с собой Роман. – Немного, правда, но приходилось пробовать, угощался их куревом: и R6, и Ernte 23, и Reval, и даже Rot-Handl. Но, видать, попривало и их, отошла лавочка, если больше не шикуют, в паёк своим прихвостням, хлоп тебе, подкидывают «картонные» эрзац-папиросы. Правду сказать, они совсем не пыхают, не искрятся как наши, да и не горлодёры.

В продрогшей рассветной сини в пору листобая клубилась туманистая сыворотка. Зыбкий свет первобытного предутра уже явственно обрисовал корявые, заиндевелые, точно посыпанные солью буро-зелёные можжевельники, глинистый косогор, вдоль которого подальше от сырости полторы недели назад тормознулся их, обречённый неведомо на что ещё табор. Там, откуда он пришёл с восточного края бора, над поросшей зелёно-золотистым рассыпчатым мхом грядкой болотной ольхи забагровелась полоска зари. По елани, прижавшейся к густой стене леса, вспорхнули вяхири.

Лёгкий морозец выпил в мелких лужицах вдоль заросшего вереском просёлка прозеленённую муть воды, настоящую на ядрёном черничнике. По протычинам взвенивал коловшийся под сапогами слюдяной ледок. Последние капли воды брызгали разбитым стеклом. Натоптав берёзовой и дубовой листвой чувал, Роман, хрястая сучьями, стараясь брести в разбитых кирзачах по сушняку, лиственной опаде (искалеченная нога во все перестала слушаться, не промочить бы), повернул назад. Натоптался сегодня, намучил её – казалось, вовсе стала чужой. Глодала без продыху, как собака кость, налилась свинцовой тяжестью, драла, белого свету не взвидишь.

Ещё издали заметил он исчезновение Ариши.

– Может, к Лимпиаде отошла, на другой конец обоза? – поначалу-то попробовал он утешить себя. – Бог ведает, мало ли какие промеж них свои, бабские, дела водятся. – Но душа зачуяла недоброе, похолодела, сжалась.

Роман до рези в глазах всматривался в растянувшийся на две версты обоз. Но прошёл час, другой, Ариши нет как не бывало. И он, обеспокоенный не на шутку, позабыв о грызущей боли в ноге, шарахнулся, обкондылял обоз из края в край, до хруста в позвонках вытягивая шею, обыскал его воспалёнными глазами – никто не видел, никто не приметил, куда запропастилась баба. Делать нечего – пришлось, запыхавшись, кинуться к старосте, Лукьяну Кузьмичёву. Мол, так и так, отлучился на минутку, а жены след простыл.

– Раскудахтался!.. Сышшится!.. Что ты, в самделе, хуже маленького! Куды ей, такой-то, от обозу отбиваться? – Староста со знанием дела отмахнулся от Романовой заботы, опорожнив стакан, прислонил к носу ломтик хлеба, понюхав, заводил скульями, поросшими лешаниной. Пожевав, подцепил из жестянки кончиком назубренного ножа добротный кусман немецкой тушенки. Ударив по донышку очередной бутылки, выбил букажную затычку.

– Сама найдётся! Разя кому теперя Аришка твоя нужна? – подмигнул смеющимся глазом, опростав стопарь Митроха. Поддакнув начальству, тряхнул головой, занюхал мутную

свойскую щедро откромсанным ржаным ломтём, хрустнул солёным огурцом (вчера пошарили на соседнем хуторе, припёрли ведро бочковых).

Уже изрядно наклюкавшийся, в стельку хмельной, с рыбьими, холодными с перепоею глазами, выеденными до дна самогоном, скривив в усмешке губы, ошивавшийся постоянно у Лукьяновой телеги, он насаживал на прутик сало. Горящие капли жира, роняясь на уголья, вкусно пошипывали. Роману явственно было видно, как судорожно заходил Митрохин кадык, а лицо его, словно дурной знак, скужило щемящее чувство тоски.

А ведь видел подлец! Уж с кого с кого, а с Жихаревых-то он глаз не спускал, видел, как ещё несколько часов назад, озираясь, проколтыхала Ариша, минуя коряжник, к видневшемуся на взлобке почти стёртому с лица земли селенью. Останавливать не стал.

– С такой прытью всё одно никуды ты не схолишься, не улизишь, – ухмыльнулся вослед ей Митроха, не помчался наперескок: из-под земли найду!

Всерьёз обеспокоенный, скисший Роман снова пустился в обход обоза – вдруг всё-таки кто вспомнит, может, часа два-три назад встречал Аришу?

А пропавшая баба, в это самое время догадываясь, что муж проглядел уже все глазоньки, высматривая её среди обозников, закрывала калитку одной-разъединой уцелевшей хаты, вышедшей к обочине села Заозёрного.

Хоть и тяжко на сносях опухшими с голодухи ногами шоркать по изрытому ухабинами и воронками, заросшему сергибусом, непрямому ходаками – кой год – кто ж его знает! – просёлку, мимо развороченной белой, с ржавым кособоком куполом церкви, мимо спалённого поля выколосившейся ржи, обочь заманных, мутно-голубых стёкол болотного озера, мимо припогостных, облепленных перегирыкивавшимся вороньём ракиток, мимо возвышавшихся посередь погоревших подворий, устремлённых в самые небеса печных труб, но умотавшейся Арише шлось всё ходчее и ходчее.

Очень уж хотелось ей поскорей развернуть перед мужем спрятанный на груди узелок, показать бесценный добыток: три сваренных вкрутую яйца и шматок... – с Серёжкину ладошку! – прогорклого, изжелтившегося, ещё довоенного салца.

– А баушка-то, баушка! – осветилась еле приметной улыбкой Ариша, – ишь ты как! Не надобно, говорит, мне твоего кольца. Ай я молодка какая? Знать, обручальное?... Совесть-то ишо имеется, не всю войной отшибло, кто ж с «тяжёлой» возьмёт? К тому ж, где это видано – у нас так-то не водится – чтобы бабе на сносях отказать. Последний кусок и тот подашь... А сама-то, поди, позабыла, как пахнет по подворью хлебным духом... Ах ты, баушка, баушка! Ну, спасибочки тебе до земли, горемышная... Не забыть, не запечатовать мне твоего селеньица придорожного, доброты твоей бесценной. Как не молиться мне теперь об тебе до скончания веку?

– Что ж ты из меня сердце вынаешь, Аринушка?! – с несуетливой радостью ласково сердчал, словно вяхирь гурковал, выговаривал Роман жене. – Могла бы и понять – с ног сбился: как в землю канула!

– Тсс! – жена прижала палец к губам, – живая я, живая! Раньше смерти-то не помрёшь! Не простились, значит, встретимся, – нарочито строго сдвинула брови Арина.

Почуяв, что силы совсем оставляют её, поскорей расстегнула нижние пуговицы потрёпанной своей плюшки, размотала мохрастые концы сбившегося на бок подшалка, неуклюже, боком, боком, придерживая уже явно выказавшийся живот, опустилась на клубоватую дерюжину, раскинутую по горе лапника, вытянула гудевшие в побитых ботах ноги к кострищу, – щас малешки вздохну и обскажу, чин по чину, куда меня нынче носило.

Роман не торопил её с рассказами, не лез с расспросами. Ариша рядом, а это – главное. Всё остальное, слово за слово, рано или поздно прояснится, не к спеху. Налил в плошку кулеша, принуждая съесть до капельки, – знал ведь, что с утра у неё во рту маковой росинки не было.

– Погодь, погодь ты, Романушка, с едой-то, – наконец не стерпела жена, отодвинула кулеш, загадочно блеснула своими усталыми фиалками, – допрежь того погляди-тко, за-ради чего я так долгонько пропадала, откулева притопала, – и вынула, развязала схороненный на груди ситцевый узелок: три куриных яичка и брусочек сала. – Для Серёжи.., собирайся.., как хочешь расстарайся, только уломай нехристей, чтобы дозволили сына поведать... Мне-то за шесть вёрст ни за что не дотопать, а ты завтра с зарёй отправляйся... Там, справа, за чувальниками, – Ариша кивнула в сторону телеги, – засунь руку в солому поглубжей – нащупаешь тряпицу. В ней – шаль моя пуховая... Нашла всё ж таки... Возьмёшь. Охранника подмаслишь.

5.

Роман знал, как дорожила Ариша этой самой шалью, доставшейся ей в не шибко богатом приданом, как берегла она её, как просушивала-проветривала летом на солнышке, на вольном духу, как красовалась в ней в холода, в самые большие праздники: разве что на причастие, да в престол день, ну, ещё на Роштво накинёт да на Хрещеньё... А после снова пересыплет полынью от шашала – и на самое донышко своего приданого сундука, аккуратно до следующей зимы.

Но помнил Роман и то, как в лютые холода у них в Берёзовке зимой сорок первого–сорок второго немчура куталась во что придётся: в ход шли даже бабьи плюшки, не гнушались фрицы и шальями. Пошурует Ганс у баб в шкафах-чуланах, перевяжется крест-накрест раздобытой белокрайкой – и не так уже страшны ему наши забористые морозы. А уж козья, пуховая, хоть кого из них введёт в соблазн. Немец – Herr запасливый: того гляди, сиверко потянет, а там – недалеко и до холодов, не устоит, как пить дать, не устоит перед Аришиной шалюшкой.

– А всё ж таки правда: умница Ариша-то, светлая головушка! Ишь, чего задумала! Может, и выгорит. Может, и повидаюсь с Сергуней. – Роман поставил плошку на пёнушек рядом с забывшейся от усталости женой. – Знать, не попробовать нам с тобой нынче, родная, жарёхи-то, – ещё не осознавая окон-

чательно зачем, сгрёб утрешные красноголовики и, позабыв о смертной боли в ноге, о ломоте в коленях, уже в подступающей темноте двинулся к старосте.

– А чем чёрт не шутит? Может, всё ж таки попервоначалу с Митрохой потолковать? Хоть наверняка – от ворот поворот, но вдруг всё-таки у стервеца окаянного совесть прорежется? Ведь крови-то на нём всё ж таки по сю пору не было, – прикидывая, с чего бы не ошибиться начать разговор об отлучке, неожиданно мелькнуло у него в голове. И тут, не осилив ещё и полпути, Роман сустрелся с бывшим другом – ух ты! – прям из-под земли вырос!

– Я – на базар, а он – с базару! Это по какой-такой жгучей надобности на ночь глядя отлучка? Ай жена опостылела, на девок потянуло, – ехидно, уничтожающе, прищулив глазки, завывобенивался, сразу вскинулся на дыбы Митроха, – мотри у меня!

– Заботы нынче другие..., не до баб, – выдавил из себя, пробурчал как можно спокойнее Роман. – На ловца вот и зверь бежит! Надо б перекинуться с глазу на глаз.

– Это кто ж из нас ловец-то? Уж не ты ли будешь? С какого перепугу? – вылутился на него, гоготнул в ответ полупьяный (видать, уже приговорил поллитру) Митрошка.

– Только б скрепиться, только б не сорваться! – норовил остепенить себя Роман, – Матушка Царица Небесная! Угодники Божии! За-ради Серёжки пошлите терпения.

– Жидок на расправу! Вот она, долгожданная минуточка! Как же грезилась она мне все эти последние десять лет! – с малолетства зная натуру бывшего дружка своего, возрадовался про себя Митроха. – Ишь, какой кроткий стал, как есть голимый, прям-таки курябчик исклёванный!

– Потолковать бы, – не отступал Роман.

– Потолковать, говоришь, приспичило? Что ж, можно и потолковать, коли есть об чём, дело-то нехитрое, – набычился, снова закозырял уверенный в своём превосходстве Митроха. – Только разговор у нас случится сурьёзный... Сурьёзней не бывает... Язык-то не отсохнет?

Ты, друг мой ситцевый, может, никогда и не задумывался, тебе и на ум-то не приходило.., зачем тебе надоть-то?.. Что жисть мою в раскрутую дужину согнул, на такой вузляк завязал, что вовек не распутать, рази что одним махом рассечь его к чёртовой бабушке... А скажи-ка ты мне, будь ласков, как на твой вкус, с энтаккой судьбиной никчёмной, беспечальной легко ль уживаться – ни Богу свечка, ни чёрту кочерга?

– Ты вон об чём! Пустопорожний разговор! Ни к чему мне попрёки твои выслушивать. Плетёшь что ни попадя, ни уму ни сердцу. Прожитого не воротишь... Сколь годиков-то кануло, а, видать, сердце-то стоном стонет, не остыло?

– А рази ж есть какая разница: сколько – год ли, десять, сто.., коли сошёлс на ней клином свет? Думаешь, мол, было да прошло? – поник вдруг, словно пришибленный, Митроха. – Давай начистоту: вот гляжу я на неё – Аришу мою.., супружницу, значит, верную твою.., хочь заморужной вовек не была, но похуже-ла, расхристанная (дак кого ж такое житьё красит?) и снова от тебя, мужа своего разлюбого, брюхата.., гляжу на неё и сам себе дивуюсь, а по большему случаю клянусь что есть мочи... за слабость энту свою роковую. Только ведь куды ж от ней деться-то? Ночь-полночь разбуди, дажить в бреду горячечном не отрекусь я от неё... Пытай, калёным железом жги – нет для меня на цельном белом свете, Роман... – понимаешь ты ай нет? – бабы твоей, Ариши, дороже... да, видать, уже и не сыщется... Столько раз сливался с ней мысленно!.. Меня не знает любовь, зато знаю её я... Ну, и как прикажешь мне с тобой со всем этим по одной земле ходить, одним воздухом дышать?

– Места всем хватит... Не знаю я... Дело хозяйское... Судьбу на коне не обскачешь... Какой я тебе подсказчик?.. И без твоей исповеди всё помню. Пусть даже и так: насыпали, не желая того, на хвост тебе соли... Только всё одно некому нам с Аришей окромя тебя поклониться, некого умолить... Да и время дорого. Коли любишь ты её – не зверь же ты распоследний, – коли правду только что тут, на этом самом месте сказал, а я верю, что так оно и есть – так пожалей же ты её, разнесчастную, закрой глаза, не гляди в нашу сторону всего несколько часов. Дозволь

мне отлучиться от обоза. Истосковалась она по дитю, посылает меня в Брусничное, к Серёжке – ей-то уж куда там! Помогите, Христом Богом тебя просим. Может, и свидеться с сыном больше не представится случая.

– Ишь чего захотел, гусь жареный! Заголяй зад! Больно надо! А фигу не нюхал? Накося, выкуси! Пуцай Ариша сама попросит! – не тут-то было, зафордыбачился, будто крутым кипятком обдали, на губе сигаретка прилипла, «заклятый друг».

– С кого ж ты, ирод, верёвки вьёшь? Вот она, любовь – жаль твоя на поверку-то каковская! Поневоле скажешь: у! клоповые отродье!.. Вот тебе и все мои осанные слова. Только б, как и бывало, об себе родном да об себе, – испепеляющее посмотрел на него Роман, закипал, того гляди, замахнётся оплеухой.

Митроха молчал. Наплыло внезапно, припомнилось ему почему-то, как, кажется, в сороковом, зимой, когда, поколесив по стране, наконец, решил вернуться, осесть в Берёзовке, тормознул он на выезде из райцентра попутку, перемахнув через борт полуторки, уселся поближе к капоту на солому, рядом с закутанной в шаль молодой бабой.

Стукнул кулаком по крышке кабины: «Поехали!». В машинной утробе что-то лязгнуло, дзынькнуло. Мотор блямснул, хрюкнул и, наконец, подсобравшись силёнками, взревел диковатым зверем. Тронулись, покатали, заподпрыгивали, закидало, замотало на перемётах.

Смотрит Митрошка – себя не помнит от радости, глазам своим не верит – Ариша! Забилась от сиверка в уголок, мальчишка белобрысенького годков двух укрутила крест-накрест белокрайкой, собой прикрывает. А он – любо-дорого! – в зелёнке, распятнистый. Всё наружу из-под мамкиной плюшки лез, любопытничал без боязни, ни мороз, ни ветер ему нипочём. Разговорились, конечно. Из райбольницы ехали, то ли от ветрянки, то ли от крапивницы какой-то там спасались.

И вот что примечательно, что сразу резануло Митрошке слух: хоть и канул тогда без вести Роман где-то в финских сугробах (Ариша о своём горе и рассказала), хоть и надежды уже никакой не осталось, а она – поди ж ты! – что ни слово – о муже.

И так всю дорогу до самой Берёзовки... И ни одного худого слова, всё «Ромушка да Ромушка»... Господи! Что бы только Митрошка не сделал, взгляни она на него своими фиалками хоть в полглазка, так, как смотрела всегда на Романа! Кого винить?.. Аришу ли за её неприступность, себя ли дурака? Угораздило же зародиться беспросветным однолюбом! Вон сколько баб, девок кругом красивых, а вот поди ж ты! Видно, на роду ему прописано с покорностью принимать своё горе.

– По тебе, так всё ерунда... Тебе до души моей и дела никогда не было... Ты ж и не ведаешь..., откуда тебе? – глухо рыкнул, очнувшись, наконец, слушавший вполуха Митроха. – Как воспрят было я духом, как возрадовался, когда затерялся было на Финской твой след... И откуда только тебя леший принёс?

– Зря-то не мели! Как не понять? Ясней ясного! Да знаю, знаю я, что на дне твоей душонки преет... Ну, извини, друг-товарищ, что живой остался... Правда, искромсанный. Может, посоветиться перед тобой за везуху, за своё прогорклое счастье? – не стерпел, сжал, напряг узластые кулаки Роман. – И позволь у тебя по старой дружбе поинтересоваться: как так получилось, где тебя черти носили, когда я пил финский ветер, коченел в сугробах под Суомуссалми? Да арапа-то не заправляй!

– Ты-то пропал, – совсем протрезвел, не обращая внимания на вопрос, продолжал Митроха, – а любовь, – как объяснилось потом – такая штуковина – об колено не переломишь.

– Вот тут ты прав. Не зря ж говорят, коли она, любовь-то, взыправдашная, так и за тыщи вёрст сберегает... Знать, и за меня вступилась... Ну, а где ж ты, женишок, всё ж таки обрелся? Что за потаённое место такое? Только мне-то ты лапшу на уши не навешивай, не бреши, всё одно не поверю, мол, броня и всё такое прочее. Ишь ты, какая фигура в нашем государстве незаменимая!

– Не тебе судить: кого на передок посылать, а кого и поберечь. Ты вот скажи лучше, что мне теперь, когда все козыри в моих руках, с вами делать-то? Может, порешить обоих разом? Сколь можно с вами чикаться? Надо же когда-нибудь положить

этому конец, – досадливо поморщился, передёрнув затвор винтовки, зыркнул ледяно на Романа Митроха и затрясся от хриплого смеха.

А тот, позабыв вдруг себя – плевать, что у вражины винтовка, что дружки его, власовцы, с автоматами рядышком, на подхвате – собрался в кучку и накинулся со всей яростью на Митроху.

– Ну, ты тово!.. Полегче на поворотах! Придушу! Ты что ж, гад, сказал? Невелико геройство-то с автоматами-винтовками против баб да таких, как я, воевать. Э-эх ты!.. Я к нему, как путному, а он, троглодит!.. Людского ли ты роду-племени или змей подколодный? Совсем спятил? Пужать вздумал? Так я давно пуганый, ещё в сороковом на погосте прогулы ставили. Столько находил и терял!.. Перед кем ваньку-то валяешь! Я ж тебя как облупленного знаю, дажить то, чего ты об себе и не ведаешь, – глаза, как шилья, прохрипел Роман бывшему другу в самое ухо, рванул ворот его рубахи; защёлкали, посыпались пуговицы. – Ай, креста на тебе нет?

Из отшвырнутого в сторону узелка под мягкий шум хвои просыпались опёнки.

– Да как раз крест-то на мне есть.., сберёг.. А может, он меня?.. Смикитил, чей крестик-то?

Роман отступился на расстоянии вытянутой руки.

– Ладно, настырный, не ерепенься, разбалакался тут как в Берёзовке на завалинке, – вдруг смягчел лицом Митроха, поостыл, запереминался с ноги на ногу. – Твоя опять взяла! Не мотай мне душу. Всё нутро переворошил. Иди уж... завтра с утра, как зазорит, сразу после поверки, только никому не вякай, – и тут же, – если что – прикрою. Куда ты от Ариши денешься?.. Да и я – тоже.., – чуть помедлив, добавил, – а опёнками, небось, Лукьяна подмаслить надеялся, на закусон нёс? Дак этого добра, харчу-то у него ажни цельная телега – хочь пруд пруди... Дождись от него поблажки!.. Помнишь, у нас по первому холодку их у кривого дуба, бывало, – косой коси? – Нагнул, подобрал самый маленький грибок, понюхал. – Сычиным логом пахнут.., родным углом, – вскинул винтовку на плечо, отвернул бараний воротник своего короткого шубейного пиджака и

пошагал прочь, растаял в чернильной мути осеннего вечера.

– Всё! Видно, солнце завтра с другой стороны взойдёт!.. Ну, не подкашляй, друг-товарищ! – и Роман поспешил обрадовать жену.

6.

То ли от того, что уже и мочи никакой не осталось – почти не смыкал глаз, так, урывками, с самой той минутки, как разлучили его с сынишкой; то ли из-за сегодняшней внезапной пропажи Ариши – как вообще, мотаясь вдоль обоза в поисках жены, с ума не сошёл? – а скорее, от того, что объявился в его безысходном отчаянии самый малый, чуть затеплившийся огонёк, обкумекав с женой десять раз, и так, и этак весь долгий за-втрашний день, свернул клубком, уложил в котомку её праздничную шаль, тряпицу с заветными бабулиными яйцами и кусочком сала, засунув в потайной карман (не приведи Господь потеряется, вдруг да сгодится?) серебряное колечко, всё то же самое, Аришино, обручальное, Роман, наконец-таки, сморился, упал замертво по сугробу на сосённик под телегу и очнулся только по закрайке зари.

Лунная ночь сердце теснит, а коли луна полная, так и по-давно вгоняет в тревогу и тоску. Ночь замерла, словно глухое болото – не течёт, не всплескивает.

Даже во сне память перебирает обретения и утраты-потери: мелкие, покрупнее. Вроде, спал.., а вроде, – нет. Так явственно, словно оттикало время назад, в зиму тридцать девятого-сорокового, он снова прокатился за эти несколько часов на широких северных лыжах не одну версту по занесённым снеговёртью под самый завяз стылым сосновым борам, по усыпанным крупными мшистыми валунами, звенящими от хрусткой наледы финским просторам.

– Э-эх! Митроха, Митроха! И чего ты, зуда, зудишь? Тебе бы побывать там хоть денёк, к примеру, в сороковом, на другой день Роштва, восьмого января. Познал бы там, на раатской дороге, что есть взаправду та-то привередливая Кузькина мать, может, как небо скукожится в самую малую овчинку, как завы-

бывают зубы Камаринского. Опосля не до чужих баб станет, не вспомнишь, как батька с мамкой назвали ... Нетрошки царапнуло меня там...

А тогда-то вот как было. Роман, отбывавший в тридцать девятом под Ленинградом действительную, знал о той, не затяжной, но страшной своими неоправданными потерями войне. Не понаслышке посчастливилось хлебнуть лиха на самой что ни на есть передовой. Вся подготовка его к этой северной войне свелась к двухнедельным тренировкам ходьбы и съезда с гор на армейских лыжах в городишке Пушкино.

Потом, чудом уцелевший в Суомуссалмском котле, пьяный и, казалось, счастливый на всю оставшуюся жизнь, не раз повторял он одно и то же прознавшим о его невероятном спасении мужикам, собравшимся послушать солдатские были и небылицы под вечер в его хате за выставленной по такому случаю обезумевшей от счастья Аришей (глядела, глядела на воскресшего и наглядеться не могла) бутылью свекольного самогона.

– Любой-каждый понимал – как не понять-то в ту, предгрозовую пору? – случись беда, подыми фост Германия – а они с Финляндией в дружбамах – что тада делать? От финской границы до Ленинграда – рукой подать. Айда, не зевай! Захапает... как пить дать, захапает враг наш славный город в первые же дни войны.., а можа, и в первые часы!

Война, уж коли она приспичит, заварится каша, никого не минет, всех – от мала до велика – затянет. Селяне не пропускали ни одной весточки о боях с финнами. Собирались в конторе, замирали, припадая к бумажной радиотарелке.

Из радиосообщений знали в те окрестные времена и они, что, упредив нападение германской коалиции на наши рубежи, Красная Армия с тридцатого ноября 1939 по двенадцатое марта 1940-го разворачивала боевые действия на трёх направлениях: первый удар – на Карельском перешейке, где вёлся прорыв линии Маннергейма, второй – по Лапландии, чтобы не высадились союзники финнов со стороны Баренцева моря.

Роман же очутился на третьем направлении – в центральной Карелии, в районе Суомуссалми – Раате, где Советская армия, надеясь без особого напряжения разрезать территорию страны надвое, намеревалась выйти на побережье Ботнического залива в город Оулу.

– По такому случаю, – хмыкнул Роман, – предполагалось даже, что по улицам городка промарширует парадным строем отборная и хорошо экипированная сорок четвёртая дивизия. Ну, как говорится, загад не всегда бывает богат. Ввалили нам, наkostenали под Суомуссалми по самое не балуй. Хоть глаза от стыда завязывай!

– Да ты расскажь толком-то! – теребили бороды, цокали языками земляки.

– А об чём тут перетирать? Всё как на духу: нашего брата, рядового, его ведь не проведёшь – наука нехитрая – он собственной шкурой чует все недочёты и промашки командиров, – клевал носом крепко захмелевший Роман. Хоть и умел держать характер, но ронял голову на грудь и вдруг, ни с того ни с сего, словно в передышке между боями – гармонь на коленку, и по ладам! – притопывая под столом ногой, затягивал в распаренной, как баня, избе длинную-предлинную немудрёную солдатскую песню, заученную в сутробах под Суомуссалми:

*Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!*

*Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.*

Мужики выдвигали покруче фитиль семилинейной лампы, прислушивались, подхватывали:

*Мы привыкли брататься с победами
И опять мы проносим в бою,
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвёздную славу свою.*

*Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!*

Бабы по лавкам – рты нараспашку, заезжай с возом – зевали, крестили рты, сверкали спицами: кто над варежкой, кто над носочной пяткой. Нащупав самую высокую ноту, откидывали вязанье, подвывали и они, всё-то манило их рассиропиться, перейти на принятый у нас (куда больше, чем те-то марши!) песенный плач:

*Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу Родину –
Мы приходим её возвратить.*

*Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми-красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!*

Финны не остались в долгу, придумали в ответ на эту свою песню. Правда, Роман услышал её только в сорок втором от финна, волею судьбы оказавшегося в союзнической, немецкой, части, до мозолей отсидевшей себе зад в наших краях. Время от времени он брал в руки гармошку, подносил к губам и, чередуя с игрой, напевал:

*Iloisesti rallatellen lähti Iivana sotaan,
mutta joutuessaan Mannerheimin linjalle*

*muuttuikin nuotti paljon surullisemmaksi,
kuten seuraavasta kuulemme:*

*Finlandia, Finlandia,
sinne taas matkalla oli Iivana.
Kun Molotoffi lupasi juu kaikki harosii,
huomenna jo Helsingissä syödään marosii.
Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.*

*Finlandia, Finlandia,
Mannerheimin linja oli vastus ankara.
Kun Karjalasta alkoi hirmu tulitus,
loppui monen Iivanan puhepulitus.
Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.*

*Finlandia, Finlandia,
sitä pelkää voittamaton Puna-Armeija.
Ja Molotoffi sanoi että katsos torppas niin,
Tuhna aikoo käydä meitä kraivelista kii.
Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff.*

*Uralin taa, Uralin taa,
siellä onpi Molotoffin torpan maa.
Sinne pääsee Stalinit ja muutkin huijarit,
politrukit, komissaarit ja petroskoijarit.
Njet Molotoff, njet Molotoff,
valehtelit enemmän kuin itse Bobrikoff**

**С весёлой песней уходит на войну Иван,
но, упёршись в линию Маннергейма,
он начинает петь грустную песню,
как мы это сейчас услышим:*

Финляндия, Финляндия,
туда опять держит путь Иван.
Раз Молотов обещал, что всё будет хорошо,
и уже завтра в Хельсинки они будут есть мороженое.

Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врёшь даже больше, чем Бобриков!

Финляндия, Финляндия
линия Маннергейма – серьёзное препятствие.
И когда из Карелии начался страшный
артиллерийский огонь,
он заставил замолчать многих иванов.

Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врёшь даже больше, чем Бобриков!

Финляндии, Финляндии
страшится непобедимая Красная Армия.
Молотов уже говорил, чтобы присмотрели себе дачу,
а то чухонцы угрожают нас захватить.

Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врёшь даже больше, чем Бобриков!

Иди за Урал, иди за Урал,
там много места для молотовской дачи.
Туда отправим и сталиных, и их приспешников,
политруков, комиссаров и петрозаводских мошенников.

Нет, Молотов! Нет, Молотов!
Ты врёшь даже больше, чем Бобриков!

Да, песня эта до Романова слуха долетела уже в Отечественную, в сорок втором, а тогда, в Финскую, хоть и гремели по ра-

дио ободряющие советские марши, к ведению войны не только (не приведи Господь!) с великой германской машиной, но даже с её малым союзником – Финляндией мы, как показали сражения зимы тридцать девятого-сорокового, не были готовы совершенно.

– Куда ж они там, в верхах, смотрели-то, растудить их! Об чём мерекали, на какого рожна, стервецы, надеялись, ввергая армию в эту кампанию, – сетовал Роман. – Финская выявила серьёзные промашки, заметные любому рядовому с первого взгляда: командный состав – не подготовлен, снабжение – хуже не придумать, – кипятился мужик ещё крепче. – Кто ж при таковском раскладе да ещё в зимнюю пору кидается воевать? Ведь к концу декабря и дураку стало ясно, что «доблестное» наступление Красной Армии – тю-тю! Полетело коту под хвост, в тартарары.

Ну, это тремя неделями позже, а тогда, в начале декабря, седьмого числа, вот что было: силами 163-й стрелковой дивизии 9-й армии наши заняли посёлок Суомуссалми. И – поверить невозможно! – в этом же местечке втюхались в окружение. Отрезанные от снабжения, умудрились попасть в кольцо малочисленным финским войскам.

Вызволить погибающую дивизию была двинута 44-я стрелковая, та самая, в которой служил Роман Жихарев. Но, видать, Господь за что-то очень крепко рассерчал на русских. И эта дивизия, удерживаемая, как потом вспоминал Роман, всего двумя (!) ротами 27-го финского полка (человек триста пятьдесят – кот заплакал!), застряла на дороге Суомуссалми – Раате.

Дальше – хуже... Что случилось? А то и случилось – если 163-я, потеряв тридцать процентов личного состава, большую часть техники и тяжёлого вооружения, с горем пополам всё же прорвалась до своих, то дивизии, в которой бился Роман, 44-й, – что ты будешь делать? – повезло куда меньше, а вернее, вовсе не повезло.

– Финны – чёрт бы их побрал! Прямо белены объелись, – кричал Роман, – не будь дураки, завернули свои части на нашу

горемышную дивизию, придавили огнём, всех одним чохом – головы не поднять. Такая, братцы вы мои, наладилась свистопляска – земля с небом смешались!.. Ей Богу, не по себе стало! Хоть как крути, а восьмого января в сражении на раатской дороге нюхнули мы пороху, раздолбили нас – страм, кому сказать, на голову.

Бой захлебнулся, и до своих пробилось – всего ничего, самая малая толика... Такое дело... Полегла почти вся 44-я, негусто осталось... К тому ж часть бойцов, среди них и я, израненный, потерявший сознание, попала в плен.

По отдельной палате в финском лазарете (для военнопленных русских), где очутился обмороженный, долго не приходивший в сознание Роман, прошелестел слушок, мол, противнику в том бою досталась небывалая добыча. Жутко подумать: тридцать семь советских танков, двадцать бронемашин, триста пятьдесят пулемётов, девяносто семь орудий (включая семнадцать гаубиц), несколько тысяч винтовок, сто шестьдесят автомашин и все до одной радиостанции.

Им, ребятам обстрелянным, но отрезанным от своих, верилось и не верилось.

– Фуфло! Брешут как сивый мерин! Быть того не может, – петушился, чертыхаясь, вскидывался на дыбы Роман. Хотя.., ему ли, видевшему крах своими глазами, было сомневаться? Но цифры настолько обескураживали, что даже он в них не верил. – Это ж надо ещё измудриться! Страшно.., стыдно подумать! Пятидесятипятитысячной машине с триста пятидесятью пятью тысячами орудий, с сотней танков и пятидесятью бронемашинами, вроде, и дело-то – самое плёвое. Ан нетушки, не устояли всего-то против одиннадцати тысяч человек финнов с одиннадцатью орудиями!

Это потом уже, вернувшись из плена домой, узнал он и просочившиеся из армии вразумительные последствия той битвы для комсостава: командир и комиссар 163-й дивизии были отстранены от командования, один полковой командир расстрелян. Того хуже оказалась участь командиров его родной, 44-й

дивизии: комбриг Виноградов, полковой комиссар Пахоменко и начальник штаба Волков расстреляны перед строем своей сгинувшей дивизии.., перед горсткой бойцов, уцелевших в той раатской бойне.

– Как припомнится, братцы мои, так и застучит в ушах, задрожат руки, забегают промеж лопаток мурашки, – каждый раз, заводя разговор «о той зиме проклятущей», чернел лицом Роман. – Да-а уж.., нахлебались лаптем штец, сыты по самую глотку.

Видно, так уж было угодно Господу, побывав на грани жизни и смерти (ржаная копна волос его обратилась в замаять чистейшего снега), Роман уцелел и теперь его «тем светом не напугаешь»... Правда, на его мужицкую долю (выпадет же такая судьбина, видать, на роду написано!) свалилось немало злоключений – держи карман шире! – аукавшихся ему ещё долгие, долгие годы.

7.

Шёл четвёртый год как возвратился Роман с той проклятущей Финской. Наступи, укрепишь мирное время – глядишь, и отболели бы его под Аришиной лаской раны, перестали бы приходить к нему по ночам бросавшие в пот воспоминания.

Но оно, вишь ты, как повернулось! Не успел он очахнуть от финского плена, как вместе с родимой семьёй, со всеми односельчанами снова угораздило его во полон, теперь уже к германцу.

Даже кратковременная Финская принесла не счесть сколько гибели и увечья мужикам, немерено – слёз и вдовства их бабам и детишкам. Подумать только! Против тысячи ста пленённых финнов красноармейцев оказалось шесть тысяч сто человек. К тому же за какие-то считанные месяцы войны сорок тысяч пропало без вести.

– Господи! – сокрушалась – как не сокрушаться-то? – Романова душа, – а разве возможно будет подсчитать все беды и потери, принесённые фашистом за те нескончаемые, страшные годы, покуда он топтал своими коваными сапожищами нашу землю?.. Вот и Сергуньке, птушонку моему неоперённо-

му, – ком подкатывал у Романа к горлу, – выдалось хлебнуть! И подсобить не подсобишь...

Уж кто-кто, а Роман на собственной шкуре знал, что значит находиться день и ночь под прицелом. Это он, взрослый мужик!.. К тому ж не из хлюпиков... А тут – дитё малое!

По сей день не верится Роману, что уцелел, не сгинул он тогда в финских лагерях. И хотелось бы забыть – век бы не вспоминать – да не позволяет раздробленная в мелкое крошево нога. Вот и приходят к нему по ночам вместо снов события тех злосчастных месяцев.

Не раз, когда опускалась на землю темень, ночь напролёт шептал Роман полусонной жене своей, как очутился в финском плену.

– Холода стояли сама, Аринушка, помнишь – не приведи Господь! Снег – до рези в глазах – голубой, с мириадами обжигающих огоньков. А финнам – нипочём: зароятся и барахтаются в своих сугробах – не бай дужи. Партизанят. У них ведь тожить какая-никая смекалка имеется, не первый день в боях: попробуй столкнись в лобешник с Красной Армией – шапками закидает. Народишку финского – раз, два и обчёлся, а об армии – и говорить не приходится. Вот и исхитрялись они на всяки боки.

Особо досаждали финские лыжники. Сколько раз (и всё как стемнеет) приходилось отбиваться нашим войскам от этих небольших отрядов, вооружённых автоматами, знающих местность как свои пять пальцев. Налетят неведомо откель, набьют, настреляют и – нырь в буреломины, да и сугробов понадуло – только ховайся! – ищи их потом свищи.

Всяк хлебнувший финского снежку, побывавший не раз в заварушке, мне не заперечит, поддакнет: наибольшую опасность для нас в той, считай, партизанской войне, подсуропили снайперы-«кукушки». Они у финнов – прям-таки туз в рукаве! Засядут, ядрёна вошь, таковские птички со своими винтовками по обочинам дорог, в кружевающих от инея деревьях – не видны не слышны – и рубят наповал, косят, кого вздумается без разбору. Мы-то у них – как на ладони!

А пули у «кукушек» не простые – разрывные. Редко кто, ими подбитый, оставался в живых. Мало того, что рана оказывалась смертельной, так ещё и страсть какой мучительной: они ж, подлуги, разлетаются в теле человека на множество осколков.

Вот такая, будь она неладна, штуковина впиваясь, искрошила и мне в тюрю ногу... восьмого января там, на раатской дороге. А ведь раньше-то хорохорился, думал, вовсе от пуль заговорённый.

В тот день – что ты будешь делать!? – окружили финны со всех сторон, бьют – света белого не видать. Ну, наши, конечно, кинулись на прорыв, побежали, взрывая снег... Ребята несутся мимо меня. Прямо на огонь! Падают, сверзаются подкошенные один за другим, но всё одно бегут.

Очухался я от первой боли, пришёл в себя. Ох, неспроста правая нога огнём полыхает, штанина – в клочья! Маскхалат да уж и снег подо мной – кровавистый. Сыпанул пригоршнями его, колючего, прямо на горящую рану, нащупал кое-как винтовку – и на пузе, за ребятами, по коленкоровому полю, вдогонку. Пополз!.. Ну, думаю: Бог не выдаст – свинья не съест!... А снег сыплет, сыплет...

Куды ж деваться? Поползёшь, коли к ворогу в руки не захочешь... К тому ж – каждый на виду, в сугроб не зароешься. Не утаишься: добровольно сдался или бился до последнего. Попробуй потом докажи свою правоту особистам. Лагеря..., они и есть лагеря... Не на перине мамкиной валяться... И в наших, небось, не мёдом намазано... Слыхал я...

– Жалкай ты мо-ой! – хлюпала тихо где-то под мышкой, словно пела горячую песню, прижимаясь к нему ещё крепче заморенная и колхозными коровами, и своим хозяйством жена. – Никуды тебя боле не пушшу! – слышался шёпот её любимых губ.

– Спи, родная..., спи, – тыкался Роман в её, пахнущую липовым цветом, парными июньскими зорями золотистую замать, отыскивал, целовал её мокрые глаза...

И уже через пару минут продолжал исповедоваться (Арише ли, самому ли себе?), как, скрежеща зубами, преодолая адовы боли, крестил по матушке своих (несутся мимо, не до него!), как сворачивал кукиш, выставлял сквозь хлопьястый снег вперёд,

финнам на их «Русс! Стафайсь!» – «Погодите, ещё разуважим, начистим вам рыжие хари!» и клял на все боки «кукушек» – уж лучше бы навовсе прикончили! Орал так, что на пять вёрст с ёлок обсыпались шишки в бору...

Потом задвоилась., затроилась раатская дорога, всё перемешалось в его голове, поплыло, затуманилось. Тут же ёкнуло, обожгла его своей простотой нестерпимая мысль: «Кажись, не свидимся боле, любушка...».

И сбывись бы прощёптанные в горячечном бреду Романовы слова, и остался бы от него в тамошней, ненашенской стороне, в этой самой Финляндии меж вековых валунов только холмик, а может, и его бы не оказалось, да, видать, не последний человек он на свете, чтобы вот так, не за понюшку табаку испустить свой крайний вздох на чужбине, не повидав ещё, хоть одним глазком, свою разлюбезную супружницу, белесенького (в мать пошёл) сынка Сергуньку, не кинуть в подпечье (мышкам на сбережение) его первый выпавший молочный зубок., не окинуть с Почуй-горы деревушку свою Берёзовку, краше и дороже которой и в целом свете не сыскать.

...Бой задохся. Пальба прекратилась.

Но в довесок набирала силу, проворно засемила метелица. Ветер бил поперёк дороги – хоть стой, хоть падай. Морозище обжигал огнём – дух перехватывало. Роман, находясь на грани того и этого света, уткнулся лицом в занос, затих, словно ввалился в какую пропасть. И вдруг (даже не чуял, как подкрался) кто-то лупанул его по спине со всего маху палкой. Удар был настолько силён, что воскресил его из небытия. Роман застонал, приоткрыл опущённые инеем веки: будто наяву?.. Двое...

Постепенно сквозь вьюжную коловёрть прорезался слух, и он прошептал сам себе заплетающимся языком: «Балакают по-ненашенски!». В снова утасающем сознании промелькнула мысль: «Подхватиться бы, да ноги окаменели!». Стыд в самых заветных захоронках души себе признаться, не то чтобы кому рассказать: того не желая, совершил беспомощный мужик в ту минуту детский грех.

Попытался исхитриться, дотянуться заскорузлыми оклякшими руками до винтовки. Но, как говорится, выше головы не прыгнешь – один из финнов пригаркнул на Романа, видать, крепко выругался, отшвырнул носком обуви подальше от него оружие и, продолжая клясть русского на все боки, принялся со своим напарником пристраивать его небрежно, словно мешок с картошкой, на небольшие санки к уже лежащему на них солдату. Покуда возились, метель пошла на убыль. Двинулись по мелкоснежью, целиной.

Да.., многолько воды с тех пор утекло... Клубок воспоминаний раскручивался и раскручивался, как зимний ненастный день, снующий во поле швыдким веретеном.

Полуобмороженного, с раздробленной «наушшал» ногой, почти без сознания к утру после боя подобрали его финские санитары. Доставили в лазарет. Кое-как привели в чувство. Обшарили, раскрыв солдатский медальон – ладанку из двух металлических пластин, – прояснили прописанное на крохотном листке: как бойца зовут, с какого он года, к какой приписан части. Разместили в палатке среди таких же бедолаг.

По правде, как не благодарить ему финского хирурга? «Китош!». Как ни суди – жизнью Роман ему обязан, ни больше ни меньше (как пить дать, не избежать бы ему гангрены!), а не только тем, что ногу не оттыпал. Навек запомнил его имя Роман. Как позабыть-то? Юхо Ярвинен.

Собрал военврач ему из мелких осколочков ногу. Ох, и лишенько было! Два санитар держали, не справлялись. Хорошо, что доктор не знал русского, а может, притворялся, что не понимает, как обезумевший от боли Роман поминал его достопочтенную матушку, мол, что ж ты, каналья, творишь-то! Были б силы – дербалызнул бы я тебя, коновал ты этакий!

Наверно, матушке Ярвинен из какого-нибудь Хаапаярви, покуда сын её колдовал над несчастным русским военнопленным, до смерти икалось.

Склеить-то ногу доктор наудачу склеил, а она возьми да как попало срастись, шиворот-навыворот. Куда ж деваться? На-

стырный врач переломал несчастную ногу заново (по сию пору дивится Роман: с чего бы такая забота?). И так не один раз, пока не добился своего – Роман пошёл через «не могу» на своих двоих. Правда, до конца жизни остался он хромым, нога укоротилась аж на пять сантиметров. Как не захромать?

Сколько годочков минуло, а вот не приходит забытьё, всё до малой малости помнится. Нет-нет да снова пригрезится.

...Провалился Роман в финском лазарете до середины марта. Домой, конечно, не помышляй – ни полвесточки, ни самого малого письмаца-писульки. (По правде сказать, когда прошли все сроки, деревня принялась Романа уж и оплакивать... Но не Ариша!)

Эти два с лишним месяца – ещё цветочки, всяко полегче по сравнению с месяцем пребывания в лагере, в котором очутился он, лишь только более-менее встал на ноги.

Лагерь как лагерь, такой же, как и остальные три, в которые были согнаны русские военнопленные, – бывший скотный двор, обнесённый колючкой. По углам – вышки, на них день и ночь – охранники. Скотный двор... И содержали пленных, словно скотину: спали на соломе, по нужде сходить некуда. Вода – не дреми, на вес золота, а потому – не до бани. Грязь и вши. Баланда да протухшая конина. Побои и смертность.

Неизвестно, выдюжил бы Роман со своей никудышной ногой все те беды, что обрушились на него в лагере (уж совсем было духом смутился, за что совестил себя несчётно раз), но он попал в первый обмен военнопленными. К вящей его радости, как ни странно, просто-напросто подвезло.

Как потом прочитал он в газетах, «...с четырнадцатого по двадцать восьмое апреля 1940 года в Выборге прошло шесть заседаний смешанной комиссии по обмену военнопленными между СССР и Финляндией. Советскую делегацию представлял комбриг Евстигнеев, капитан Сопруненко и представитель НКВД Тункин. Финскую – советник миссии Койстинен, подполковник Тийайнен, капитан Вийтанен».

...Снег в ту пору только-только начал сходить с крыш, ветер

принялся высасывать сугробы, но сосульки, осиянные яростным внешним светом, уже гомонили наперебой, переспрашивали его, исхудавшего и почерневшего солдата: «Ты ли? Ты ли?».

Семнадцатого апреля, в пору молодой весны на границе в районе станции Вайниккала Роман с первой партией пленных был передан русской стороне... Отбыл, значит, испустив, наконец-таки, вздох великого облегчения, домой по чистой.

Хоть и поторапливался что есть мочи, но объявился в Берёзовке в свою старую, истлевшую по углам, состроенную ещё батькой избу, в свою немудрящую крестьянскую жизнь лишь под лопотню первой листвы, когда пчёлы – по крылышки в вербной пыльце – уже гудя гудели в берёзовских палисадах. От сердца будто стопудовый камень отвалился.

Если бы не тяжелейшее ранение и беспамятство при пленении, кто его знает, чем бы аукнулась Роману Финская. Хоть свет и не без добрых людей, разве можно было в те годы за что-нибудь ручаться, выложить перед кем-нибудь горькое откровение, пролить горячую слезу, душевную мольбу? Боже упаси! Сколько его сотоварищей по несчастью прямой наводкой из финских лагерей попали в советские!

8.

Не спалось... Не спалось нынче и Митрошке. Заснёшь тут! Как же! Попытался было залить первачом разговор с Романом – не тут-то было! Башка трещала, а не брал, зараза, трезв как стёклышко. Разворошил ему душу речами своими колючими бывший дружок, точно раскидал новолетний стог ветродуй февральский, растеребил по соломинке – не стрести, не собрать.

– Сколько раз-то думалось: вот оно! ещё малешки – и схвачу её, птицу счастья, за хвост, – перебирал в памяти, листал судьбу свою, словно настенный календарь, день за днём Митроха, сколько случаев подворачивалось, но – дудки!.. А ему?.. Это ж надо, как везёт мужику! Ариша – его! На Финской – не сгиб! Думал, уж там, на рельсах под Степановкой лежать ему – не шелохнуться вовеки вечные. А он – поди ж ты! Сызнова стеной непробиваемой поперёк моей дороги. Э-эх! Надо было всё ж

таки стрелкнуть тогда контуженного Ромку, пока не расчихался... Рука не налегла! Обнадеялся: сам канет...

Живучий, сволочь! Видать, и правда Аришиной любовью заговорённый. За ней он, как за каменной стеной. Угораздило же! Лучше б он в другую часть попал. Не мучился бы я, что упустил шанс..., ведь всех тогда накрыло..., никто бы и не знал... и взятки гладки.

Ну, дак – война!.. Она, анафема, сама выбирает, кого, с кем и где пересечь, кого побратать, а кого сделать ненавистными врагами. Замешивает жисть – крутей не бывает. И сколько ещё её пойло хлебать – никому не ведомо... Господи! Бедная ты, несчастная Аринушка, как же ты сдужишь всю эту коловерть? А поначалу-то надеялись: ну, месяц..., ну, два... Боже ж ты мой! Сколько с тех пор пронеслось-пролетело? Куда подевались те первые непоколебимые надежды?

...В то роковое воскресное июньское утро соседский пацан Петюня сманил Митроху на карася на старые торфяники. Хотя и время горячее, страдное, пришёл июнь – на рыбалку плюнь, сенокос в самом разгаре, баловать в бирюльки некогда, но второй день как зарядил вялый дождичек – ни косить, ни копнить, ни скирдовать. И Митроха – так уж и быть – с вечера напарил гороху, накопал за амбаром червей, одним словом, сготовился. Только б распогодилось, а то карасёк – рыба квёлая, ей тепло да солнышко подавай.

– Ладно уж, – заранее, на случай неудачи, успокаивал себя мужик, – не возьму крупняка, так хоть молодки на Васкину утробу притащу. Уж чего-чего, а карпят, к примеру, сейчас должно быть невпоровот.

– Хы! Не тушуйся, дядька Митрофан, попомни моё слово: карасей снизок десять, не мене приволокём – вчера с выгону с гусьми проходил, пригляделся: по тростникам лягушки наикрили, отнерестились. Значит, будут нам караси, ей-богу, будут!

Раньше-то с Ромкой, по малолетству, когда времени было по самую макушку, коли мамки за-ради какого дела не загоняли на двор, сутками пропадали они на ближних речушках и прудках.

Июнь хорош для ловли жереха и голавля. Таскали, конечно, и плотицу – куда ж без неё? – и лещиков-пескариков. Неслабо на донку брал карась да и на простую удочку шёл за милую душу.

Митрошка любил рыбачить поверху, тут обреталась уклейка, гулял голавль, грелась на тёплышке чехонь. Роман же забирался на глубину. Притаится и ждёт – в тихой воде на червя шла густера. К тому же где-нибудь с пятнадцатого-двадцатого июня в глубоких местах с глинистыми обрывистыми берегами начинался клёв сазана.

– Да-а... Сколько былей-небылиц у ночных костров сказано, сколько пескарей на краснотальнике пережарено, – тосковала, перебирая прошлое, Митрошкина душа. – Рази ж думано-гадано, что задурочится жисть, откинет с нами этакий фортель? А бывало-то: куда он – туда и я, куда я – туда и он...

В то последнее мирное утро над застывшей синью реки шёл туман, свежий, как огуречный сок. Ушёл с неба месяц, заспано ошмыгнувшись на заходе, растушевывался, размывался в мутное пятно и бросал белесые крахмалистые тени. Потухли в небе Божьи свечи.

Со старых осокорей в смолкшие, разомлевшие травы падали, срываясь, хрущи, в таволгах полусонно облётывались стрекозы. Ветерок забавлялся, пошуркивал пуховитой камышиной порослью, затейливым кружевом сучил пену с губ прибрежных волн.

Рыбалка и правда задалась. Утренняя нега уютно пахла клёвом и парным молоком. Деревя лопотливой гурьбой обступили костерок. Подбрасывая в огонь валежник, варили уху, пекли на прутьях надранные Петюней в Сидорихином саду полузрелые пипинки.

Часу в шестом уже всю осветлилось. Подкултыхал, сгорбившись и подпираясь батажкой, к их костерку не понять откуда Афонька-полоумный. Безобидный «двохлый» мужичонка, душа – на просвет. Отродясь не помнили, чтобы у него был угол – ни двора, как говорится, не имел, ни плетня, ходил по миру, собирал куски хлеба, подачками и кормился. Но, как ка-

залось, дедушка этим был блаженно счастлив, точно поджидал какого-то известного ему срока.

Годкам к семидесяти подвигалось уже ему по ту пору, кашель грудь задавил, а всё, упираясь палкой, бродяжил Афонька от села до села, от паперти к паперти. Никто его пальцем не трогал, подавали, что Бог послал, а за это слушали его чудные речи. Кто верил, а по большинству – крутили у виска пальцем, но никто даже и помыслить не мог обидеть полоумного Афоню.

Вышел, приплёлся, значит, старик из лозняков со стороны Просяного хутора, на плече – палочка с ситцевым узелком. Смущённо подсел поближе к огоньку на подваленный осокорь, видать, продрог, пробираясь сквозь высоченные донники Устиньина луга. Побитая шашалом телогрейка, из-под картуза кло-чьями седые с желтиной волосы.

Перекрестился на восток. Пошарив в своей суме, дедушко нашёл-таки деревянную обмызганную ложку, почамкав губами, угостился сомлевшей ушей. Чего ж не угоститься несколько рюмочкой? Залпом осушил цельную кружку ключевой водицы. К яблокам, правда, тоже наотрез не притронулся, мол, срок не вышел, до Спасу – ни-ни!

Петюнька, охочий до всяких-разных баек-сказок, заёрзал. Растянулся на траве, придвинулся к Афоне поближе, затеребил, настропалился слушать, что новенького поведаст старичок на этот раз: может, сказку какую стародавнюю, а может, что Божеское, из жития Преподобных. Летось, к примеру, на порожах сельпо про Алексея Божьего человека баял.

Митроха-то тогда и значения Афониним рассказам не предавал. Это теперь, спустя время, протянул он ясную ниточку между услышанным им у рыбацкого июньского костерка срок первого и событиями, что не заставили себя ждать, случившимися следом, в самое ближайшее время.

Поинтересовавшись, а вернее, уточнив, какое нынче число, отперхался, прикрыл дедка веки и то ли наяву, то ли в старческом бреде повёл свой диковинный рассказ, да не просто так, а с присказкой:

– Не сизый орёл, не ясный сокол подымается.., не лебедь белая выплывает.., не белы снеги во чистом поле забелелися.., не черны леса дремучие чернеются. Это пыль во поле ярится, подымается! Это гроза бурдовая да несусветная на закатном солнышке да собирается!

Хотите – верьте, детушки вы мои, хотите – нет. А только раз, – сыплет свои речи дедушко, – давным-давно то было, даже я запамятовал, когда.., однажды в этот день... в стародавние времена-то, кто не знал, что зовётся он День Скипера Змея, а то – Змеиный день, так вот, значит.., в этот самый день, двадцать второго июня, Навий Змей Скипер пришёл на славянские земли. А как налетел, так похитил младенца и заточил его в тёмный-претёмный погреб. К тому ж – позарился анчибел, выкрал и унёс в свои владения его сестёр: Живу, Лелю и Марену...

Петюня, не спуская с него восхищённых глаз, аж рот разинул, ждёт, что же дальше-то поведает дедушко. А тот пошевелил палочкой угасающие уголья и пошёл баять дальше.

– Кинулись на подмогу несчастным Велес, Хорс и Стрибог и сразили в нелёгкой схватке треклятого Скипера. Однако с тех незапамятных времён день этот слывёт наипаснейшим, кровопролитным, злым и несущим людскому роду беды и страдания. Наши предки веровали, что в этот день начинаются настоящие змеиные свадьбы, и горе тому, кто станет на пути у ползущих к месту своего обряда змей. Люди надевали самые сильные обереги от Навьих Сил и старались переждать вместе с семьёй и скотиной всплеск дикого буйства в безопасном месте.

– Эх! Дедка! Дедка! – тяжело вздохнул, вспомнив Афонин сказ, рассуждал сам с собой Митроха. – Где сыскать столько оберегов? Вишь, вся земь полыхом полыхает. Не спрячешься от такой лихой беды, не скроешься как не исхитришься...

А к полудню, только-только подобрали они снасти, поделили по-честному карасей, только засобирались до дому, глядь, мчит кто-то к ним в тальники с горы – да как швыдко – катуш-ком, катушком!

– Постой, постой! Это ж наша Маруська! – издали признал Митрошка по васильковому платью свою младшую сестрёнку, – ай чегой-то неладное дома?

Бежит девчонка, косынкой над головой машет, спотыкается, подымается и опять – опрометью. А как уж недалеко стало, смогли разобрать рыбаки: криком кричит, рыдает девчонка на весь белый свет.

– Война, братушка! С германцем война-а-а! Что ж теперь будет, Митроша?! – задохнувшись, только и сумела она удручённо вымолвить белыми как мел губами, кинулась брату на шею.

– Что-ты мелешь, дурёха?! – заговорил срывающимся голосом Митрошка. Ну не укладывалось у него в голове, – какая тебе война? У нас уговор!

– Горе гусыне, что лисе верит! – сказала, как отрезала, девчонка. – Додоверялись! – и тут же голос дал трещину. – Часов в двенадцать по радио Молотов выступал. В Бресте наши уже во всю бьются! Нахрапом ирод лезет! А ты – договор, договор!.. Бабы голоса... Мужики матюганются...

– Что ж ты до обеда тянула-то? – Митроха, побросав и рыбу, и снасти на Петюню, сминая лозняки, уже нёсся напрямки к Берёзовке.

– Дак к конторе на сход бегала, – всхлипывая, еле поспевая за ним, на бегу утирала косынкой глаза Маруся, – все, кто мог и кто не мог собрались.

– Да не мямли ты! Сказывай всю правду-матушку, чего порешили-то?

– Как что? Как что?! Ах ты, горе моё луковое! Да не беги ты так, идол! – запыхавшись кричала она брату вдогонку. – Разошлись уж по хатам... котомки мужикам собирать. Так и сговорились: навалиться всем гуртом, размахать его, подлюгу, разом! Мужики валом валили записываться. Ромка-то, дружок твой бывалошний, чуть ли не первым.

– Да кто ж его возьмёт, калеку-то? Его дело теперь последнее – за Аришкину юбку держаться! – съязвил, не стерпел Митрошка (даже тут Роман его опередил!), а про себя наметил так: не смогли по-мирному, война нас рассудит: уйду на фронт,

жив останусь – в Берёзовку ни за какие коврижки не ворочусь. Сколько ж можно над собой измываться-то?

Заскакали мысли, перепутлякались и кинулись врассыпную, словно стадо прихваченных на бакше гусей.

– Пора поузнать, одуматься, – не раз втолковывал он себе, ловясь на мысли, что по-прежнему изнывает от жгучей любви, – ну не люб я ей, вишь, как оконфузила!.. Насильно-то мил не будешь... Вот и мать корит, плешь проточила, затвердила как попугай, мол, семь раз дурак – рази ж ты у меня какой хворый, чтоб опосля себя поросли не оставить? Куды ж это годится – мужику под тридцатник, а он всё холостует?

А и то, надо правду сказать! Когда так, – подбадривал он себя, давал зарок, – вот выкурим германца – и зашлю к какой-нибудь нашенской девке сватов. (Ай на Аришке этой свет клином сошёлся?.. С лица, как говорится, воды не пить, лишь бы характер – шёлк шёлком). Да хотя бы во двор Миколы Смирнова. У него этакого добра, девок-то, эко сколища! – разлюли малина – под дюжину. А три старшие – в самом соку, хоть сейчас под венец, – говорил, говорил Митроха и сам не верил тому, что говорил.

Ведь в каждой встречной девке, в каждой молодке видел он только одну. У всех у них было одно-единственное лицо – Аришино. Таких раз-два и обчёлся... Так-то бывает... Присушила, ой, присуши-ила Митрошку Арина, сама того не желая, искромсав его душу, словно какой гриб подберёзовик, на тонюсенькие ломтики! Разве что с сердцем её, растакую, вырвать!? Не было в его душе радости, а теперь и вовсе – лёг на ней тугой узел.

Как не повезёт – так не повезёт!

– Тьфу ты! Помереть и то без него не помрёшь! – не на шутку обозлился, засерчал чокнутый на ревности Митроха, когда в середине июля нежданно-негаданно столкнулся он с Романом.

Да ещё в какой момент! Их эшелон прибыл к месту назначения, к крайней точке, к злосчастной станции Степановке. Перегружались в полуторки, до фронта – рукой подать.

Как провожали их, через три дня после начала войны, он

даже козырял перед Романом: как-никак идёт рубиться с врагом, а Романа, хоть и орал он до хрипоты, хоть и стучал в военкомате кулаком по столу, завернули: «Понадобисься – призовём!», а покуль, чтоб не обивал зазря пороги, вот тебе рукомесо – и приставили командовать подводами, забитыми отправлявшимися на фронт берёзовскими мужиками.

Спозаранку тогда потянулись односельчане семьями к правлению: «Здрасте, здрасте!». Заполонили наваленные по соседству с ним штабеля золотистых, густо пропахших смолами брёвен недорубленной жихаревской хаты. Романовы братья повозрастали, уж и заженились. И он порешил отойти от родительского двора – собрался поставить новую избу, на бересте, чтоб век стояла и сносу ей не было, бок о бок со старушкой-матерью и братьями. Узнав об этом, и председатель Кузьма Алексеич не заупирался, поддержал Романа (как-никак с войны мужик возвратился), выделил на хату лесу. А зла на Романа – дело-то пройденное – за тот растреклятый мешок с посевной рожью он давно уж не держал. Рассчитался мужик за него сполна. Шутка ли кому сказать – пять годочков на Северах отгладил!

Подраставший на глазах сруб, ещё вчера звонко и радостно перетатакивавшийся топорами, вдруг онемел, казалось, задохнулся от неожиданного горя, от порушенной судьбы и пригнулся в три погибели от предчувствия неминуемого лиха.

На крыльцо правления притащили из клуба грузную фанерную трибуну. Народ обступил её, и седой как лунь председатель Кузьма Алексеич, казалось, постаревший за эти три дня ещё на десяток лет, не стал долго воду в ступе толочь.

– Товарищи! – смерив собравшихся от края и до края горящими глазами, обратился он к землякам. – Родина в опасности, она зовёт нас на битву с врагом! Мы не можем ждать, сложа руки, когда фашистская нечисть придёт врасплох в наш дом, примется разорять нашу страну, уничтожать наших детей. Сегодня мы провожаем первых односельчан на помощь нашей Красной Армии. Понадобится – станем грудью все, как один, и будем биться за её свободу до последнего вздоха. Знаю, нелегко,

конечно, придётся и тем, кто останется ковать нашу победу в тылу. Но у меня ни на минуточку не возникает сомнения, что сообща мы обязательно победим! Враг будет разбит! Победа будет за нами!

– Он ещё, вражина, – чертанув по матушке, выкрикнули из толпы, – не знает, с кем связался: как ни пыжится – пропишем ему ижицу, всыпим на орехи!

– Полчаса на проводы! – скомандовал председатель, и толпа разом загудела: запричитали, рванувшись к своим мужикам, бабы. Повисли на шеях, заголосили, прижались к батькам ребятишки. Им наперебой в чьих-то пьяных руках сразу в нескольких местах дико взвизгнули гармони, завывоблучивали. Просыпались сквозь слёзы на ходу придуманные частушки и страдания:

*Это лето, в сорок первом,
Никогда не позабыть.
Привалило к сердцу камень –
Ни за что не отвалить!*

*Мы с милёночком пойдём
Воевать на парочку.
Он пойдёт за командира,
Я – за санитарочку!*

Пели, пили, сквозь прихлынувший к голове хмель ревели белугами так, что сердце переставало биться. Умоляя беречь себя как зеницу ока, целовались. Совали в дорогу узелки с бутылками сизого свекольного самогона, пуками перистого семейного лука, новолетними малосольными огурцами, краяхами домашнего хлеба, с крутыми, утомлёнными в печках до коричневого окрасу яйцами, со шмотками чесночного сала...

Наконец, подложив в грядки свежего сенца, столпились, благословили новобранцев, проводили всем селом далеко-онько, до самых расстаней. И смолкли, словно надорвали груди... Не ведали беды, а она, злодейка, кралась по пятам. Придётся ли свидеться?..

Роман, с тоскующими глазами сидя на передней подводе, дёрнул вожжами, прикрикнул на Гнедка, и покатили мужики невыкошенной равниной на войну.., стараясь протолкнуть удалой пьяной песней подступивший к горлу ком и страшившие не на шутку предчувствия, не смея оглянуться посоловельми глазами на пластавшихся им во след в придорожной пыли баб и матерей, на прошлую свою жизнь со всею её горечью и сладостью... Видно, ещё душой от дома не оторвались.., многие отбыли напрямик в рай... И погасли их несбывшиеся планы, мечты, надежды...

Так и ушёл Митроха на фронт, не ведая, что ни много ни мало – ровно через два дня рванул ему вослед и Роман. Как какой-нибудь пацан дёрнул их догонять. Долго уламывал всяких-разных командиров, начальников станций, эшелонов. Никому до него и дела не было. Но как-то смухлевав, попал он, в конце концов, сам не ведая того (судьба-а!), в часть, к которой был приписан Митрошка. Сжалился над ним командовавший эшелоном майор – мягкая душа, мол, ладно уж, так и быть: может, при кухне пристрою, мужик, вроде, бывалый, с житейской мудростью, как-никак, успел понюхать порошу на Финской, сгодится.

Время суровое, почёсываться некогда (немец подкатил под Киев, уткнулся в Днепр), летели не куда-нибудь – на фронт, на станциях почти не выбирались проветриться, не задерживались, видно, потому и не пришлось мужикам в пути пересечься.

Три раза попадали под бомбёжку и ничего, Бог миловал. И ведь уже добрались!.. От Степановки до наших окопов – вёрст десять, не боле. Фашист наглед, наваливался всей армадой, фронт откатывался в глубь страны. Немецкие лётчики, опережая регулярные войска Вермахта, залетали порой неожиданно далеко за линию фронта.

Вот и в тот чёрный день. Уже поступила команда грузиться по машинам, уже первые из них отъехали на позиции, как налетели бомбардировщики. Сколько – трудно теперь сказать. Ни Митрохе, ни Роману было не до счёта – унести бы со станции ноги. Гитлеровцы, видно, задумали стереть её вовсе с лица

земли: с обезумевшего неба, словно из разодранного холщового мешка, просыпались... сначала показалось мелкие чёрные бобы, а на самом-то деле чем ближе, тем ясней, ясней, – бомбы ухнули огромными кукурузными початками, переросшими гигантскими бураками.

Дыбились рельсы. Вагоны, словно дикие звери, набрасывались один на другой. Так и закрутилось всё колесом! Грохот, вой, скрежет раздираемого на части металла, гулкое уханье оседавших станционных зданий; ничем-ничего не видно.

Налёт длился минут двадцать, не больше, а Митрохе показалось: несколько часов – ужасный крик, дым коромыслом! – и конца и краю этой страсти не виделось. Казалось, само небо расколослось, и из его высоченных глубин выскальзывали огнедышащие, смертоносные жала.

Мысли тюкали кувырком! Проныривая под нагромождением кирпича и металла, он выбрался, наконец-таки, в пристанционную посадку, оттуда перебежками, перебежками – куда подальше. Еле переведя дух, оглянулся мельком: справа, слева, повсюду бегут от горящих вагонов, от развалин станции не успевшие вступить даже в первое сражение бойцы.

А немцу, видно, мало крови, зачуяв её, словно стервятники, напоследок налетели мессеры и, чуть ли не цепляясь крылами за макушки реденьких деревьев, принялись на бреющем полёте выкашивать из пулемётов спасающихся. И не было числа потерям в тот страшный день.

Вот один, скорчившись, упал шагах в пяти ничком, а прямо перед Митрохой рухнул навзничь в ямину, вывороченную корнями скошенного тополя, земляк его из соседней Борисовки – Фанас Долинин. Весёлого нраву, припомнилось Митрохе, был мужик – на ливенке такую «Камаринскую» с загогулиной выжаривал, замузыкивал...

Затащил его, огромного и нескладного, Митроха в канаву – да где-там! Кровь перед смерточкой – горлом, гимнастёрка – решето решетом. Задрыгал ногами – и душа его отлетела. Волосы у Митрохи на коже встали торчком. Закрыв он застеклевшие, померкшие глаза Фанаса и, уже не вылезая из кустов,

пополз, приклоняясь к земле, на восток.

Не прошло и четверти часа, как натолкнулся он на Романа (даже заробел поначалу). Тот, обхватив руками голову, угловато опустившись наземь, привалился к стволу берёзки и мычал, раскачиваясь из стороны в сторону. Алым оследил вокруг себя всю траву. Из ушей стекали струйки крови, перепачканные ею руки тряслись в лихорадке. Роман повёл очумелыми глазами сквозь Митроху, в сторону станции и потерял сознание.

Как всё-таки удержался, переломил себя Митроха и сам не знает. А ведь сквознула, если по чистой совести, затрепетала тогда мыслишка: шлёпнуть – и концы в воду, никто не видит, а значит, и не узнает. Война всё спишет. Уж и винтовку на соперника навёл.., но вдруг застрашился собственной мысли, видать, опять встрела Аришина любовь, не позволила, чтобы брат омыл руки кровью брата своего, пусть даже из-за немереной любви к женщине.

– А! Чёрт с ним! Так и так скопытится! Всё одно не жилец – уж и губы синие! – гладила его мысль. – Ещё подсоблять, пулю на него тратить, – отпихивал от себя эту задумку, оправдывался перед собой Митроха. Ну не налегла у него на Романа рука.., хоть самого убей!

Роман глухо застонал, может, почуял нутром, что кто-то пристально его разглядывает. Он посилился шевельнуться. Но прежде чем, превозмогая дикую боль в голове, одолел преподнять над слезящимися глазами ресницы, Митроха, прихватив его винтовку, ломанул от греха подальше косматыми кустами скорым бёгом – хоть коренником запрягай. И скок-скок – камнем в воду.

Так и не знал до конца своих дней Роман, что был там, в леске под Степановкой, корешок его детских годков на волоске от смертоубийства и радовался его угасавшей жизни. Роман-то не ведал.., зато сколько самогону пришлось выхлебать Митрохе, чтобы заглушить, стереть из косолапой своей памяти ту недобрую минуточку: окровавленный, беспомощный, воющий от контузии безоружный Роман – и он, с наставленной на друга винтовкой.

9.

Гитлеровцам долго не удавалось форсировать Днепр и всё же после обходных манёвров, двадцать первого сентября, они взяли Киев. И поплёрли.., и покатали топтать своими яловыми сапожищами, гусеницами «пантер», «фердинандов» и «тигров» хлебные украинские степи, белгородские меловые взгорья, курские перелески.

Враг рвался к сердцу страны Советов. Тридцатого сентября разразилась операция «Тайфун» – наступление немецких войск на Москву. В первый же её день 2-я танковая группа генерал-oberста Хейнца Гудериана прорвала левый фланг Брянского фронта и вошла в тыл 13-й Красной Армии. Второго октября оборону нашей 50-й армии в районе Брянска прорвали части 2-й немецкой полевой армии. Наступление развивалось стремительно. И третьего октября немцы вошли в Орёл.

А в деревушке Берёзовке они были и того раньше – уже второго числа, на Савватия. Но к этому сроку на военных просёлках затерялся след Аришиного любушки – ни слуху от него, ни духу. Где он, как... не годный уже ни к строевой, ни на хоть какую подмогу.

– Может, лежит незнамо на чьём поле, – то ходила из угла в угол, то сидела, пригорюнившись, Ариша. Страдала, томновала в безвестии бабья душечка, – канул, как тысяча других погибших, без вести пропавших – ни креста, ни какого самого малого холмика.

Аринушка чуяла, как уползает из-под ног почва, всё горит и криком кричит в её измаянной душе. Сделалось неведомо тяжело. Чтобы забыться, доставала с божницы спички, затепляла у образов свечку, упав перед угодниками на колени, принималась молиться. Перебирала губами, уповая на Всевышнего, надеясь на его праведное заступничество, прищёптывала, глядя неотрывно в самую бездонность его всепонимающих очей, с покорностью просила:

«Христе Боже наш! Мати Дево! Погубите Крестом Вашим борящая нас, да уразумеют, како может православных вера,

молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче».

Молитвенные мысли мешались с думками о родном.

Как отступали наши-то, следом – Матерь Божия! – так тарарахало! Цельную неделю шли они, шли, молча скрозь деревню, усталые и понурые; она в каждом силилась распознать своего Ромушку. Они, измотанные, тянулись неровным строем, а Аринушка, опершись на калитку, стояла., стояла, заглядывала в их усталые, закопчённые дымом и пороховой гарью лица.

Подоив корову, выносила кубаны с парным. Наварила прямо в очистках двухведерный чугунок картох и совала, совала их, ещё тёплыми, в руки солдатакам (надеялась: может, кто и над мужем её сжалится, протянет ломоть ржаного... да хоть какую штрифелину-антоновку).

– Что, драпаете? А на кого ж нас бросаете? – слышала она, как не сдержалась соседка её Олимпиада, накинулась на молодого лейтенантика.

Рука – на перевязи, статью такой, что мог бы гнуть дуги да за чапыгу с утра до вечерней зари держаться. Не отворачивая глаз, он посмотрел на молодку в упор и – твёрдым голосом в ответ: мол, прости, милая, придёт срок, обязательно вернёмся, навалием фрицу по полной!

– Как жа! Бахваляйся! Рассчитаетесь! Дождёсси от вас, как от липы яблоков! Нас-то под немца кидаете? – потянула носом, завыла, запричитала Олимпиада, получившая на своего мужа через неделю после начала войны похоронку, а чуть погодя – письмо от однополчанина, с которым успел подружиться её Василий: «...Сообщаю, что ваш муж, красноармеец Василий Маркович Котов...».

– А ты поплачь, поплачь всамдели, соседушка., только на них, горемышных, сичас не серчай, болью своей не плещи, – Ариша обняла двадцатилетнюю вдову (бабочка-то она неплохая). – Им итак, вишь, как досталось... Ничего, ничего, девонька, поверь ты мне на слово: возвратнутся., вот тебе Бог! – возвратнутся., куды ж им от хат своих, от детворы?.. А может, и твой Василий ещё сыщется! Храни его Господь и Пресвет-

лая! – обнадёжила она примолкшую, поникшую к ней на грудь в чёрном, приспущенном по самые брови ситцевом платке Олимпиаду. – Мало ли без вести пропавших... Эвон сколько их ноне, таких-то!

Наши оставили Берёзовку, и затаилась нестерпимая, перевешая все жданки октябрьская ночь с первого на второе. Деревня обмерла. Ни собачьего гама, ни петушьего куреку. Глаз коли – густая октябрьская ночь.

Берёзовка – селище-то старое-престарое. Видать, мужики в те незапамятные времена, когда выбирали в лесной дреми и глуши место для его закладки, были не дураки, не обмишурились. Речушка по прозванию Березуйка – другого имени ей и дать не могли – нравная, а около самой деревушки и вовсе откидывает такой фортель, что диву даёшься: отекает горушку, на которой тесно жались друг к дружке два ряда хат, почитай, с трёх сторон. Попробуй, враг, подступись! Крепость да и только.

В пойме Березуйки, где вода тихо обнимала берег, испокон веку водилось травичи – хоть в тыщу рук коси. В лето сорок первого (ещё успели, самую лакомую сшибли) наставили мужики по приречью, вокруг деревни копён – неслитано. К тому ж – с северной стороны, в Козюлькину лощину, в конце сентября на торфяные ямы свозили бабы, уже без мужицкой подмоги, конопляные снопы. Надеялись, что до Покрова успеют замочить их в колдобинах.

С вечера первого числа стожки да конопляные крестцы стояли себе на своём месте. Никто о них в эти дни и не вспомнил. До них ли?..

Утром чуть свет второго октября ни с того ни с сего заволокло, окутало Берёзовку дымом. Олимпиадин отец, дед Фатей, не стерпел: хоть и малость прихворнул, залез-таки на крышу амбара, прикорнувшего к жихаревскому плетню, попытался, прислушиваясь, как шумит ветер, откуда тянет палёным – и даже до середины деревни долетает треск кострики.

– Ну, вот и дождался! Знать, конец света Господь на нынче

определил. Видано ли? Березуйка шомонит, полымем полыхает! – высмотрев в распахнутые ворота сарая, старик прямо с верхотурья «по-соседски», с нескрываемой панихидной грустью доложил управлявшейся с коровой Арише. Даже со своей, стратегически важной позиции подслеповатый дед не разобрал, что к чему, но в нём, на всякий случай, проснулось решение.

– Девки! Лимпиада, Аришка! – вдруг скорым порядком, словно какая муха ужалила, сполз по шершавому стволу «дульки», затеял переклик. Прихватив из запечья топор, шнырко зашаркал по подворью, вынул из чулана старую берданку, засыпал пороху. – Полезайте, ховайтесь в подвал! Да хлебов, хлебов впопыхах не позабудьте!

Фатей, хоть и росточком далеко не ушёл, но кулак – с добрую кувалду, не было в хозяйстве такой работы, чтобы ему не с руки: хоть треснувший черенок лопатки заменить, хоть расстерянные в сене зубья граблям приладить.

Мужик бывалый, приходилось и ему – «куды ж дениться?» – вшей травить и в Первую германскую, и в Гражданскую. А потому погреб у него не из простецких, не погреб, а убежище! «Видать, талан во мне по постройкам погребов открылся», – хихикал дед на все удивления односельчан.

Сколько накатов брёвен (к тому ж пересыпанных, утрамбованных землёй) – дед и сам со счёту сбился, и вход прихитренный – козюлькой. Подвалу этому уж, почитай, десятка полтора годков. Кусты щипульника да дикого боярышника так разрослись меж раковых коряг, что захочешь пробраться – чёрта с два с ними сладишь. Свои-то, конечно, знали все ходы и подступы к Фатееву подвалу. Ну, а чужакам в нём и делать нечего.

На самом же деле вот что приключилось в тот рассветный час (ещё бабы и кур не выпускали) в пойме Березуйки. Первые немецкие мотоциклисты, не встречая никаких особых преград (деревушка, спрятанная в перелесицы, лежала в стороне от больших дорог), выкатили просёлком с большака и тут на Ку-

лёмной горе стопорнулись. Развернули карты – в двух верстах прямо по курсу должна быть деревушка, каких с начала войны повидали они уже немало, под самым простецким русским названием – Берёзовка.

Но перед их глазами открылась поразительная картина. Боёв в этих местах никаких, вроде, ещё не было, откуда – фрицы ломали себе головы – столько огня? Чудеса в решете! Кольцом вокруг деревни, словно в каком защитительном, оборонительном рве вокруг древней крепости, горела сама земля, не допуская врага на улочки занавешенного дымом и смрадом селища.

А в реке и у берега, где качались тени вётел, и на стремнине, за дальним, поросшим хворостом песчаным островком, где вода пенилась и шумела, отражалось, скользило пожарище, вода – не иначе, как к великой беде, – рябила, хоть и похолодев, алым-алая. Взгляни кто, почудится: из земли нашей русской, ворогом поруганной, из ран её свежих кровь сочится, течёт по руслу реки, будто по вспоротым венам.

Рассмотрев пообстоятельней карты, немцы обнаружили берёзовский мост прямо под Кулёминой горой, до деревни – рукой подать. Уже с поляру увидали они и причину пожарища – а и было-то всего-навсего: вдоль реки полыхали стога сена, на торфяниках высоченными кострищами занялись конопляные скирды. Полымя, разгулявшись по лещуге, по чапыжнику, оторачивая Березуйку, расплзлось длинной огненной полосой – прямо жуть! Но ни артиллерийской батареи, ни хотя бы окопов немцы вблизи не обнаружили.

Зато, подкатив к мосту, почудилось им: с ветром долетел благовест. Потом всё же разобрали они мерный чугунный звон, приглядевшись же в бинокли сквозь дым, заметили на середине моста восседавшего на перевёрнутой вверх дном плетушке лохматого, бродяжьего вида старика. И что самое странное – в кипенном посконном исподнем.

На коленях его стоял ведерный чугунок. И он, что было силы, со всего маху лупил по посуде железякой. Отрывался от

своего важного дела лишь затем, чтобы подкинуть сенца в разведённые там и тут вдоль всего моста костры. За подпалённые стога он уже был совершенно спокоен: попробуй подступись – не возрадуешься!

– Что, змеища? Съел? То-то! Рано загадал! Накося, выкуси! – долетело сквозь треск и гуденье на непонятном ворогу славянском наречии, – Афоня бился... как мог... на мосту через маленькую речушку Березуйку... на своём Калиновом мосту со Змеем Скипером.

Но когда старик присвистнул и, нахлобучив мухортую кошачью шапку – уши на обе стороны болтаются, – свернул – без смеха – фрицам дулю, а следом уже в затуманивающейся памяти косолапо заплясал посередь горящего моста, терпению мотоциклистов пришёл конец.

Они не стали ломать голову, как расплатиться с тем, кто оказал им, в прямом смысле, такой жаркий приём. Чуть живого Афоню в обгоревшем тряпье привязали к мотоциклу и потащили в деревню, успев-таки проскочить на левый берег Березуйки. Мост следом за ними рухнул, два дня ещё после дымили по концам его обугленные головешки и брёвна. Бездыханное обезображенное тело Афонии кинули посередь площади перед правлением колхоза, приставили часового.

Дня не прошло, в деревню вошли немецкие танки. Березуйка – река не ахти какая видная. А потому ни моста, ни брода они на ней не искали.

Через пару суток (Ариша мало что понимала в родах войск, но всё ж таки смекнула), когда жителей Берёзовки гитлеровцы уже повыгоняли из своих хат на улицу (кто где обретался: в летниках, в подвалах, в пуньках), пошла пехота. И сердце у бабы облилось жуковой чёрной кровью – немцы текли и текли, и текли.

Они шли и шли, спокойно переговариваясь, слышался тяжёлый и твёрдый переступ лошадей. Конца и краю их серым, мышастым шинелям не было. Потом к ним, мышастым, добавились зелёные. Пронёсся слух: венгры. А по большаку

сплошным потоком двигались колонны фашистской техники. Вонь и гарь от её выхлопных газов забивала духмяный аромат переспелых хлебов, грибной запах октябрьских перелесниц.

Время от времени объявлялись наши и нещадно бомбили ползущую серую змеищу. Она огрызалась – налетали мессеры, не вывернуться, зажимали «рус-фанер» в смертельные тиски. И тогда, чуя неминуемую гибель, наши ястребки кидали свой самолёт в самую гущу немецкой техники.

Сначала оттуда, со стороны чудом полууцелевшего Просяного, твякали зенитки, дробили автоматы, гремело и ухало, день и ночь слышна была пальба, горел горизонт. А потом, когда избитую сапожищами, изъезженную техникой траву выбелили утренники, стрёкот и буханье стихли, постепенно откатываясь всё дальше и дальше в сторону Москвы, бои захлебнулись.

Перестали приходить письма, никто не знал, что происходит там, за линией фронта, живы ли мужья и сыновья, ушедшие на битву с ворогом; сколько уж о них и слыхом не слыхивали.

Берёзовцам стало по-настоящему страшно... Но как же хотелось верить, что там, где ещё нет фашистского ига, не забыли и думают, и делают всё возможное и невозможное, чтобы поскорее прийти на помощь большим городам и малым деревушкам на оккупированной территории.

Война ворвалась в жизнь деревни неожиданно и страшно. После повального грабежа обрушилась тягостная тишина. На улице из жителей редко кого встретишь, высовывались лишь по великой надобности и то только с шести утра до восьми вечера. Комендантский час – даже от дома к дому не перебежать.

Зато немчура захозяйничала, заобустраивалась будто в глубоком тылу. Захочется фрицу, к примеру, молока парного – выбьет сапожищем калитку и – в сарай: прямо в каску нацyrкает молока, тут же выхлебает, наловит кур, скрутит им головы – и на полевую кухню, варить.

Афоню, чтоб никому не было повадно откидывать такие фортеля, фрицы повесили на виду у всех на перекладине, приколоченной к телеграфному столбу. Сгнав баб и стариков на

площадь, на ломаном русском достаточно доходчиво немецкий офицер заверил, что каждого, кто попытается оказать хоть малейшее сопротивление германским войскам, ждёт подобная участь. Смотреть на бедолажного, разнесчастного Афоню не доставало сил. Бабы, проглатывая рыдания, запахивали фартуками глаза детишкам.

Вечером, изрядно пошуровав по мужицким подворьям, набив птицы и всякой-другой животины, распоясавшиеся фрицы праздновали «взятие ещё одной русской деревни, блистательное продвижение войск Вермахта на восток». Часового от виселицы убрали – куда покойнику деться?

Но на заре, продрав с перепоею глаза, немцы не смогли поверить в небывалую дерзость – повешенный исчез!

Им, злыдням, расстреливавшим раненых и больных, обустроившим по всей Европе освенцимы и бухенвальды, вряд ли были знакомы те чувства, с которыми испокон веков на Руси относились к юродивым.

Ариша, вернувшись с площади, задёрнула занавески, уложила Сергуню. Тот уже и десятые сны гонял, а она всё не находила и не находила себе места. То принималась драить чугуны, то стирать-перестирывать рушники, занавески.

Ближе к полуночи, часов уж в одиннадцать, встав перед образами, заговорила она с Господом, больше обратиться ей было не к кому:

«Господи Боже наш, помяни в вере и надежди живота вечного представившагося раба Твоего, брата нашего Афанасия, и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки...».

Накинув старенькую фуфайку, замотавшись белокрайкой, она не стала выходить через ворота, раздвинув плетень, пролезла меж сливовой поросли на бакшу деда Фатя, зашла с задов, заскреблась в оконце, под которым стояла койка Лимпиады. Колыхнулась занавеска над жаркими бегоньками, вскорости выглянула Липа.

Уж и глаза её стали слипаться, но, признав-таки Аришу, мотнула головой в сторону крыльца, спрыгнув босая в бурки, в нижней рубахе, накинув на плечи шаль, кинулась в сени, отворять щеколду.

– Ты что ж в такое-то время шастаешь, ай и из сарая нехристи турнули? На площадь к Афоне захотелось? Там столбов-то хватает! – и, уткнувшись в Аришину фуфайку, пропахшую соломой и коровьим духом, заголосила в причёты. – Милая ты моя расподруженька, ой да что ж нам теперя делать-то да куды ж от этого зверья деваться? Нанесло их, дьяволов, тьму тьмущую! Чтоб они сёдня все, злыдни, попередохли!

– Что ты, что ты, Липа, Господь с тобой! Живи да Бога благодари – мы-то дома! – всхлипнула Ариша про себя, – это они пущай, подлюги, думают, куды им деваться, когда под ногами земля загорится! – из-под нависшего на лоб подшалка её лихо-радочно блестели глаза.

– Ай вы, девки, с ума сошли в такую-то пору шушукаться собрались? Бросайте свои тары-бары! Брысь по койкам чичас жа, говорю! – Фатей, не успев ещё и путём заснуть, поклевывая носом, вылез с печки, как таракан. Засверкал подштанниками, зачерпнув корцом квасу, подсел, почёсывая за пузухой, на лавку поближе к молодкам. – Ну, Аришка, сказывай, что ишо у тебя стряслося? Чего присваталась такая постная?

– Дак не по-людски, говорю, – вскочила, принялась растолковывать полусонному Фатею Ариша, – рази ж так-то можно, чтобы Афоня на глазах у всех днями на верёвке болтался? Ай мы тожить нелюди? Надо б земле придать, по-православному. Рази ж можно дозволить так-то надругаться?

– Тоись как-ак?!.. Тьфу ты! Мелочь пузатая! Я ей слово, а она мне – десять! Ишь, чертовка, и впрямь спятила! Сядь на кубаретку, тебе говорю, уймись... Раскрой глаза-то пошире! Что ж ты на рожон лезешь? – крутанул пальцем у виска старик, – и так ироды обозлённые. Сперва нос утри, а потом об чём эдаком думай... Слыхала, ай нет, чиво с Григорием-то Титовым сотвори?

– А что такое? – насторожилась Ариша.

– Дак что, что? Одна только ты не знаешь, а уж об том по всей округе в лапти звонят.., – и, помягчив, растолковал, – слухи ходят: решето – вот чего изделали! Третьеводнись пришёл немец к нему на двор, шасть в сарай. Григорий – кухвайку на плечи, выскочил из своей теплушки, мол, чавой-то ты, господин такой-эдакий, туточки забыл (они теперь тамotka с Ниловой обретались.., сладили вдоль стены нары, из железной бочки печурку.., ить кто где себе жильё слепил и нам вот завтри приказали выметаться).

Смотрит, значит, мужик, а фриц-то уж Красавку стельную с опавшими мосластыми боками свежует. Телёнка утробного к порогу откинул, паразит, погребовал. Когда успел?.. Бедная и голоса не подала, и мымыкнуть не успела... Смирна-я-а была коровёнка.., осанистая. Лебедь, говорю, а не коровка была, да горькая долюшка и ей обочь нас досталася.

– Это гдей-то такое видано, скажи на милость, чтобы корову завалить на таком сроке! – не помня себя от гнева, завертелся винтом Григорий и в ненависти кэк ахнул! вporол живодёру – будь он проклят – со всего маху в спину вилы. А Трифоныч, сама знаешь, не смотри, что за шестьдесят, – мужик что надо, богатырь, а не мужик, спина – под два мешка.

– Батюшки! – сердце вздрогнуло от предчувствия у Ариши, – а дальше, дедко, что дальше-то было?

– Ясный перец, что тут гадать-то: издох тот фриц на месте... и охнуть не поспел... Только было собрался Григорий закидать его хоботьями, глядь, а на пороге другой немец. На подмогу, видать, прибежал, Красавка-то – мастью симменталка, коровка не из drobных...

Вот ладно... увидал, значит, фриц окровавленного соплеменника свово – и ну палить по всем углам из автомата (у них это не заржавеет!)... Срубил, конечно, Григорь Петровича... И Ниловну.., не повезло сердешнай – как раз возвернулась от Березуйки с постирушкой на двор.., тожить не пожалел... и её скосил, антихрист... От кого ждать защиты? Иде искать правду? Одно, видать, нам осталось: день-ночь молиться, к смертушке себя готовить.

Бабы обомлели, притихли. Слышно было только, как цвенькнул за кожухом, у трубы, не знающий горя-заботы сверчок. Гнетущую тишину снова нарушил Фатей.

– А позволь полюбопытствовать, девонька, коли суюшь нос, как ты эту дель-то провернуть собираешься?

– Перепитые они, собаки, вгребучку, все до единого! И караульщика нетути, точно знаю, сама разведала. А ты, дедко, не пужайся, мы раки́тником, раки́тником... Дела-то – не на собачью слезу. Верёвку – вжик, и с Афоней к нам на бакшу, в низы... Я туды уже и лопатку оттартала, и старое бумазейное одеяло.

– Ей про Фому, а она, нравная, – про Ерёму! Погоди ты, лотоха бестолковая! Будет тебе вжик, как прознают!

– Да кто ж прознает-то? Правление в двух шагах от моей хаты. Народ нашарахан, по дворам сидит, нос боится высунуть.

– Ну, хватит уж антимонию разводить! Будя отвиливать-то, несговорный! И так к нему, и этак, а он прыгает, будто блоха – не споймать! Что мне теперя перед тобой на колени, что ли, становиться? – выиграла на всех переборах, не стерпела дедовых колебаний Лимпи́ада, – собирайся уже! Где порты, а то будешь кальсонами на всю деревню светить, тады, вот тебе Бог, зацапают.

– Замолчь, самопрялка! Сама хочь приплаточься, не ровён час, соплей нахватаешь. Что мне потом с тобой, никудышной, в такую лихую пору делать? (Это я так, промежду прочим), – окреп голосом, оживлённо шумнул дед, подбодрился, всунул ноги в порядком заношенные, но без дыр, без заплат ватные штаны, заложил за пояс колун.

Прокравшись обратным макаром на Аришин двор, не растворяя ворот, отзынув потихонечку боковую калитку, три тени шмыгнули улкой в раки́тник. Деревня и правду будто вымерла. Даже собаки и те присмирели, не взирали. Только во все глаза лупились клубные окна. Да от крылечного фонаря падал по двору дрожащий сно́п света.

Время от времени под ним объявлялся, еле держась на ногах, какой-нибудь шатающийся фриц. Опершись о косяк, делал

прямо с боковушки покосившегося крыльца своё дело и снова пропадал за дверь, из-за которой доносились звуки прививавшего патефона. Frohliche Nachtigall сменялся Lili Marleen, а за ней на всю округу лилась Rosamunde:

*Ich bin schon seit Tagen
Verliebt in Rosamunde.
Ich denke jede Stunde
Sie muss es erfahren...*

– Говорила тебе, дедуня: пустое ты всё толковал. И правда, по всему видать, не до нас им ноне, пережрали, ироды, песни орут, хоть бы к завтрашнему обеду очухались, – покосилась на клубные окна, укрепила Фатеев дух Ариша.

Хоть и тряслись бабы до смерти, но, прихватив за-ради какого-никакого прикрытия деда Фатей, Ариша и Липа, наотмашь перекрестившись, обрезали-таки верёвку – ни ушей, ни взоров лишних, – сронили наземь бездыханного Афоню. Легонького – кожа да кости – подхватили они его под подкрылки – за руки, за ноги – и Фатей с вилами в замыкающих. Переправили бедолажного густой бурьянной межей в конец Аришиной родительской усадьбы. (Батяня-то с мамкой померли, хата засиротствовала. А потому, в ожидании новоселья Роман с Аришей по весне перешли было в родительскую: у Степаниды-то итак тесновато, избушонка небольшая, кое-как срубленная, покривившаяся, двумя оконцами уж и в землю вросла).

Стояла осень, погода направилась тихая, свежая, ночь молоком залита. Поседали травы, лужи подёрнулись тонюсеньким стеклом молодого ледка, но земля, ещё не шибко схваченная морозом, с Божьей помощью в умелых бабьих руках (мужички, как-никак) не супротивилась. Правда, ямочку выгребли неглубокую – турнут фрица, так и так придётся Афоню на погост переносить, не место мёртвым на деревне, среди живых, да и крест, как водится, надо б справить.

А пока сбегала Ариша в сарай, притащила кой-каких до-

сточек. Фатей, опустившись на четвереньки, выложил ими яму, клешнявыми ладонями неуклюже разостлал на тёс одеяло. С грехом пополам опустили Афоню, попрощались по одному, откинув с лица покойника белую тряпицу. Прикрыли оставшимися тесинами. Размашисто перекрестившись на восток, прочитали «Отче наш», как и положено, всхлипнули, кинули на доски по горсти землицы: «Свят! Свят! Свят! Ну вот.., душа Афолина домой вернулась... Царствие Небесное!.. Уж какой челове-ек – Богом меченый! А свет-то какой от него исходил!».

Землю побросали быстро – сменяя друг дружку, в одну лопатку зарыли могилочку. (В работе-то они кого хочешь за пояс заткнут!) Исполнив тяжёлый долг, перетащили на черневший холмик с бакши копну картошника и уже к свету разошлись с этой тайной по домам.

Фрицы, конечно, на утро бесновались, выпытывали: кто да когда? Но деревня молчала. Да и видеть-то никто не видел. Хоть и рвали-метали гитлеровцы, но от дознаний толку наскребли, что от клопа смеху. На счастье Ариши, Липы и деда Фатей дело рисковое так и осталось шито-крыто.

Немец не будет немец (в плоти и крови у него это), если не станет, где бы он ни объявился, обустраивать свои порядки. Перво-наперво, весь работный люд, чтоб поспеть до ледостава, выгнали на налаживание моста: баб – гуртом – на расчистку берегов от головешек и обгорелых брёвен, стариков и подростков – на рубку леса.

А дальше-больше и пошло-поехало, всё пуще да пуще – давай фриц налаживать «новый порядок». А нашему брату, русскому, порядок тот при любой погоде – не пришей кобыле хвост. Не зря же бают: «Что русскому хорошо, то немцу – гибель».

Мало того, куда ни кинь – на всех углах бумаги порасклеили, мол, глядите у нас, чуть что – шаг влево, шаг вправо – расстрел. И стало совсем невмоготу.

– Одно у них, антихристов, для нас не возбраняется, вцепились в горло, словно псы голодные, – перешёптывались на

ключе бабы, заучившие, видать, немецкие команды на память, – только и слышишь: arbeiten, arbeiten, arbeiten!

10.

Так под вражьим сапогом и бедовали. Фронт катился на восток, и когда немцы допались до Подмоскovie, на зимний Миколин день невесть откуда и какими путями-судьбами по вражьим тылам – руки, лицо разбиты в кровь – прибрёл до дому чуть живой Роман.

Мать его, Степанида, потерявшая шестого сентября под Ельней сразу двух младших сынов, а с ней, с этой двойной похоронкой, потерявшая и себя, смутно, ошупью, но всё ж таки признала Романа, прослезившись, в радостях прошептала: «Ну, хочь ты возвернулся.., теперя могу помирать спокойно...».

Сашка с Мишкой были призваны в конце июня. Весной, перед самой посевной, они окончили курсы трактористов. Успели на своих ХТЗ посеять хлеб урожая сорок первого. Правда, убрать им его уже не посчастливилось. А в этот год, как нарочно, ржица да и пшеничка уродились на славу. Все, от малолетней мелюзги до немощных, давно уже не знавших колхозной работы стариков, высыпали в луга и поля. Вроде, всё уже подбили, только не достало рук, тягла вывезти озимую (уже в крестцах) с самого дальнего, за десять вёрст Верхового поля.

Может, Степаниду окончательно и подкосил тот злосчастный октябрьский полдень, когда она вместе с ещё одной берёзовской бабой возила хлеб в колхозную ригу (надеялись обмолотить под крышей).

Хлеба – немерено, таскать ещё и таскать. Дён пять, не мене. Руки скрестив, сиднем сидеть недосуг. К тому ж хоть на свою, хоть на чужую работу со стороны смотреть не привыкшие, убохались бабы! Шутка ли дело – до восхода солнца ещё добрый час, а они уже в поле. Присели, значит, на опушке Панькина леска перекусить что Бог послал: одна картохи прихватила, другая – яйца, ещё чего-то своего. Только разложили снедь артелью на подшалок, глядь, по просёлку мотоциклы зашлындрали (видно, те самые, что на другой день наткнулись у Березуйки на Афоню).

– Хлеб горит! – ахнула вдруг Степанидина товарка Мотя и, не успев ни о чём сообразить, кинулась было из леска на поле тушить.

– Куды ж ты лезешь-то, ай не видишь?! – выскочила вдогонку за ней Степанида, сгребла, покуда не заметили, повалила подругу в траву.

Какой крестьянин не свихнётся, какое сердце не обомрёт, не покроется льдом, коли на его глазах до самого горизонта запылает хлебное поле? Немцы ходили меж ржаных крестцов, и казалось, даже с азартом поджигали их факелами.

Очухались кое-как бабы – страшное дело! – сгребли манатки – зубы от волнения стучат, – кое-как обротали вздыбившегося на месте, заартачившегося было коня (живая душа, тоже, видать, беду учуял) – и ложбинкой, ложбинкой – до Берёзовки. Летели – колёса в разнос! Правда, у Синь-ключа тормознули было, помедлили, хотели Афоню, черпавшего берестяным ковшом водицу, с собой прихватить, а он – ну что за человек? – ни в какую!

– Беда! Беда! – орут ему бабы в две глотки и манят на ход.

– Эх, и глуп Кузьма! Въёт плети сам на себя! – поскрёб за ухом в ответ им Афоня (а ведь был малограмотный, вместо росписи крестик ставил), подобрал батожок, с ними – ни в какую, хоть лопни! – и заспешил в сторону полыхавшего Верхового поля. (Знать, ему было зачем-то очень важно самому увидеть дело рук фашистских татей).

– Батюшки! Карахтернай! И зачем его только нелёгкая сюда принесла? Под старость ещё лише чудить стал! Совсем, видно, не в себе! Вот у кого – ни горяшка, ни забот! – переглянулись тогда бабы меж собой, жалкующими глазами посмотрели Афоне вслед – кто ж к беде своим ходом ходит? – и рванули в деревню.

Вскорости после этого, спустя неделю, Степанида слегла.

– Скрючило, как коровью лепёшку, сама себя уже окарябала, – чуть отхлебнув из кружки кипятку, надрывно закашлявшись, пожаловалась, проскрипела она пришедшей её проводить мягкосердной товарке Моте.

Ариша бегала по пятам, приносила топли, доглядывала за ней, тщедушной, почерневшей, но к концу октября, как поняла, что свекровка совсем плохая стала, окна и двери Жихаревской хаты – в таком разе крест-накрест (избёнка-то, и правда, плохонькая, даже немцы побрезговали, не поселились), и перевела бабу с её кошунькой Лизабетой к себе в сарай, на соломенный тюфяк, поближе к спасительнице-буржуйке, горячему чайнику, не прекращавшему свои ворчания на проржавленной конфорке.

Романа, как объявился (стояли лютые декабрьские дни), сразу загребли в комендатуру, учинили допрос – не без этого. И если бы не его строевая непригодность, не его изувеченность и неприкрытая хромота, миндальничать бы точно не стали, не избежать бы ему Афониной участи. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

И то нужно сказать, Господь и тут за него вступился: просидев три дня под замком в Федосьином подвале, после ни к чему не приведшего мордобоя, когда на мужика и смотреть уже было страшно, измочаленного Романа всё же отпустили.

Как только фрицы, вытащив под руки его, квёлого, обмякшего ногами вышвырнули с крыльца комендатуры, к нему подхватила от ворот, подбежала томившаяся в безвестии Ариша. Не надеясь от врага ни на что доброе, она загодя прихватила хозяйские санки-коротышки (забирали Романа – уж и тогда он еле на ногах держался). С горем пополам взвалила она мужика своего, хоркавшего, на солому, впряглась и, обливаясь слезами – места живого, нехристи, на мужике не оставили, аж мурашки у бабы по телу заползали, – поспешила скрыться в свою каморку, подальше от глаз немчуры.

– Ну, погодите, ироды, лешак вас дери, спужаетесь ишо! Супротив Бога не попрёте. Зададут и вам взбучку, всыплют на орехи за милую душу! Отольются вам наши слёзы, ой, отольются-а! Наступит и вам каюк! – грозила она, шмыгая носом, утирая рукавицей слезящиеся от знойкого чичера глаза.

Вёрткая, швыдкая позёмка, подлётывая, кусала нос и щёки,

колючками просекала лоб, повязанный под старенькой бело-крайкой тугим ситцевым платком.

Как бедовала зиму, как выхаживала Романа, только ей и Богу ведомо. Совсем сна лишилась. Кроме молитвы, душа уже ничего не воспринимала. Порой, когда ёкало: всё, вот он – край, когда Роман, разомлевший и жаркий, забывался и неделями, обсыпанный ядрёным холодным потом, бредил, бредил, почти не узнавал её, когда чудилось, вот-вот отдаст муж Богу душу свою, когда казалось, вынести всё навалившееся на неё простому смертному не по силам, вот тут-то приходилось совсем туго и она, словно бы и не она, с раскосмаченной косой кидалась к сыну: рядом с ним она всегда становилась во сто крат сильнее.

– Ничего! Вот поправится папка к весне, – совала Серёжке случайным случаем раздобытый сухарь (в эту лютую пору для них это – целое богатство), кунала его в чай из смородинового листа, кормила дитё, обещала и сама в это начинала верить, – напеку вам на Сороки жаворят, подкинет он тебя на горушке высоко-высоко, станешь весну закликать, – чтобы не впасть в отчаяние, бубнила она каждый раз одно и то ж Сергуньке.

На другой день Крещенья померла Степанида. Копать могилку, хоть ты что хошь, было некому – лютовали морозы, в деревне – полтора мужика, и те калеки. А у баб осталось духу на копейку.

Ариша с Липой, совершенно выбитые из сил, в тот день поздно вернулись с дороги. Уже с неделю как поднялась несусветная метель, смешала небо с земью, казалось, и конца и края ей не будет. В иных местах сугробов нагроулило – в два аршина. Ночью вдоль деревни, по осокорям, стучал, ляскал зубами забористый морозяка. Как застогнет всё кругом! Как ревмя заревёт на разные лады! Надо бы пуще, да некуда.

Гитлеровцы попрятались за ворота, по избам, а за двери на двадцатиградусную стужу, на пургу выставили командовать бабами и подростками полицаев. Под их конвоем – набрасывались с остервенением, лише немцев, ругань, крик! – каждый

день берёзовцы, завязая по грудь в снегу, расчищали от заносов просёлок до самого большака, а это ни много ни мало – десяток вёрст.

– Давай хочь хвойничку наломаем – душеньку разносолом отогреем, всё какая-никакая заварка, опять же, говорит мой дед, витаминов в ём – куча, не лежит у меня сердце к вишняку, уже поперёк горла дрянной этот чай стоит – чёрный, как дёготь, – приспичило Липе, отогревая дыханием руки, поманила целиной на обратном пути в сосновую посадку Аришу. Как не заколели, с дороги не сбились?

Вот и припозднилась Ариша. Отворяет, значит, двери своего сараюшки, а дома-то – ах, ты, Господи, беда-а! – Степанида ещё в обед отошла. Да и Романа хоть рядом клади. Жадно обняла она его – живой!

Зарёванный Сергунька в мамкиной вязаной кофте ползает по земляному полу, по соломе – уж обвыкся – один-одинёшенек. Улыбается уже чему-то своему, словно во всём мире – ни войны, ни беды. И как только не ознобился? Даже о голоде Ариша позабыла.

Вскрикнула она, попричитала по свекровке («а как же, не с боку припёку – всё ж таки Ромушкина мамынька сердешная!»), смахнула слёзы да и призатихла – особо-то нюни распускать не от кого. Сарайшко с утра-то повыдуло. Горе горем, а дело делом. Зажгла в старушкином изголовье свечу, распалила буржуйку (амбар почти весь на дрова извела), натопила снегу: хоть своим и не положено, но сама (кого покличишь-то?) обмыла старушку, кой во что почище одела, уложила поудобней на лавку.

– С Фатеевым семейством, с бабой Грушей, земля ей пухом, по-соседски испокон веку за единое сердце жили, почитай, одним домом – припомнилось Арише.

И, чуть забрезжило, нырнула в погреб к деду Фатею (он с Липой, как немцы вытурили их из хаты, туда наовсе перебрался), втащила с собой облако морозного пара и запричитала: так, мол, и так, соседи, не оставьте в беде, надоть свекровку земле предать.

– Ах ты, батюшки! – закрестился старик трясущейся рукой.
– Да что ж делать-то, Аринушка? – поскрёб макушку. – Калякай, не калякай – метеля, мороз окаянный – плюнешь – накось и ледышка! И до погоста не доползти – ноги подкачали (задрал штанину), распухли, почернели, зачоченеешь – брр, не то что выкопать Степанидушке могилку! Попробуй-ка чичас подолби чугунную землю! – замаячил, зашаркал из угла в угол подшитыми, с обрезанными голенищами валенками, сник голосом, запричитал было расклеившийся дед. Седая «метла» его мелко-мелко засотрясалась, стекая по ней, из глаз закапали частые слезины.

– Твоя, отец, правда. Может, коло Афони, на бакше, пока в сугробе пригорюним? И приспичило ж бабке в такую лютость помирать! Буранище как бичом хлещет! – пощуняла Степаниду Липа, присоветовала, – слыхала, Герасимовы, как померли их Петюша с Настенькой, у себя на городе пока в сугробе выбрали две ямочки да и уложили рядышком детишков.

Другого всё одно ничего не приискать, а потому, дав проститься Роману с матушкой, завернули они старушку в простынь и похоронили её по яичной заре недалеко от Афони, вырыв в молочном сугробе глубокую домовину. (А к весне, как сшумнули морозы, как оттаяла мало-мальски земля, упокоили уже Степаниду на погосте).

На заброшенных колхозных буртах, под соломой насобира-ла Ариша прошлогодней промёрзлой картошки, сварганила из неё «тошнотиков», разделила на всех по справедливости, намо-лола на ручной меленке (сладил дед Фатей одну на два двора) желудей.

Намело-о! Морозище урчал, влаивал по-собачьи – на-сквозь прохватывало, аж дышать нечем. Прямо-таки карачун да и только. От избы к избе не пробраться, след в след не по-пасть. Но Ариша всё ж таки созвала соседей, водрузила на бур-жуйку большой жестяной чайник и покуда сидели – слово за слово – он всё тянул и тянул на чугунке свою заунывную песню. Сначала вспоминали добром бабку Степаниду – превечный ей покой, – потом поплакали обо всех ушедших разом.

Сменять бы что да помянуть по-людски, но «на мену» уже ничего не осталось... Всё истаяло на соль, спички, на самое необходимое. В округе были переловлены все галки и вороны, не говоря уже о голубях.

Жили, кормились как придётся, точь-в-точь, как птички Божии. Заголодали, ноги переставлять лишний раз не хотелось. Да и не могло. Пришла, как говорится, беда, привела на верёвочке за собой и нищету.

Даже вездесущий пронырливый Сергунька присмирел, будто разом повзрослел на десяток лет (ему бы молочка тёпленького, парного... Но рябую однорогую Тоську немцы прирезали и оттащили на кухню в первый же день оккупации).

Берёзовцы только об одном и толковали: хоть бы поскорее пошла в рост трава! Всё-то полегче станет на подножном корму. Хлебом грезили, он казался манной небесной. Толкли в ступке промёрзлую картошку, добавляли щавель, теребили берёзовые серёжки и из этой бурды пекли «хлеб». В те голодные дни и такой он был в радость. Нет ничего страшнее голода...

Афоне до похорон на погосте пришлось ещё долго дожидаться своей очереди. Ни одна душа в Берёзовке до сих пор ещё не прознала, куда подевалось с виселицы его тело. Но Ариша с Липой не только в своих разговорах уже застолбили для него место, но и проверили самолично, где упокоят его на вечный срок. Под вербицей, недалеко от Степаниды.

На Сретенье, глядь-поглядь, после холодной затяжной зимы под робкий передзыньк первых капелей в Романовой хвори случился перелом. Не сказать чтобы всё как рукой сняло, но дело подвинулось. У Ариши сладко обмерло сердце, радости не было конца-краю – ну, теперь всё на лад пойдёт, не может не пойти!

Видать, Аришина забота и ласка, Фатеевы корешки-травы сотворили своё – мужик таки встал на ноги. Ещё бы! Дед – не в похвальбу – лекарь ещё тот! Обустроил один из отсеков своего культиapistого убежища под баню и время от времени привозил в неё на санках Романа. Хлестал-растирал его в этом тёплом углу

травяным веником, окачивал водой с причётом, шептал, шептал, разводил руками, будто какой взаправдашний колдун (и, поди ж ты, ведь это же чудо!) – полегчало мужику!

И он, заглянув в чулан, сдёрнул с гвоздя свою финскую шинель, ту самую, что досталась в лагере по случайному случаю, в которой вернулся он год назад до дому. Накинул её, и первый раз за два месяца, хоть и оглобля оглоблей, но всё-таки на своих двоих – потяну-уло! – вышел на вольный дух. Уселся перекурить на приступок сарая.

Через полтора месяца даже Ариша не ведаёт, где, он раздобыл с полпуда овса.

Пора – невтерпёж мужику – хоть какую-то часть хозяйских забот перевалить на свои плечи.

С горем пополам вскопали бакшу, правую её часть, до самой Афониной могилы засеяли драгоценным овсом, а на остальной, чтоб не пустовала, натыкали, насобирав по соседям (и у них ведь не густо!) всякой всячины: чуток лучка, чуток моркови, пару гряд бурака (не до столовой, бурак-то куда крупнее).

В ту весну, заметила Ариша, засиротела в жёлтой кипени акации никогда раньше не пустовавшая скворечня.

А потом свалилась ещё беда.

– Хоть руки на себя накладывай! – прибежала Лимпида к Жихаревым, плюхнулась на коник, как куль с мукой, обожгла своими страшными речами, забулгатила-ась!

– Типун тебе на язык! Ты чего колоколишь-то? – прищёлкнула языком, осекла её с маху Ариша.

– Поглядите-кось, по деревне несть числа бумаги развешены – супостаты, язви их, ишь чего уздумали – молодёжь на работу в Германию гонят, человек сорок. Вызнала всю подноготную, к листкам-то попригляделась: и я тамотка..., послезавтра к восьми утра к комендатуре с вещами... Ой, милаи, да что ж мне делать-то? Прямо край! – голосом, ищущим защиты и сочувствия, разрыдалась на весь сарай соседка.

– погоди, подруженька, не надрывайся, Серёжку испужаешь, – на ходу вытирая подолом завески руки, опрومتью

кинулась её успокаивать Ариша. Споткнулась, рассыпала плетушку с очистками (вырезала «глазки» на посадку): – Ты приходи, попожжа, как стемнеет, что-нибудь придумаем.

И придумали же! Пообшарили чуланы и вечером на дощатой столешне под коптилкой из противотанкового патрона без опаски вытравили Липе руки-ноги каустиком.

– Слух был: дрейфит чёртово отродье, с сыпями да язвами, расплывшимися по телу, в Рейх не пускают. Кто с распростёртыми объятьями к себе на двор заразу впустит? – перешёптывались по деревне.

Липу после того, что она с собой сотворила, неожиданно оставили в Берёзовке. И она, рада-радёшенька, кой-как оклемалась.

11.

Как в то дикое и страшное время Берёзовка, захлестнувшись чувством безысходности и тоски, мыкала горе под немцем, Митрохе не предоставилось случая увидеть. Не знал он и то, что пятнадцатилетнюю сестру его Марусю, прикомандированную фрицами чистить при их кухне картошку, мать сыскала – греха таить нечего! – полуживую в Алексашиной хате, где квартировала дюжина германцев. Пообжившись, намастырились они было по берёзовским бабам бегать. Да накося-выкуси! Не на тех навалился!

– Ох! Да что ж они, аспиды, издела-али-и! Заломали цветочек да полевой лазоре-евый! – причитала, уткнувшись в подушку, рвала на себе от горя побелевшие косы матушка.

Помешанная, оборванная, Маруся просыпала на солдатской постели свои любимые, привезённые братом Митрошей в подарок бусы-«антарки». Избитая в кровь, погрузившись в обморок, она не могла ни стоять на ногах, ни расповедать закаменевшую в груди её обиду-боль поседевшей, словно лунница-сова, матушке.

Но как только добралась до своего подворья, всё же перешилила себя и к заутрене, жалобно поскуливая, попыталась уладить свои потаённые дела, битый час протолковав перед божницей со Спасителем. А потом сама себя сжила со свету –

втихую, трижды перекрестив себя и окружавшую её тьму, накинула на шею удавку, спрыгнула с лавки посередь онемевшего без животного амбара.

Ей бы отболеть да забыться... А она ишь чего содеяла! Ишь какие мысли прироились к её разнесчастной, охваченной непроглядным мраком головушке! Знать, не из таковских... Ну, так бери не бери в ум, а горюшко, коли оно несусветное – ни заесть ни запить, камнем стопудовым ворочалась оно, видно, в её душеньке... Совесть-то пяткой не затопчешь.

Митроха об этой беде узнал ровно за неделю до того, как оккупанты, согнав всех жителей деревни в обоз и прикрываясь им от налётов нашей авиации, погнали на запад.

Откуда он припожаловал в конце июля сорок третьего в такой неведомой в Берёзовке форме, не догадывалась даже его родимая мать. Да и сам себе он боялся признаться, где обретался два этих страшных года.

А одет Митроха был в униформу солдата СС РОНА (так называемой Российской освободительной народной армии). Китель – без петлиц, но с погонами, на правой стороне груди, там, где немцы носили имперского орла, – нагрудная эмблема, на левом рукаве вместо орла СС – нашивка РОНА, на голове – пилотка германского образца, но тоже без орлов СС, вместо черепа – кокарда с сиянием.

Добравшись до родной околицы, ещё не зная точно, чья в деревне власть (Курская неотвратимо подкатывалась к Берёзовке): и – от наших, и от не наших – ему уже всё одно не сдобровать, забросив в заросли таволги, чтоб глаза не царапала, белую нарукавную повязку с чёрной опостылевшей надписью: «Im Dienst der Deutschen Wehrmacht» (и раньше-то она ему была не пришей кобыле хвост), он обшаривал местность глазами, осторожничал: снять ли, не снять эту поганую форму. Но всё разрешилось само собой, когда он, затаившись в орешнике, услышал резкий сухой окрик постового на катившего на возу пацана: «Halt!». Смекнул: рановато он затеял переодевание.

Коли все дороги упиёрлись в тупик, коли убиты все желания

и уже не верится, что завтра снова для тебя взойдёт солнце, всё-таки в самых дальних закоулках души у каждого теплится хоть какая-то, самая малая искра надежды.

Война изломала, искалечила миллионы людских судеб. Не пожалела она и Митроху – в бараний рог скрутила и его судьбину. Одно-единственное осталось у мужика желание после всех его злоключений: напоследок взглянуть... ну хоть издали..., хоть мельком, на мать, на сестрёнок, прислониться плечом к косяку батиной хаты... да хочь с могилками дедов попрощаться... Одним словом, хватался за соломинку с родной крыши. А там... будь что будет!

Но больше всего на свете стремился несчастный Митроха... Abteilungsfuehrer Mitrofan Sazonov к Арише, к безответной, неувядающей своей любви, – полз, пробирался украдкой подальше и от Красной Армии, и от оккупантов – сначала из Камаричей (из Локотской республики), потом из Дмитровских лесов.

Не раз, пытаясь разобраться в самом себе, докопаться до самого донного доньшка, день за днём прокручивал он события двух последних лет, порушивших окончательно его жизнь.

– Знать, для меня сказано: «Героем упадёшь – судьба поднимет, трусом упадёшь – раздавит», – снова не было ему покоя после встречи с Романом, невольно принуждала она признать за собой эту слабость, – вроде, и трусом никто никогда не считал, а вот, вишь ты, – раздавила жисть!.. Даже у Романа под прицелом моего автомата есть выбор, чувствуется какая-то несокрушимая силища в его душе... А у меня вовсе никакого выбора не осталось. Лучше б там, под Степановкой, себя пристрелил!

Бросив Романа помирать, Митроха тогда, разыскивая своих, заматался по березняку. А дальше надо бы обсказать всё чередом.

Налёт закончился, но всё яростней вытрескивали автоматные очереди, всё реже слышались ответные винтовочные выстрелы.

Митроха, не будь лопухом, – нырь в ложок, а уж навстречу

ему сквозь высоченную овсяницу, в которой и чёрт ногу сломает, цепью прут фрицы. Перевёл он малешки дух – и к речушке. Но не тут-то было – на другом берегу ещё одна цепь автоматчиков. Идут себе с прохладцей вдоль брусничного заката, на губной гармонии наигрывают.

– Господи Иуси! Да что ж это такое!? – рванул он было по шпалам наутёк, назад и тут же выпучил глаза, застыл как парализованный – вдоль насыпи, прямо на него с поднятыми руками к развалинам станции гитлеровцы турили десятка три-четыре наших ребят, не успевших сделать на передовой ни одного-разъ-единого выстрела.

– Э-эх! Дал-таки маху! Не знаешь, в какую дыру ткнуться. Не иначе – обложили! – обронил, только успел смикитить Митроха, и тут же крепкий удар прикладом в спину втолкнул его в колонну.

– Ein weiteres! – крикнул своим конвоир.

А потом.., потом столько пришлось ему натерпеться – на десятилетия хватит! Пока к декабрю не определили его, умаявшегося постоянными дорогами, в Stalag-358 – житомирский «Освенцим», нацистский лагерь для советских военнопленных в районе Богуньи, его перебрасывали из одного дулага в другой: и в товарных, будто какую скотину, вагонах, и пешедралом...

И опять толкнулось в памяти: по пути два раза удавалось бежать. Первый раз догнали собаки в перелеске быстролётно – через час, другой тоже не увенчался успехом – постучался не в то окно.., к христопродавцу, к старосте. Измордовали, конечно, до бесчувствия, словно пропустили через мясорубку...

Третий же раз бежать не хватило сил, да и не выдалось возможности – Stalag-358 по своей жестокости к его узникам ничем не отличался от Бухенвальда, Заксенгаузена, Майданека. Хотя и не было в нём газовых камер и печей, фашисты умудрились в его застенках погубить, словно тлю какую, шестьдесят пять тысяч советских солдат!

– Arbeit macht frei! – эти слова, написанные на воротах Освенцима, любили повторять и здесь, в украинской глубинке, в

шталаге-358, стационарном лагере для рядового и сержантского состава. Калёным железом выжглись те слова в Митрохином сердце.

Он, мужик не из хлипких, к концу декабря от непосильной работы и беспросветного недоедания еле ноги волочил. Ещё бы! На день узнику полагалось шиш да не шиша: «Fressen!» – четыре грамма жира и двести пятьдесят граммов хлеба (если этот суррогат, на который и смотреть тошно, – из опилок и ещё чёрт знает из чего – вообще можно было называть хлебом.., но даже его было не вволю).

А накануне Нового, сорок второго года (немцы как раз праздновали своё Рождество) узникам перестали выдавать и этот сверхнищенский паёк.

– Совсем, чёртово отродье, остервенело, голодом изморили – терпежу нету. Работать им, душегубам, за здорово живёшь – подавай, а кормить – хуже собак кормят, – заходилась духом (а сколько ж можно своё горе в себе держать?), клял беспрестанно лагерных унтеров Митроха. – Режь ты меня (Бог смёткой-то его не обидел) – блюдут какой-то новый интерес.

Как угадал! Три дня, не имея маковой росинки во рту, даже самой поганой баланды, он вместе с другими узниками чистил от снега широченной деревянной лопатой проходы между бараками.

После этого на утренней поверке Митроха стоял – в чём душа держалась, – словно во сне, не понимая – тут ли он или уже на том свете? Временами ему казалось, что небо какой-то густой-прегустой синевы стонало стоном, наваливалось на него, придавливая, и земля расплзалась из-под ног.

И тут перед двумя тысячами оголодавших пленных, выстроенных на плацу, вышел представитель РОА, одетый в форму офицера СС, и заговорил зычным голосом на чистейшем русском, доходчиво и понятно.

– Солдаты и сержанты! Буду краток. Я, ваффен-гауптштурмфюрер Юрий Самсонов, обращаюсь к вам от имени командования Российской освободительной народной армии и лично бригаденфюрера СС Бронислава Каминского. Предлагаю вам

вступить в наши ряды и рука об руку с десятью тысячами русских патриотов-добровольцев при поддержке нашего друга и союзника – германского Вермахта приложить все усилия по искоренению большевизма и коммунизма на территории бывшей России. Даю вам полчаса.

За это мучительно-долгое время шаг вперёд сделали трое. На глазах у остальных пленных дохляков их отвели за колючую проволоку, усадили за стол, под свист и улюлюканье остальных принесли обед.

– Хавают, шкуры, так, что за ушами трещит! Радёхоньки! Чтоб вы подавились, иуды! – аж привстали с тайным чувством зависти на дыбочки, загомонили измождённые на плацу, дескать, выволочку бы им, стервецам, устроить, по зубам бы этой троице надавать, рази ж они одни такие здесь, а стерпели вот.

Их оставили голодными до следующего дня. Наутро перед узниками снова вышел Самсонов и снова склонял перейти на сторону РОНА. В этот день за столом уже сидели десять человек.

Так продолжалось изо дня в день на протяжении недели. Когда пошатнувшийся Митроха – гольные кости – наконец-таки не сдержался и, падая в обморок, заступил черту, его подхватили и оттащили за стол. Он почти ничего не съел – живот скрутило в три погибели, и Митроха очнулся в лазарете.

– Хрен вы угадали! Дайте только выбраться из этих стен, – передёрнул плечами, лелеял он тогда мысль о побеге к партизанам. – А уж если, скажем, в руках автомат окажется – только меня вы и видели!.. Нашли, суки, предателя!

Но система вербовки была отлажена с немецкой точностью и, конечно, были просчитаны, предусмотрены всяческие варианты. Вырваться из этих сетей не было никакой возможности.

– А слышал ли ты, Сазонов, о сталинском приказе № 227? – поинтересовались у Митрохи после соблюдения некоторых формальностей и письменного подписания контракта. – Согласно этому приказу все пленные советские воины приравнены к предателям. Так что поздравляем! Ты сделал правильный выбор – для Красной Армии Митрофан Сазонов отныне предатель, до-

рога назад тебе заказана. Всё особысты вывернут о тебе наружу, всё распознают, всё держат под контролем: не только твоё происхождение, где участвовал, в чём состоял, знают даже из каковских дед-прадед. – И принесли униформу, – переодевайся, готовься к назначению.

А местом назначения оказалась Локотская республика с центром в посёлке Локоть на Брянщине, что расположен в каких-то в двух сотнях километров от Берёзовки. Вместе с Митрофаном Сазоновым туда отбыли ещё сто новобранцев РОНА.

– Ну уж чёрта с два вы меня здесь удержите! – тогда всё ещё бодался, надеявшись на побег, Митроха.

Там, в посёлке Локоть, где в бывшем дворце Великого князя Михаила Александровича Романова разместилась резиденция обер-бургомистра Болислава Каминского, немцы, внешне не вмешиваясь, попробовали передать все вопросы местного значения, в том числе и непосредственное участие в борьбе с белорусскими партизанами, в ведение органов местного управления.

Тут надо бы рассказать всё путём: при поддержке оккупационных властей образовалась республика, небольшая страна в тридцать тысяч квадратных километров с населением шестьсот тысяч человек, округ, в составе которого оказались Дмитровск, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Михайловск, Навля, Севск, Суземка. С русской администрацией, налоговой и административной системой, даже собственной нацистской партией «Викинг». И со своей армией –РОНА около десяти тысяч человек (целая дивизия!), половину из них – военнопленные. Впоследствии из РОНА была сформирована 29-я вафен-гренадёрская дивизия СС. Но об этом уже Митроха узнать не успеет.

Пообтёршись в водовороте событий меж «локотцев», перезнакомившись, какого люду он только не насмотрелся. В компанию эту попадали по-разному. Каждый своим путём. Прибивались даже бежавшие в девятнадцатом за границу белогвардейцы.

Среди местного населения до установления Советской власти было много зажиточных (испокон веков не хуже добрых людей жили – как-никак вотчина Великого князя; крепостными они никогда не были, мощна – за редким случаем у кого худая). Ясное дело, колхозы таким хозяевам – нож по сердцу. Какой камень держали за пазухой на Советы, какими чёрными словами поминали коллективизацию двадцать девятого – тридцать второго! А голод?.. А вездесущее НКВД?!

Ох, не по нём эта жизнь! Кому ж по нраву в чужом гнезде обретаться? Не по пути было Митрохе с «локотцами», не по пути.

– Как же уцепилась тогда маманя-то за соху. Господи, как она там?.. Земной поклон ей. «Убей меня, не отдам! Что ж ты в гроб-то меня, сынок, вгоняешь? – зачала кричать, – последнее со двора несёшь!» – вспомнилась Митрохе весна тридцать второго, когда они с Ромкой, счастливые и окрылённые новым общим делом, которое здорово пришлось им по душе и захватило настолько сильно, что они, объехав уже полдеревни на отобранном у кулаков Селивановых («для общественных нужд») Воронке, хмелея от надежд и планов, копались во всяческом хламе, разыскивая в сазоновском сарае «шанский струмент», хоть мало-мальски пригодный в крестьянском деле.

Люди остаются людьми. Откровенничать в Локте не разоткровенничаешься, языку волю особо не дашь, а потому Митроха (да как и все остальные) думки свои от посторонних старался глубже припрятывать в себя да и сам держаться в стороне. Правда, взгляд от этого стал у него какой-то дикий. А кличке своей – Молчун – он даже обрадовался: меньше в душу станут лезть. Да, молчание здесь – неоценимое сокровище.

Что его удручало? О чём молчал? Не скрою, да хотя бы о том, что не мог поверить, не укладывался тот, проклятуший закон за номером 227 у него в голове.

– Небывальщина какая-то! – крутилось и крутилось в его распалённом мозгу. – Как могла отвернуться от него, от сотен тысяч, миллионов других военнопленных (не пасынков чужеродных, а собственных сынов!) Родина-мать, которую он пошёл

добровольно защищать, которой так гордился? – Или утратилась, оскудела её любовь к своим детям в разгар такой беды, в это дикое и страшное время? – и так, и этак раскладывал он, всё никак не мог уговориться, – а может, у неё не спрося, от её имени вершит кто-то иной? – тут же откидывал он свои упреки.

Не время теперь. Да и не в этом даже суть. Ведь не просто от нас отвернулись – с новой силой закипала Митрохина душа, – а всех под одну гребёнку, попавших в плен по разным причинам (в большинстве случаев, не зависящим от нас, рядовых и младшего комсостава, а мы-то – людишки маленькие), признали предателями! Не было дня, чтобы Митроха не думал, не прикидывал, что ждёт его, подвернись ему случай возвратиться обратно.

– Многого не посулю. Выбор у тебя небольшой, – поскрипывая новыми сапогами, прошёлся по кабинету, испытующе взглянул на переминавшегося с ноги на ногу Митроху Роман Иванин, начальник Локотской народной милиции, чмокнул губами: – или к нам, или в полицию (и он был бесконечно прав) и ещё, хрустнув пальцами рук, добавил: – Сказали – сделал, поручили – исполнил. Заруби себе на носу: ты здесь покамест человек не козырный – круглый ноль.

– Сыпь, бреши! Один чёрт! Житухи ихней окаянной и даром не надо! Всё равно – до первой удобной минуты! Должно же когда-нибудь закончится это затяжное ненастье, – решил тогда про себя Митроха, – а там, пусть наши что хотят со мной делают. – Ну, не видел он того, чтобы вся его последующая жизнь протекала под лозунгом: «Долой коммуны!», ещё гнал от себя всё настырнее наседающее чувство безысходности и тоски – и выбрал милицию.

Справедливости ради надо заметить, что к тому времени, к январю сорок второго, в Локте в её рядах уже было ни много ни мало – восемьсот человек. Это – тоже сила! Как никак – два батальона. Отделение, командиром которого Сазонова назначили уже через месяц, дислоцировалось в деревне Красный Пахарь.

12.

А первое его столкновение с «врагом» совпало с самым первым крупным сражением «локотцев» с брянскими партизанами, восьмого января сорок второго, на второй день Рождества. (Надо же! Именно в этот день в сороковом его крестовый брат Роман тоже попал в смертную коловёрть. Даже испытания посылают им Господь схожие.)

Предвидя нападение, по приказу бургомистра Воскобойникова в Локоть накануне Рождества были подтянуты отряды милиции. Из Красного Пахаря срочным порядком призвали со всем отделением на защиту городишка «от краснопёрых» и Митрофана Сазонова. До этого-то его бойцы, измаявшиеся от безделия, прикупив на локотской толкучке колоду замусоленных карт, «резались в дурака».

Всё представилось Митрохе до чёткой ясности. По сути дела, на второй день Рождества в Локте была настоящая бойня, беспощадная, буйная, неужённая между пятистами работниками НКВД и отрядами Локотской народной милиции. На воспоминания об этом кромешном ужасе у Митрохи не хватало мочи. Да и воротило с души – хотел, не хотел, а пришлось ввязаться.

– Боже ты мой! Печаль его даже иная – руки запачканы не фашистской, а русской кровью! И, надейся не надейся, не отмыться во веки веков!.. Повязался по ногам-по рукам...

Самому себе не верилось в то, что с ним произошло, ведь в жутком сне не могло присниться, что так зло подсидит его судьба. Кому станешь объяснять, кому докажешь, что коли не ты, так тебя? А заприметят, что отвиливаешь – «локотчане» сами пришьют – столько крови людской – ослепнуть можно – до той злосчастной ночи Митрохе ещё ни разу не приходилось видеть! Вот когда осознал он, наконец, что назад ему дорога теперь уже точно заказана, вот когда клял себя за свою нестерпимость на лагерном плацу.

Правда ли, нет, но старые люди говорят, что глыбь ночная человеку дана для раздумий. Сколько их, от зари до зари бессонных ночей, сотрясавших его покой, истерзавших в лоскуты

его душу, было с того кровопролитного январского сражения? И вот что непереносимо – каждый раз возникают перед ним глаза того молоденького парня, что скосил он напропалую перед локотским маслозаводом, – первого убитого им человека. Упал он, раскинув руки на нетоптаную порошу в углу двора, рванулся было в агонии подняться, но скорчился, свернулся клубком да так и затих... Даже сквозь тёмную голубень ночи было видно, как с левого боку из-под его овчинного кожуха распускался алый гераниевый цветок.

Потом были и второй, и десятый. Но первый не отпускал его, не давал покоя ни днём, ни особенно ночью. И каждый раз на смертной черте смотрел он с такой ненавистью, что мурашки начинали ползать у Митрохи по спине от невозможности стерпеть пронзительную предсмертную ярость тех глаз.

– Э-эх, каса-атик! Что ж ты натворил-то, Митроха! Знать, совсем у тебя в сердце Бога нетути! – вдруг забушевал, зашипел на него гусём собственный разум, вскинулось сознание.

Сам себе ведь не sluкавишь! Это было выше его сил, но странно – его тянуло заглянуть вживе в те, потухающие глаза снова и снова. Может, чтобы окончательно сплелось в его сознании, что с того момента, когда он не выдержал, заступил в шталаге черту, переступил грань между смертью и предательством, выбрав второе, он стал ненавистен не только тем, с кем ему теперь приходилось сражаться..., тому, убитому им молодому русскому парню, но лише чего не бывает – самому себе!

Память в десятый раз пережёвывала и пережёвывала. Вроде и уколоть себя, Митрофана Сазонова, нечем – просто он оказался быстрее, а вот поди ж ты – мутится рассудок! Может, зазря убивается? И правда. А иначе тогда, в январе сорок второго, на заснеженном локотском погосте, где сирень смешалась с жасмином выхлопотал бы и он себе местечко коротать остатнюю вечность, вырос бы ещё один чёрный холмик. И никто-никто из родных никогда-никогда на свете об этом не узнал и не пришёл бы ему поклониться, покрошить на Пасху куличик, положить на Спас краснощёкие штрифелины. Вот как оно выходит.

– И что за мысли? Туда-сюда носят, только на и так горбатую мою душу смута! Ну, об том ли думать, размазня? Чего теперь всхлипывать? Сам себя в слёзы вогнал. Ну, было и прошло, можешь ли, наконец, своей башкой понять? – корил, останавливал он себя, размякшего, разносил в пух и прах.

Казалось, притихший обоз уснул. Вот только Митроха. Час прошёл. Другой, третий прошёл. Нагулялся ветер, устало пал. Лунный свет – леденящий, бессердечный, наконец загустел. Всё ещё стояли, не низверглись с вышины, колюче мерцали окроплённые слезами звёзды. Редко-редко падали неторопливые снежинки. А провористая память – ей ни до чего – всё одно занималась своим.

Отряды НКВД, напав на ночной городок Локоть, оказывается, моргнуть не успели – потеряли более половины своей численности убитыми и ранеными. Через два часа после начала боя, побросав множество лошадей, пулемётов и боеприпасов, остатки их укрылись в лесу – операция не удалась.

Между прочим, яростно сопротивлявшиеся в ожесточённом бою «локотчане» тоже понесли немалые потери – пятьдесят четыре убитых и более ста раненых «народных милиционеров», погибло и несколько десятков жителей городка. На операционном столе в тот же день скончался тяжелораненый бургомистр Воскобойников.

– А ведь вот когда надо было попробовать взять и обернуть автомат в другую сторону, – сетовал на себя Митроха. – И почему мы так хорошо соображаем задним умом?.. Упустил такой шанс! А была ж, была возможность именно в том бою! И греха бы столько на душу не принял.

И снова в памяти замелькали, словно оброненные охапки ржаной соломы на укатанном санями просёлке, зимние события сорок второго...

Руководство тогда взял в свои руки Бронислав Каминский. И развернул милицейские отряды Воскобойникова в Русскую Освободительную Народную Армию, численность которой к

началу сорок третьего достигла пятнадцати тысяч человек (миллиция увеличилась с двухсот до тысячи двухсот).

Вооружённая более чем пятьюстами пулемётами, сорока миномётами, десятью танками, десятью бронемашинами и множеством другой техники, РОНА чувствовала себя достаточно уверенно не только на территории Локотской республики, но и за её пределами, во многих районах Брянщины.

– Господи! Как бы ни хотелось – не стереть, не вымарать из памяти этих двух необратимых лет! – сокрушался Митроха. – Думал: отцеплюсь от них, доберусь в Берёзовку. А оно вишь как повернулось? Попала в колесо собака – хрипит, а бежит. От одних убёг, теперь вот, выходит, с власовцами спознался, да когда ж этому наступит конец?.. По всему видно: так ли, сяк ли, но скоро, потому как жить с такой ношей запредельно, разве такое вообще забывается? Да хоть в ноги бухайся, хоть лоб расшиби, уж точно – не простится.

И снова зашипела, взбунтовалась, не давая покоя ни на минутку, устроила самосуд безотвязная память, она самая. Скоблит и скоблит где-то глубоко внутри, будто ножом по оконному стеклу.

Одиннадцатого апреля сорок второго (Он был! Был! Был там!) сожжена деревня Угревище, расстреляно сто человек! В тот же день уничтожена деревня Святово – подумать только – сто восемьдесят домов! Спалили сто пятьдесят домов ещё и в Борисово! Сто семьдесят – в Бересток, мало того – убит сто семьдесят один житель этой деревушки – как после такого пить, есть, спать, вообще – ходить по земле?!

Память прям-таки ветка шиповниковая, а не память. Её ведь, всевидящую, всезнающую, всепомнящую память эту не нагреешь, не обманешь! Не унималась, копалась и копалась, переверотив, избуравила всё нутро, выворотила наружу даже самые малые, вроде уже и призабытые события.

И ведь ржой не покрывается. Всё ей, дотошной, мало. И так хоть моток накидывай, а она стебает и стебает. Безжалостно, наотмашь, в кровь. Колет и колет. В глаза, в сердце. Ставит

тавро – ничем не свести – на самую серёдку души. Не щадя, разбирает на мелкие косточки всю его двадцатидевятилетнюю жизнь.

– Надо же – и тридцатника нет, а уже до седых волос дожил!.. – ничему уже не удивляясь, как-то заприметил редкую посеребрённую скань на своих висках Митроха.

А может, это над ним куражится самая что ни на есть подоготная совесть? Вот опять заёрзала от нетерпения, застонала, безотвязная, словно смертельно раненая, загуляла по крови.

С тридцатого апреля по одиннадцатое мая в районе деревень Тарасовки и Шемякино части народной милиции вели тяжёлые встречные бои с бойцами Кокоревского партизанского отряда. Долго ещё не мог выветриться из прилегающих лесов запах смерти – бои закончились полнейшим разгромом партизан. В селе Красный Колодец публично казнили их командира Чичерина. Ему отрубил голову командир бронетанковой группы Юрий Самсонов. Тот самый Самсонов, который в последних числах сорок первого завербовал его, Митроху Сазонова, узника шталага-358 в ряды РОНА.

Дальше – больше. Попёрли шнырять по округе! В сентябре сорок второго подпалили четыреста пятьдесят домов деревни Саптановки, убито восемь человек.

Что в Катыни уничтожили более двухсот партизан, сровняв с землёй сорок дотов и пятьсот землянок (ай первый раз?).

– Цыц! Тихоней прикинулся? Не финти! Участвовал! – крикнула на снова благословившегося стакашком Митроху тверёзая память. – Раздавить бы тебя как таракана! Какие тут могут быть ещё льстивые речи да мудрствования? Помалкивай в тряпочку не помалкивай, кайся не кайся, перед собой-то не отопрёшься. Помни, не пропускай мимо сознания, не смей забывать: участвовал и в операциях «Белый медведь I» и «Белый медведь II». Голова, говоришь, уже тяжёлая, как гирия?.. Ничего, куда ты денешься! Привыкай терпеть. А скажи-ка лучше, скольких из тех ребят скопил тогда ты?

Сразу два партизанских отряда истребили за время этих

операций: семьсот смертей, семьсот погибших русских мужиков. Ад сошёл на землю, а у тебя, Abteilungfuehrer Mitrofan Sasonov, даже ни одной царапины: сыт, пьян и нос в германском табаке! И долго ты ещё, шкура, будешь попирать фашистскими яловыми сапогами свою землю?

Правда, в марте сорок третьего в Топоричном, под Севском, «каминцам» пришлось туго – рано или поздно, но они были вынуждены столкнуться с регулярными частями Красной Армии – и Митроху не игриво ранило. В ночном бою конник полоснул его с лёту шашкой и, не задерживаясь, полетел дальше крошить «каминцев» налево и направо. Митроху из того боя, хоть без сознания, но всё же вынесли, и он, провалявшись неделю в бреду, всё-таки сдюжил.

А прорвавшийся тогда в тыл немецким войскам 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Крюкова продолжал удерживать Севск со второго по двадцать седьмое марта.

В середине лета сорок третьего Митрофан Сазонов получил новое назначение – ни с того ни с сего, как молния в ясный день, его вдруг перевели в 5-й стрелковый полк под командованием капитана Филаткина.

А тут разыгралось Курское сражение, и фрицев отдолбили – мама не горюй! У Митрохи, жадно ловившего малейшие просочившиеся с фронта известия, заскребли на душе кошки. Давно уже перестал он бояться своей роковой черты: «А-а! Что зазря топтать землю? Всё одно уже! Скорей бы конец! А то, видать, смерть забыла про меня, нейдёт».

«Каминцы» ущупали – плохо дело, всё отчётливей и отчётливей загуляли меж них слухи о скором перебазировании в Белоруссию. Ну уж туда вместе с ними Митроха не собирался ни за какие коврижки!

Сон ушёл окончательно. Волна за волной накатывали мысли...

В конце июля в Дмитровских лесах (до дому – всего ничего,

каких-то вёрст двадцать пять – раздумывать больше некогда), улучил момент. Как пал сумрак, просто-напросто зашвырнул гневно автомат в густые заросли орешника и сказал себе: «Баста! Терпелка спортилась! Пошло оно всё к ляду! Так и так – смерть».

А потом, днями отлёживаясь в изжелто-белесых бурьянных оврагах, шёл наугад чавкающим ночным бездорожьем, лосиными тропами, нёсся, сломя голову, чёрт знает какими стёжками (ему не нужно солнце, у него – чутьё: завяжи ему глаза, покружи на месте сорок раз, он всё равно выйдет) домой, в Берёзовку. Тогда и положил обет: «Там конец свой приму!».

Даже если и не найдя Митроху среди раненых и убитых, его хватились, вынюхтили, по следу точно не кинулись – пусть, мол, катится ко всем чертям! – не до того, нужен он им, как собаке пятая нога, свою бы шкуру удозорить, не продешевить, а то ненароком – борони Бог! – продырявят, всё к тому идёт.

Только теперь, конвоируя вместе с власовцами берёзовский обоз (немцы, как только клюнул жареный петух, погрузились в эшелоны ещё в Почепе), Митроха узнал, что случилось за эти месяцы после его исчезновения с Локотской республикой и с её войском РОНА.

Оказывается, да это надо было и предполагать, в течение сорок третьего на сторону партизан с оружием в руках вообще перешло четырнадцать тысяч бойцов русских формирований разных мастей: и «каминцы» – РОНА, и власовцы – РОА, и казаки – «Казачий стан», и из КОНР – Комитета освобождения народов России, и из дивизии «Руссланд», и из нацбригады СС «Дружина». Одного поля ягоды.

Окрылённые победами на Курской, летом сорок третьего брянские партизаны оправились от своих первоначальных поражений, и несмотря на помощь и поддержку Вермахта, РОНА начала нести большие потери (было совершено и несколько покушений на Бронислава Каминского).

Когда же «каминцы», принимавшие участие на стороне фашистской Германии в операции «Цитадель», не солоно хлебав-

ши зачуяли неминуемый крах, в спешном порядке рванули из Локтя в Белоруссию (шесть тысяч бойцов) вместе с гитлеровцами и двадцатью пятью тысячами гражданских. Правда, там их не шибко-то дожидались – население не приняло их на дух, а партизаны, так те напогдавали таких пинков, что «локотцы» были и сами себе не рады.

Ну, это было чуть позже, а тогда, в том самом бою в Дмитровских лесах, Митроха и правда не на шутку заметался, обхватил голову руками: ни с «каминцами», ни с немцами ему не по пути, а русские, сдайся *Abteilungsfuehrer Mitrofan Sazonov*, тотчас, не раздумывая, сотворят и суд, и расправу – поставят к стенке. Вот тут-то (на что надеялся?) насобирал он в кучку смелости и решил плюнуть на всех – вернуться втихую, пробраться во что бы то ни стало в Берёзовку.

Приди он несколькими днями позже – очутился бы в освобождённом от германцев районе, и одному Господу известно, что бы всё-таки с ним случилось, а тут вернулся – немцы презлющие драпают. С ними власовцы, матерясь, брызжа слюной, с отчаяньем и остервенением – куда деваться? – всё ещё продолжают, будто псы сторожевые, расторопно прислужничать фрицам, отползают к западу, прикрывась берёзовцами: его, Митрохи Сазонова, родичами, хоть и бывшим, а всё ж таки другом инвалидом Романом Жихаревым и что вообще невыносимо стерпеть – любовью его горькой, Аришей.

И так прошло три месяца, томительных и долгих.

– Нет сил на горемычную смотреть, теперь вот ещё и мальчишку её, Серёжку, ни сном ни духом ни в чём не виноватого изуверы в лагерь упекли. Сгорит ведь, как порох, секи мне голову – порешат. Хоть Бог – не Ивашка и видит, кому тяжко, но при такой кровище жизнь пятилетнего пацанёнка – эка невидаль! – бесценон, паршивой понюшки табаку не стоит, – шевельнулось в Митрохе на утренней поверке сострадание, и он, затоптавшись на середине обоза, чтобы собраться с мыслями, поотстал от власовцев, не доходя трёх подвод до жихаревской.

13.

Меж тем, не успели они и назад повернуть, хватъ – несутся от старосты вестовые, заколготились, засозывали всю охрану к головной телеге, к Кузьмичеву.

– Так, – пошёл он сразу с карьера в галоп, – разлазакивать особо некогда, вынайте руки из карманов, принимайтесь орудовать, делов – не впроворот: на станции под наш обоз пробились пять товарных вагонов. Понимаю: не воткнуться, ну, дак в тесноте – не в обиде, по пути разберёмся. Главное сейчас – чем скорее, тем лучше – убраться из этих проклятущих лесов. Мы вот пока что милованы, а обоз из Укосного попал, как кур в ошип, – наварлся на Шмырёвских партизан, наших всех до одного, без суда и следствия, порешили. Так что поглядывайте, через три часа, не медля ни минуты, снимаемся и к обеду, пройдя там же, на станции в спецвагоне, санобработку, должны будем растолкать берёзовцев по составу.

Боясь упустить последний шанс, сквозь шум, гам и подстёгивающие окрики власовцев, Митроха рванулся к Арише, в конец обоза. Бабы галдели, носились как угорелые – зуб на зуб от страха не попадал, – вертелись, словно вода на мельничном колесе. Бренчали посудой, утаптывали на телеги раскиданные табором вокруг костров пожитки. Пищала, хныкала детвора, храпели загоняемые в оброта кони.

Завидев Аришу, Митроха оторопел. Она, совершенно потерянная, – в голове всё путано, – туманно, казалось, лишилась языка. Никуда не бежала, ни за что не хваталась, сидела себе на телеге, прикрыв руками прорех уже не застёгивающейся на животе плюшки и не замечала всеобщего гвалта. Переполох этот её вроде и вовсе не касался – уставилась на стёжку, свильнувшую меж ёлок к брусничненскому просёлку, и замерла. Не кряхтела, не ворочалась с боку на бок. Только вот губы все искусаны в кровь. Сидела, наверно, так, не шелохаясь, уже около часа, с тех пор, как перекрестила она истово уходящего к сыну Романа.

Митроха ни о чём у неё не справился, не стал собирать раз-

брошенные вокруг телеги хархары, молча завёл швыдкой поступью в оглобли коня.

– Если хочешь спасти хоть этого, – кивнул на выпяченный Аришин живот, промолвил цепенеющим от напряжения голосом, – не глупи, молчи!.. Ни гугу! Не вздумай булгатиться или голос подать, народ шумнуть!.. Лучше бы ты кувырнулась на солому, не дай Бог растрясусь по колчегам, – и не доложившись начальству, прикрываясь общей суматохой, настропалил конягу в полумрак ельника, куда и ворон-то залетает редко, – ну, трогай со Христом!

А там уж, выкрадывая у времени мгновенья, подхлестнув Гнедого, помчался что есть мочи! Телега заскакала по замёрзшим комьям грязи, загрохотала, рассыпая по кочковатому лесу дробными горошинами перетреск.

Роман же, меж тем, выйдя на край Брусничного, остановил трёх встречных баб: так, мол, и так, где тут у вас лагерь, в котором немцы детвору содержат.

– О-ох! Ми-илай! Лучше и не спрашивай! Сами оттуда плетёмся, – тётки поставили пустые кошелки наземь, утирая концами полушалков слёзы, принялись было жалковать об детишках, рассказывать, – подобрали вот кой-чего: бульбы, каких-никаких сухариков, яичков да яблочков, а ироды на посту до ребятишков не допустили, выкладывайте, говорят, передадим. И скрыться мы не успели, подгребли они нашу передачку да в будку к себе и оттащили. Сами теперь трескают, а малышня – в чём дух держится! – ещё пуще заголосили сердобольные белоруски.

Выслушивать их плачь – Роману нож по сердцу. А потому, не медля ни минутки, двинулся он к скотному двору напрямки, через огороды, как присоветовали ему не перестававшие реветь бабы.

На удивление, лишь только Роман вытащил из-за пазухи пуховый платок («До чего же умница Ариша! – снова подумалось ему, – будто наверняка знала!»), фриц оказался очень даже сговорчивым.

– O! Flaumigen Schal! Gut! Sehr gut! – обрадовался фриц и тут же, как баба, накинул на плечи Аришину шаль.

И отобрав у Романа ещё и узелочек с припасённым для Серёжки гостинцем, всё ж таки пропустил его за колючку.

Роман шёл сараем, меж коровьих стойл, и с каждым шагом ему становилось страшнее и страшнее – показалось, все детишки выглядели на одно лицо: худющие, с большими в тёмных полукружьях глазами. Но самое главное – он всё никак не мог различить среди них своего Сергуньку. В полутьме коровника продрогшие детишки, зарывшись в солому, жались друг к другу.

– Сергунька-а! – наконец терпение Романа лопнуло, и он закричал не своим голосом на весь сарай, так, что с непривычки (детвора-то всё больше молчала, уже и плакать не плакала), с перемета слетела и, проносясь над стойлами, выскочила в ворота перепуганная стая воробьёв.

– Папка! Папка! – выскочил тут же на другом конце длинного прохода Серёжка, – я ждал! Я знал, что ты за мной обязательно придёшь!

Боже мой! Какими глазами провожали Серёжку до ворот несчастные ребятишки! А у Романа, прижимавшего сына к груди, стучало и стучало в голове: «Лучше уж самому здесь остаться, чем уйти одному, оторвать теперь от себя Серёжку!»

У ворот коровника притулилась сваленная как попало куча ржаной соломы. Если стоять не по центру выхода, часовому не видать, что происходит у этой копёшки.

Наверно, сам Господь послал Роману подсказку в последнюю минуту, уже у ворот коровника, мол, попробуй-ка так и так, вдруг посчастливится вытащить сына из этого кошмара.

Роман склонился над сыном, пошептался с ним о чём-то, и Серёжка, худенький, словно гороховый стручок – даже копошащиеся в соломе воробьи не успели заметить – шмыгнул со спины под длиннющую отцовскую шинель.

Почти до самого постового они шли медленно, прихрамывая, шаг в шаг. Метрах в десяти от выхода Роман что-то еле слышно сказал Сергуне, и тот, обхватив отца за пояс, повис на нём, поджав, как можно выше, ножонки.

Выпуская Романа на волю, немец похлопал ладонью по груди, по Аришиной шали, ещё раз гавкнул своё «gut-gut!» и принялся закрывать ворота. Мешкать было некогда – Серёжка, словно бельчонок с дерева, соскочил с отца, прыг в придорожный ельник – и был таков.

Так и шли они, покуда не скрылись с глаз постового, – Роман, колтыхая, поминутно оглядываясь, нет ли погони, вдоль просёлка, а Серёжка, приседая и крадучись за еловой посадкой.

Хорошо, что не слышал сын, как скулил и по-бабьи выл от радости его отец Роман Жихарев, много чего перебедедовавший на своём тридцатилетнем веку, но всё ещё не сломленный тридцатью тремя несчастьями.

Спустя полчаса, не ведая, что по этой же дороге, им навстречу, мчатся Митроха и Ариша, они уже углубились в лес.

Митроха, стоя, привычным взмахом руки раскручивая над головой вожжи, подкикивал, гнал во весь опор. Птицей взлетели на пригорок, юркнули, спустились в бурю заколдобистую луговину, опять взлетели. Взмывенный, кутившийся паром матерущий Гнедко, – чёрту брат! – дико нёсся вскачь словно обезумевший сквозь ядрёное октябрьское утро, сквозь крепкий настой прихваченной морозом земли и смоляной тиши по чуть приметной глухой дороге в сторону Брусничного.

Воздухи ещё баюкались.словно на почтовой открытке, с поднебесья, с маковок дремучих деревьев, прижавшихся плечо в плечо, тихо-тихо под шёлковый шорох на закрайки лесного болотца, покрытого тончайшим стеклом ледка, на поседевшие травы и кусты запросеивались первые осенние снежинки. Невидимое, но уже проснувшееся солнце расстилало по макушкам бора румяное покрывало. В утренних голубоватых лучах они казались сотканными из серебра.

На что понадеялся переступивший через себя мужик?.. Что удачливое померещилось вдруг ошалелой голове его (удали-то в нём всегда водилось через край!)? Скорее всего, он и сам того не знал...

Да и что пытаться?.. Всё одно все под Богом ходим! Хотя... Может, думал закатить телегу с Аришей подальше в буреломины

и пёхом сгонять в Брусничное за Романом?.. А может, взмахнула крылами, распрямилась его душа, помечталось парню – плевать на все злоключения – сложить вместе быть и небыль, умыкнуть свою любимую в такой страшный для неё час на край света, и чтоб никто-никто в жизни её не сыскал, как говорится, ни свой брат, ни соседская курица. Говорят, мол, надежда – хлеб несчастливца... Кто ж его знает?.. Одно можно сказать точно: о себе он тогда не думал вовсе.

Сучья деревьев хлобыстали по его лицу. Гнедко шарахался выступавших на дорогу кустов, глаза у него яблоками вылезали на лоб, брызгали искрами. На мшанины сквозь грядки грузно просыпались какие-то узелки и кашолки, в лужи шлёпались кули. Митроха же летел и летел! Спасал Аришу.., ягодку свою боровую.

– А иначе цена тебе, Митрошка, попомни, и вовсе – пятак, и в нутрях твоих – не сердце ласковое, а камень дрыхнет, и тот – слякоть с тухлинкой, – определил он для себя, прежде чем умыкнуть её из обоза.

– Господи! Не дай загинуть, Господи! Чего тебе стоит? Пошли нам спасение! – захлёбываясь слезами, утирая рукой нос шептала то и дело Ариша.

...Показалось: оторвались! Ни погони, ни шуму, ни окрика вослед.

– Ну, – смекает Митроха, – уж и радость в груди заколотилась: ещё версты две-три, а там захочешь – не нагонишь. Завернём в первую чащобину, прикинем, что к чему.

А дорога вдоль строевого сосняка – прямиком и прямиком, ни тебе свернуть, ни обернуться. Как раз тут и выехала им шестёрка конных наперерез. Митроха признал их ещё издали: и Кузьмичёва, и его сподручных. Загодя притпрукнул, сошёл с телеги, обмотал вожжами сосну.

Подкинув поближе к Арише автомат: «Сгодится!», выдернул по очереди из двух гранат чеку, сунул руки с лимонками в карманы шубника и твёрдым шагом двинулся навстречу верховым.

– Ну и что ж ты, шельма, творишь-то? Ума тряхнулся, баран

шелудивый? – попёр на него с лёту староста. – Партизан на нас навести, приبلудыш, уздумал? Мало того, что мужик убёг, так ты, сволочь, ещё и бабу его спасаешь?

– Я ещё не ошалел, – упреждая дальнейшие расспросы не смолчал, ухмыльнулся Митроха, – у партизан мне искать, сам знаешь, нечего, а с бабой у тебя осечка. Душа ещё не совсем опаршивела, коростою не покрылась... Моя это теперь баба! И попробуй кто тронь!

Власовцы, не слезая с коней, закружили, взяли в оборот Митроху – того гляди стопчут.

– Ты ещё грозиться будешь? – Надвинулся тучей Кузьмичёв. – Твоя, говоришь, бабёнка-то?.. А я думаю: теперь она вовсе ничейная, беспризорная... Какой от ей прок? Харкнуть да растереть! Ну, а коли ты её застолбил, говоришь, – так тебе ж и слаще: придётся не пожадничать, поделиться со старыми друзьями. Сичас поползаешь на карачках, проверим тебя на вшивость, из какого ты теста. А не то – и кокнем вас, голубков, разом к чёртовой матери. Это мы можем! – мужики заржали, ещё лишь загарцевали вокруг Митрохи.

– А больше вы ничего не хотите? Нашли чем испугать! Говорят, за убийство пауков сто мешков грехов сымаются! – пробормотал скороговоркой, насмешливо сверкнул «как молянья» запавшими, вдавленными ночной мукой глазами в рожи душегубов Митроха.

Власовцы и сообразить не успели, в краткую секунду выдернул он из карманов руки и тут же разжал пальцы – свершив над ними скорый суд. А заодно и над собой.

Роман вытянулся слухом как струна: в глубине леса лихо ухнуло. Аккурат в тот же миг вздрогнуло у него сердце, будто его зацепило осколком.

Подхватив на руки лёгенького как пушинка мальчика, рванул-ся он лихорадочно по просёлку вперёд, насколько позволяла стёртая в кровь, культистая его нога. За пятнадцать минут отмахал версты три. И тут, посередь леса, на прогалине меж кустов боярки увидел свою Аришу.

Она сидела на срубленной взрывом сосне, на суку висел автомат. Шагах в ста в шёлковых хвоях пофыркивал Гнедко. Рядом со съёжившейся в клубок, ещё не успевшей прийти в себя Аришей (плечи её ходили ходуном, мелко тряслась опущенная в колени голова) раскинулся на припорошенной первым снегом хвое, на подмороженном брусничнике с расстёгнутой, покалеченной насквозь промёрзлой душой Митрошка. На меловое лицо его опускались снежинки и уже не таяли... Даже от горячих Аришиных слёз.

Вокруг развороченной ямины как зря валялись окочурившиеся власовцы и их перебитые кони. Брюзжали – аж жуть брала – израненные деревья. И из-за их тягучих стонов на глухую поляну наваливался дикий страх.

И почудилось Роману – откуда она взялась в эту пору? – горестно, словно баба на погосте, застонала, замусолила душевным голосом на болоте одинокая выпь, да так тяжело, что тоска у Романа змеей подползла к горлу, а по телу побежали мурашки.

И только Серёжка ничего и никого не заметил, кроме своей мамушки Ариши. Усмотрев её ещё издали, он соскочил с отцовских рук и, спотыкаясь на колдобинах, рванулся к ней что было мочи.

– Мама-а-а! Мамочка-а-а! – всколыхнулась от его радостного крика поляна, – я – живой!

– Жив! Жив! Жив! – подхватило, раскатилось вдоль бора вездесущее эхо.

– Жив-жив! Жив-жив! – заликовали, роняя боярку на оснеженную поляну, первые снегири.

ИЗБРАННЫЕ ЭССЕ
об оккупации Орловщины
ИЗ КНИГИ
«КОЛЫБЕЛЬ МОЯ ПОСРЕДИ ЗЕМЛИ»



«ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!»

...Подошла пора поведать о судьбе родителей моей мамы. К слову сказать, ничем особым от судеб кировских крестьян она не отличалась: та же беспросветная (но без неё-то и жизнь – не жизнь!) работа на земле, те же, как и у миллионов наших крестьян, заботы о хлебе насущном, о том, чтобы поставить детей своих хоть как-то на ноги.

...Нюра – будущая моя бабушка, мамина мама, работала до замужества в райбольнице. По выходным округа собиралась на лугу в лесу Волчьем. Девки дробили под гармошку, а парни устраивали кулачки. На лугу этом наша молодёжь зачастую и знакомилась.

У Михаила – три брата. Станут стеной – все бегут врассыпную. Как такими богатырями не залюбоваться? А глянулсЯ Нюре младшенький.

И молодой тракторист Миша Булыгин не дал маху – меж кулачками сумел-таки приглядеть себе любушку. И девчонка-то, вроде, как девчонка, но косы! Длинные, тугие, ни у одной в округе таких не было. За косы и полюбил её Михаил. Одна такая разъединяя! Увидел, протосковал лето, а к Успенью сватов заслал.

Михаил приехал свататься и будущей тёще очень понравился – крепкий, ладный, непьющий. В тридцать восьмом, после уборочной сыграли свадьбу. Только не пришлось Нюрочке по-красоваться косой своей. Тиф свирепствовал тогда в деревнях. Навезли тифозных в больницу, Нюра и заразилась, слегла.

Долго провалялась в жару. В таких случаях стригут налысо. Брат Нюрочкин, Василий, скандалил на всю больницу, не давал резать её расчудесную косу. Выгнали его за дверь, а Нюру всё равно остригли... и косу сожгли. Случилось это незадолго до свадьбы. На вечере сидела она слабая, бледная, в белом платочке, волосики ёжиком – только начали отрастать... В октябре тридцать девятого народилось дитё.

Это теперь разные отсрочки перед службой в армии существуют, а раньше такого в помине не было. Да ещё перед служ-

бой парни проходили предварительную подготовку в терчастях недалеко от Орла, на полигоне в Лужках.

Пришло время, забрали Михаила на действительную: сначала на Кавказ, затем перекинули в Иран. Помню его, маминного отца, дедушку Михаила: не смотри, что век на земле – аккуратист и чистюля. Видать, в Иране насмотрелся, как выпекали лаваша, поэтому никогда их не ел, «требовал». Скажет бывало, мол, хозяйка их на коленке раскатала, к печке пришлѣпнула. Покачает головой: «Разве можно так-то с хлебушком?»...

Уж и на вторую половину перевалила служба Михаила, а тут – хватъ! – Гитлер, не к ночи будь помянут, зачесал кулаки, оттапал пол-Европы...

Мы о волке, а он – за гумном! В Кирово и Игино сразу же, за июнь-июль сорок первого, мобилизовали всех мужиков, остались старики да малые дети. А по большей части – сплошное бабье царство. Осталась и Нюрочка с полуторагодовой дочкой Клавой на руках да со свекровью. Слава Богу, та её любила. Бывало, до войны-то посадит на гулянках рядом, нальѣт стопочку (а Нюрочка и вкуса спиртного не знала) и смеѣтся-приговаривает: «Попейся, молодиц!» Ведь знает, что Нюрочка и не пригубит, а всё подшучивала над ней.

Прожили свекровь с Нюрой до самой своей смерти под одной крышей. Всегда ладили, душа в душу. Любила свекровь её как собственную дочь. А по какому случаю не любить-то? Бабочка она была покладистая, на работу цепкая, даже ярая, чистоплотная да и в Мише, сынке её, души не чаяла. Коса у Нюры отросла, но уже не была выдающейся. Зато из простой девчонки превратилась Нюра в красивую женщину, расцвела, стать появилась.

И вот в сорок первом обрушилась беда...

Спустя всего лишь три с половиной месяца немцы овладели Орлом, рвались к Москве. До того момента, когда на поле запылали конопляные снопы, в деревне только слышали громоыхивание дальних боѣв, да время от времени приходили слухи о зверствах гестапо в Орле. Но в Кирово уже никто не со-

мневался, что со дня на день немец придёт и в их дома. Конечно, боялись... Как не бояться-то?

...Заскрежетали гусеницы по большаку, ещё не прибранными полями напрямки, наматывая на гусеницы побуревший подсвекольник, в деревню вкатилась война. Сначала ворвались танки, за ними мотоциклетки с колясками и машины с солдатами. Улица наводнилась немцами.

Первое, что они сделали – перебили у Кромы колхозное стадо, устроили настоящую охоту за коровами. Потом, переловив под плетнями хозяйских кур, выгнали всех баб из хат в амбары да сараи (хоть волчицами вой!) и расквартировались. Заходить в свои избы разрешали только для того, чтобы навести порядок, приготовить им еду.

Вытолкали немцы и Нюру с малышкой, и бабу, а в их просторной хате разместили свою почту. Только и успела старая что похватать вгорячах со стен да спрятать в опущенный в шейную яму заваленный картошником кованный прабабкин сундук, посуровевшие образа да фотографии четверых своих ненаглядных кровиночек, сыновей, что бились на фронте яростно с лютым врагом за неё, престарелую мать, за любушек-жён, за малых детишек своих, за родное Кирово Городище.

Согнав жителей села к школе, на которой уже развивался флаг со свастикой и была приколочена вывеска «Komendatur», немцы представили важную шишку – коменданта Давыдова, поставленного над Кировской волостью (имя его не сохранилось в памяти земляков моих, а может, не захотели они его, «вражину», и запоминать-то, Давыдов, да и Давыдов).

...Когда бабка услышала хриплое, последнее мычанье выпестованного ею словно дитя малое белолобого подтёлка, привязанного на луговинке за садом, решительно собрала кое-какие пожитки, подхватила невестку Нюру с маленькой дочкой и ушла с ними в летник. Сладили печку, стол – так и перебивались.

А немцы продолжали занимать кировские хаты, грабить немудрёное их добро. Хозяйничали, как будто у себя дома. Ведь по неписанным правилам войны первые три дня оккупированные деревни отдавались на разграбление. Свиней оккупанты

порезали сразу. Разбегались по дворам, хватали палки, били кур, откручивали им головы. С Кромы доносились взрывы – забавляясь, немцы загоняли гусей в воду и бросали туда гранаты. А выудив птицу на берег, снимали с неё кожу, словно чулок.

Рассказов о войне много не будет никогда...

На постое в соседской хате жил дебелый рыжий офицер. Всё, бывало, погуживал себе под нос что-то бравурное. Только сам и знал, о чём поёт. Часто вынимал фриц из нагрудного кармана фото и хвастал своею фрау с малолетним сыном на руках. Из дома ему присылали посылки с шоколадом, печеньем. Он и повадился угощать Нюрочкину дочку, а сам всё на Нюру заглядывался, всё прижаться норовил.

Почуяв мысли фрица злые, потаённые, свекровь, чтоб невестка, не приведи Господи, духом перед «немецким жеребцом» не смутилась, вырядила её в рваньё. В сарае соорудила большой топчан. Сама ложилась спать с краю, внучку укладывала посередине, а Нюрочку – у стенки. Утром самолично на люди вымазывала её лицо и руки сажей. За версту от молодки несло древесной золой, влажным и кисловатым духом замызганной фуфайки, отваром чеснока.

Фриц всё, конечно, понимал и только свистел из всей дури, ржал над уловками старушки. К зиме он совсем уже не давал прохода бедной Нюре («скрозь земь провалиться!»), заставлял её умываться, чтобы не прятала красу.

Фашисты резали скот, отбирали продукты, а деревенские кормились как могли. Даже на собственной бакше были не вольны теперь распоряжаться. На общем сходе староста зачитал распоряжение командования 383-й немецкой пехотной дивизии: «Кто вытаскивает картофель до созревания, чтобы взять самые большие картофелины и вставляет потом клубень обратно в землю, будет расстрелян как вредитель, то же самое для того, кто украдёт сноп зерна или сена...».

Не жили, а выживали! Ведь никто и не мыслил, что за такой короткий срок немцы дойдут до Орловщины и будут на ней властвовать двадцать два месяца!

По теплу ещё куда ни шло – деревенских спасали грибы, ягоды, щавель. А зимой приходилось тяжело. По немецким тылам Нюра, оставив на пригляд свекрови дочку, ходила за семьдесят пять вёрст пешком на базар в Орёл. Успевала за двое суток. Меняла яйца, настряпанные блины, пирожки на соль. На базаре в то время царствовал товарообмен. Наряду с советскими рублями имела хождение и немецкая марка, приравненная к стоимости десяти рублей.

Немцы, конечно, не раз перехватывали её на пути, вытрясали корзину, отбирали продукты. А коли посчастливится добраться до Орла, надо было ещё суметь продать картофельные пирожки, выдав их за мучные. За сутки картошка темнела, покупатель разламывал и, если чуял обман, затевался скандал. А могли и побить: времена-то голодные!

Однажды свекровь учудила на старости лет. Ни с того ни с сего надумала пойти в лес и невестку с собой прихватила. Пробродили до тёмных. Молодка подберёзовики да свинухи собирала, а свекровь – мухоморы. «Совсем бабка плохая стала, – заглянув в корзину старухи, в кои веки подумала так о свекрови Нюрочка, – ничегошеньки путного.., во как! – тут толь одни поганки!» А старой – хоть бы хны: «Тебе всё бы хаханьки! Об чём увидала – не мели! Языки-то людские побереги! Бытто не об чём не ведаешь. А то худо будет!», – проямлила бабка, прикрыла добыток «папретником», принесла домой и затеяла баню.

Пока Нюра с дочкой купались, хитрая бабка сделала отвар из мухоморов. Не впервой ей снадобья стряпать – до войны отварами всю деревню лечила. Взяла и окатила Нюру ядовитым зельем.

На другой день кожа на теле у невестки покраснела и распухла. Увидав это, немец остолбенел, сплюнул в сердцах, но никогда больше не подходил к Нюре и даже не заговаривал с нею. «Нечего фрицам на наших лебёдок заглядываться!» – бубнила в сердцах довольная старушка.

Она, бесстрашная, ведь не читала памятку, которую вручали солдатам и офицерам Вермахта, воевавшим на Восточном

фронте: «убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим ты спасёшь от гибели себя, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься на века».

Не знали мои земляки и о том, что, готовя «План Барбаросса» (план нападения на Советский Союз), фашисты разработали «Распоряжение об особой подсудности в районе Барбаросса». Чудовищный документ этот, по сути, – государственная политика, оправдывающая жестокость и зверство. И к кому? К старикам, бабам да детишкам!

Война длилась... Каждый раз, как только бабка замечала, что фрицы засматривались на Нюрочку, тут же пользовалась испытанным рецептом. Настойка на мухоморах действовала безотказно. Многих парней и девчат на деревне спасла тогда хитрая бабка. Скольких фашисты не угнали в Германию, боясь колдовской заразы! А ещё старая придумала такую уловку: как что недоброе учует – нырь с невесткой и внучкой в шейную яму под копну ржаной соломы. Кто только в этом бабкином схроне не отсиживался!

...В августе сорок третьего выдворили немцев с Орловщины. А Михаил потопал в обмотках по свету – не приведи никому. Вернулся на родину лишь в сорок шестом.

Прыткая бабка, задетая за сердце невесткиными уговорами отдохнуть, и представить себе не могла, что выпадет такое времечко, когда и делать-то ей будет нечего. Бывало, скажет: «Э-эх, молодница-а! Всё второпях да второпях и роздыху за жисть не чаяла! Горби́ла – все рученьки в коросте. К ночи – лишь бы до подушки дотяться. Щец летних, пустых, похлебать – и то недосуг... И пожалиться некому... Теперя, када годики под гору, надеюся, что скоро, на том свете, небось, и отдохну, а тута – не-када!».

Вот уже лет шестьдесят как отдыхает... Видно, надломила её такая вот, в нехватках и постоянных заботах о пропитании, жизнь. Правда, перед смертью успела она налюбоваться на возмужавшего за долгие и суровые годы сына, пожила под его крылом, натетёшкалась и с двумя народившимися, после-

военными, внучатами – Михаил с Нюрочкой нажили ещё дочь Галину и сына Николая.

Рождение детей, обихаживание развороченной минами и снарядами землицы – всё это будет потом, после войны. А пока, в самом её начале, артиллерийскую часть, в которой служил Михаил, срочно перекинули сначала в район Киева, на Днепр, а потом под Полтаву. Враг навалился такой машиной, что устоять уже не было никакой возможности. И вот тут судьба преподнесла ему случай, о котором мой дед Михаил, мамин отец, потом помнил всю жизнь.

Ещё с Ирана пришлось ему служить в одной артиллерийской роте со своим земляком Кудиновым Иваном. Когда под Полтавой часть их чуть не попала в окружение, отчаявшийся Иван, визжа от возбуждения и страха, предложил Михаилу под шумок бежать, мол, того гляди, фрицы всех нас одним чохом в землю вруют. Глазёнки его хитро-беглые, что глядели рассыпью, не могли скрыть его нутра: всякого обведёт вокруг пальца.

Михаил аж зарделся в гнев: «Как бросить погибающих один за другим товарищей?! Нет уж! Что всем – то и мне!» – решил он и пригрозил застрелить земляка, если тот ещё раз заикнётся ему о побеге с передовой. А с Михаилом шутки плохи!

Правда, Иван, улучив минуту, всё равно дал стрелкача. И ни разу за все годы войны пути их больше не пересекались.

А когда дед Михаил вернулся с фронта, как-то на Медовый Спас объявился на его пороге тот самый Кудинов Иван. Слухами земля полнится: оказывается, со времён освобождения Брянщины от фашистов возглавлял там (глазки хитрющие, гусь ещё тот!) какую-то деревоперерабатывающую фабрику или что-то в этом роде. Гость – на порог, а дед посмотрел на него пытливым взглядом, даже руки не подал, молча вышел вон. С чего бы вдруг?

Иван ушёл, и бабушка Нюра ни с того ни с сего накинута на мужа, не давая себе труда с ним церемониться, осерчала, зашуняла: мол, что ж ты так-то фронтового товарища задичился, с чего так на него взъелся? Что за муха тебя укусила?

Тут уж дед не стерпел (пустоболтом никогда не был): не топясь, раздумчиво покачивая головой, свернул козью ножку, покурил, потушил окурок о каблук сапога, а потом всё, что тяготило его душу, выложил жене. Ни с того ни с сего накинулся на земляка! – мол, развесила уши, слушай больше этого балабала! Был бы дельный мужик! Нечего с ним церемониться! Волк ему брянский товарищ, а для меня он – на веки вечные предатель и дезертир! В такую-то минуту дал портки! Чего хорошего от него, подлеца, дожидать-то?..

Деда Михаила, участника несчётных боёв (иконостас за них – дай Бог каждому!) угораздило побывать в таких крутых заварушках, из которых и самому ему не верилось, что и выкарабкался. Но, видать, сам Господь его хранил. Довелось маминому отцу сражаться и в июле сорок второго на Волге, под Сталинградом, и летом сорок третьего на Орловско-Курской дуге, и освобождать родные места.

Тогда часть его вела бои в направлении Калинова куста и Дмитровска. Помню, бабушка всегда щуняла дедушку: мол, чуть хату родную из своей пушки в щепки не разнёс. До родного Кирова-то оставалось всего ничего – восемь километров! Узнав, что Михаил почти на пороге своего дома, командир пообещал, как прорвутся на городишко, дать трое суток отпуска. Но предстоял жутчайший бой...

Очнулся солдат в госпитале в Алма-Ате. Перед глазами – круги разноцветные. Вся правая сторона исполосована, изуродована, мясо вырвано до костей, концы рёбер срублены... Сплошные бинты. А домой о том – ни весточки, ни полнамёка...

Тот бой одиннадцатого августа сорок третьего года, в котором дедушку тяжелейше изранило, остался в семейной памяти и ещё по одной причине... Уже несколько ночей кряду наша артиллерия выкуривала немцев из Кирова. Бабушка Нюра с маленькой дочерью и свекровью уходили с вечера со своего двора в самом центре села и прятались в крепком подвале у Баженовых, которые жили на самом краю села, ближе к Игино. Старой бабке не доставало мочушки каждый вечер таскаться в убежище, вот и говорит она невестке: «Молоди́ц,

я нынче никуда не пойду, ховайтесь без меня. Лягу я у этой вот стеночки, глядишь, ничего со мной за ночь и не случится». Нюра заперечила (курицей квёлой никогда не была), сгребла бабку в охапку, и не слушая её ворчания, отвела в подвал. Ночью наша артиллерия почти разнесла Кирово. В Нюриной хате выбило одним махом именно ту стену, за которой надеялась спрятаться бабка. Спору нет, невестка спасла тогда свою свекровь от верной гибели.

А Михаил полгода провалялся по лазаретам, и снова – фронт. Прошагал половину Европы, до Сандомирского плацдарма. Освобождал узников концлагеря Равенсбрюк. Здесь, в Польше, и застала его Победа... А потом была ещё и Чехословакия!..

Чего только не случилось на войне?! Как уж так вышло? Воистину: пути Господни неисповедимы! В Равенсбрюке томился попавший в плен ещё в сорок первом под Минском брат бабушки Нюры Василий. При воспоминании о встрече у ворот барака № 7 концлагеря и дед Михаил, и дед Василий никогда не могли сдержать слёз.

Как сейчас вижу: приедет, бывало, бабушкин брат из своего Мартьяново к нам в гости на Престол, а уж на День Победы – обязательно (заранее дня за два, чтоб помочь сготовиться к празднику, и уедет дня через два после). И всё-то деды рядышком, всё-то не наговорятся.

На праздник, откинув все хлопоты (их ведь в деревне вовек не переделать!), усядутся они за заставленный закусками стол, а бабуля уж и с ног сбилась, снуёт по кухне, словно челнок из её ткацкого стана: то холодчику из погреба гусяного принесёт, то кубанок кваску подаст.

Чокнутся деды за встречу по первой, потолкуют. В который раз расскажет дед Василий, как выживал в фашистском застенке, о том, как за ночь под страхом расстрела по приказу немецкого офицера он (никогда не бравший в руки швейную машинку!), сшил немецкий китель (распоров старый и используя его вместо выкройки).

Не чокаясь, стоя, выпьют они по второй – за павших своих

друзей-товарищей. Сколько их полегло за четыре года войны? Страшно и подумать... Под Минском в сорок первом остался полк деда Васи... Он, контуженный в том бою, да ещё горсть ребят из их роты попали в плен... Помянет и дед Миша свой расчёт, который накрыло вместе с пушкой под Курском, когда он по счастливой случайности был вызван к командиру роты.

До сих пор отчётливо памятно: нальют деды по третьей, подзовут бабушку: «Да присядь ты, Григорьевна, не колмотись! Сама-то, чай, не меньше нашего хлебнула!». Утрёт бабуля кончиком фартука подкатившую слезу: «Да уж! Верёвку на маленькой вязанке никогда не затягивала, всё старалась на горб поболее взвалить... За Победу, родные!».

ХОРОШО ВОЙНУ СЛЫШАТЬ, ДА ТЯЖЕЛО ВИДЕТЬ

Игинскому мальчишке Ване Андрияхину, впоследствии моему отцу, заброшенному волей судьбы в далёкую шахтёрскую Чумаковку, в середине сентября 1941 года, когда на Донбасс вступили немецкие войска, было всего ничего – семь с половиной. Но события той поры так потрясли ребёнка, что каждый день до мельчайших подробностей навсегда врезался в его память. Не забыл он и первую встречу с оккупантами.

...Наши оставили Донбасс, немцы вот-вот вступят в Чумаковку. Отступающими поспешно взрывались последние шахты. В посёлке на погибель, на поруху – безвластие. Начался грабёж магазинов и лавок. Малочисленные отряды милиции не справлялись с ситуацией. Выловленных мародёров выводили за бахчи, в заболоченное местечко Ларинка и там без суда и следствия, по законам военного времени, безжалостно расстреливали.

По соседству с семьёй Андрияхиных жили курыне Винокуровы, отец и мать работали на чумаковской шахте. У них – парнишка, ровесник Вани. Мальчишки – сердца шальные, народ бесстрашный. Ваня со своим дружкой Колькой Винокуровым в тот день пробрались через выбитое окно в никем не охраняемую контору шахты БИС 11-21. Пошуровали по шкафам, обнаружили конденсаторы. И ну их потрошить, набивать карманы

выдернутой из них фольгой. Несмыслёныши, ребячество! Думали: золото! Только перелезли обратно через забор конторы, слышат крики: «Немцы! Немцы!» Пацаны – к Ване домой! Золото прятать! «Чёрт их знает, кто они – немцы эти?».

Народ, высыпав из домов, стоял у калиток за горожей, а вдоль посёлка шли врассыпную немцы – рукава засучены, в яловых сапогах (у нас-то – кирза!), автоматы наперевес. У некоторых ещё и пистолеты на взводе. Тьма тьмущая! Всё равно как мошкары летом.

Собак, разрывающих своим брёхом крошечную тишину, фашист стрелял без разбору. Поравняется фриц с домом – огладит сапогом калитку, яблок пилотку через край надерёт, жрёт-похрустывает. Рубанёт куцкой (кнутом, схожим с нашим батожком, плёткой) – так у курицы голова в мальвы и покатится. Подберёт немчина рябку, прицепит сзади за ремень и давай за другой охотиться.

Крик, мычание, кудахтанье, поросячий визг! Выволокли у соседей Сорокиных из хлева двух поросят, по пуле – в ухо и потащили со двора. У других соседей-татар одну за другой перестреляли шестёрку овец и – на полевую кухню.

Сейчас отцу восемь десятков. Нелегко даются ему эти воспоминания. Он то говорит взахлёб порою, с яростью, порою, умолкает, плачет... Снова окунается в сорок первый, старается припомнить своё изломанное, израненное войной детство, останавливается: «На сегодня хватит, итак теперь не заснуть», но спустя минуту, растереблённая его память снова не даёт ему покоя, и он говорит, говорит...

После шествия и беспредельного грабежа немчуры посёлок будто обмер. Ночь подошла, тишина – гробовая!

А на следующее утро не заставили себя дожидаться, спозаранку явились полицейские: «Телефонные аппараты и радиоприёмники безотлагательно сдать в комендатуру!».

К октябрю последние запасы харчей иссякли, надвигался голод. К общим бедам в семье Андрияхиных добавилась ещё

одна – бабушка Наталья не могла заниматься добычей продуктов. С середины августа целый месяц лежала она с переломанной левой ногой в Сталино (в Донецке) в больнице. Сопровождала вагонетки с углём, поднимая их на террикон, уж почти и на-гора вышла, как вдруг сорвавшаяся глыба антрацита упала ей прямо на ногу. За день до того как немцы вступили в Чумаковку, коногон их шахты привёз бабушку Наталью из больницы домой. Бабушка – на костылях, в посёлке – фашисты, в доме – голод... «Ох, и томнёхонько!».

При отступлении, чтобы не досталось врагу, на товарной станции наши подожгли склады с пшеницей и кукурузой. Соседи Андрияхиных, как и многие в посёлке, кинулись к складам. А когда пошли и Ванины сёстры, Надя с Нюрой, и с ними живший неподалёку шахтёр-китаец со своей женой, хохлушкой Лизой, то попали под взрыв склада. Лиза погибла на месте. Вернувшись, несчастные приготовили кашу из полугорелого зерна, да чуть не отравились.

Собрав кой-какую одежку, ходили её менять на продукты в село Мандрыкино, за семь километров. На брошенных овощных совхозных полях, что раскинулись неподалёку от Чумаковки, кто успел, собрал истоптанный, истерзанный урожай лета 1941 года.

Рядом с Ваниной семьей жил одинокий старичок. Потихоньку-помаленьку насобирали он на тех полях целый мешок столовой свёклы. Как уж прознали о его скудных запасах объявившиеся с наступлением голода грабители, только соседи нашли старичка с проломленной головой; конурка обобрана до нитки, конечно, исчез и злосчастный мешок со свёклой.

Не убоявшись надвигающейся зимы (что ещё может быть ужасней войны?!), с горечью на сердце от невозможности повернуть время вспять народ потёк из Чумаковки. Хоть куда-нибудь, в какую-нибудь самую глухую деревеньку, но только бы уйти из заголодавшего Донбасса! А бабушка спала и видела вернуться на Орловщину, в Игино...

Двадцать первого декабря сорок первого года, погрузив невеликий скарб свой на самодельные санки, Наталья Андрияхина

с дочерьми Надей, Шурой и Аней, с маленьким Ваней, на ногах – глубокие галоши, портянки с поворозами, ни свет ни заря выехали из Чумаковки. (Самая старшая сестра Нинила и брат Петя вернулись на родину, в Игино, незадолго до начала войны).

От Сталино (Донецка) – скопище людское, кругом галдёж, сплошной поток беженцев... На крутолобине храм без маковки... Бабушка Наталья ещё с костылём – перелом ноги давал о себе знать. Вместе с дочерью Надей тащили они на салазках побывавший на Донбассе игинской сундук. Санки чуть поменьше везла Шура. Сверху, на поклаже, на её санях пристраивали Ваню. Шли обочиной.

Сдружились с семьёй Андрея Грачёва, она добиралась тоже на Орловщину, в село Апальково. Чтобы не сбиться с пути, дядька Андрей раздобыл где-то карту, по ней и передвигались. Прикидывали: добраться бы до Сум., потом – Курск... Обо-янь... Лубянки... Гнездилово, а от него до Игино – рукой подать, с завязанными глазами свою хату найдут...

По дороге, устремляясь всё дальше на восток, страшной лязгающей армадой беспрерывно катили германские танки, машины, крытые брезентовые обозы, мотоциклы. Кюветы завалены лошадиными и людскими трупами, развороченной техникой: и с паучьими знаками-свастикой, и с красными звёздами. На полях – занесённые снегом крестцы ядрёной украинской пшеницы. Чернеют пожухлые, перестоявшие картузы подсолнечника. Покинутым лесом шуршат-перешёптываются будыля перезрелой, необранной кукурузы. Кормились чем приведёт Бог. Растирали хлебные колосья, веяли на студёном ветрище пшеницу, обжаривали зёрна на приобоченных кострах. Шелушили подсолнечник, ссыпали в чувальник семечки. Выкручивали жёсткие каляные початки.

Когда вечер переступал порог глухой ночи, когда напрочь опрокидывался тёмный купол небес и высыпала колючая россыпь Млечного пути, доползали до очередного селенья. Втащив в сени санки с хархарами, измождённые и окоченевшие, упрашивали сжалившуюся хозяйку, пустившую на ночлег, напарить назавтра в дорогу полный чугу́н кукурузы. Украинки, как во-

дится, – добрейшие женщины. И обувку-одежду просушат, и вареников, хоть с бульбой, а настряпают – к столу позовут и спать уложат. И поутру в дорогу узелок со шматком сальца, с галушками сготовят.

Война научила Ваню многому: и побираться, просить милостыню – тоже. Может, оттого у отца моего всю оставшуюся жизнь при воспоминании о детстве перед глазами возникал кусок хлеба, поданного ему из милости. Поэтому и на тарелке он поныне никогда не оставляет недоеденный кусок...

Зачастую семья останавливалась на краю встретившейся на пути к дому деревушки и мальчонку посылали по дворам. К этому времени он разучил много новых песен и, обходя хату за хатой, пел их, ничуть не смущаясь, на все лады. Паренька жалели, подавали, хоть и у самих не густо (война!) Обойдя деревню из конца в конец, Ваня возвращался к своим. В карманах – хлеб, блины, вареники. Обступят его сёстры, первый кусок – Шуре (на салазках-то она Ваню везёт).

Из продвижения по Украине врезалась в память семилетнего ребёнка картинка: конец января, лесистая дорога, небольшие селения... И на спуске, на выезде из одной деревушки, пристроился дед. Стоит с самоваром..., как диковина. Сколько так стоит, никто не ведаёт. Кипяток для беженцев греет. Вместо заварки – яблочная да грушевая сушка. Всем желающим наливают в «люминиевые» кружки огненный чай. Святой человек! Кланялись ему до земли. А время лютое, февральское.

*...Знать не можешь
Доли своей,
Может, крылья сложишь
Посреди степей...*

Однажды вечером поднялась несусветная метель, дорога – в гору. Кое-как добрались обозники до сельца. Ветрище гудит, лютой собакой воет, разметал вдоль улицы «притуги», которыми для тепла обкладывали испокон веку и в России, и на Украине стены изб.

Забрели они на двор, Наталья двинулась к крыльцу. Смотрит: а на порошках женщина замёрзшая сидит. Видать, настолько обессилила, что до двери дойти последнего шага не хватило. Рядом с нею саночки. А на них – два ребятёночка укрытые. Живенькие! Жалостливые хозяева приютили Наталью с детьми на ночь и малышей погибшей беженки оставили у себя.

Добравшись до местечка Грайворон, с ужасом обнаружили: потеряли Аню! И немудрено – двигался жуткий людской поток! И на машинах, и на лошадях, но в основном – пешком. С сумарями, корзинками, кошёлками, рюкзаками, сундуками, термосами, авоськами. Бабушка Наталья чуть не очумела. Наказав детям продвигаться вперёд, заметалась среди беженцев, кинулась разыскивать дочь. Чего бы она только не отдала, только бы сыскалась пропавшая Аня. Лишь спустя три дня догнала она своих ребят, ведя за собой зарёванную словно млечный младенец Аню.

Разные люди встречались на их долгом, мучительном пути: и душевные, сердечные, были и злыдни. В тот, навсегда оставшийся в мальчишеской памяти день, под Курском, уж и пятна промёрзлых окошек засветились, попросились они на постой. На улице – холод лютый, собаку из дома не выгонишь.

Хозяйка впустить впустила, но весь вечер поедом ела, по глазам завистливо стебала, через плечо кидала: «Что? Съездили за длинным рублём?». И спать уложила на полу в холодной половине хаты. Изморенные, валившиеся с ног, беженцы были рады и такому приюту. Свернулись клубочками и потонули в жутких сновидениях, продолживших их такой же жуткий дневной путь.

Упали, значит, на брошенную хозяйкой охапку соломы и тут же заснули в темени, да особо и замечать-то было некогда, не разглядели в углу телка. За ночь продрогший телёнок измочил всю солому, на которой спали несчастные. Когда осветлилось, по раннему холоду утра мокрые и голодные двинулись они своим путём-дорогою.

А было и такое. Как-то в середине марта хозяйка их, радуш-

ная баба, растопила печь, накормила чем могла, даже помыться воды согрела – за тяжкий день хоть какая-то награда. Хлопота-ла жалкая вокруг них словно вокруг близких родичей и, собрав разбитую, растрёпанную обутку, пристроила её, как на грех, на ночь в печь, на просушку.

Утром, отодвинув заслонку, обнаружила заботная ворошок угольёв... И ну в голос! Мол, не казните, дайте во грехе покаяться! Что тут скажешь? О невозвратном голосить – воду решето носить, вчерашний день искать. Поахали, попричитали они с бабушкой Натальей, а потом обмотали бедолажные тёткины постояльцы ноги тряпьем – и вперёд, только вперёд, домой в Игино, на Мишкин бугор.

А в селе Обратеево отправился Ваня побираться (совсем отошали, ничегошеньки в материнской суме из припасов не осталось) и понравился он одним деду с бабкой. Раздели они мальчишку, накормили, на печь погреться усадили и давай вещи сны рассказывать, уговаривать у них остаться. Ваня – ни в какую: свои дожидаются! Ну что ж? Насильно не удержишь. Набили ему карманы старики яблочными пирожками да за ворота спроводили.

А по Ване мамка с сёстрами уже истомились: «Кормилец ты наш!» – кинулись ему навстречу, обрадовались. Парнишка пирожки из карманов вытряс и расхорохорился: «Ещё пойду!». Бабушка Наташа просветлела лицом, прослезилась: «Милай ты мой, роднай! Вот те крест! Сгибли б без тебя давно!». Перекусили, передохнули – некогда ворон да галок ловить – снова в путь. Только бы дойти, только бы к стенам родимым прикоснуться.

...Обратеево – Лубянки – Городище... Уже и Игино в нескольких верстах. Но двадцать девятое марта залысели под ярым солнышком пригорки, разлилась коварная Чечора-река, снесла мостушку, половодье – неоглядное. Напрямки в Игино никак не добраться. Втащили санки на Гнездиловскую гору, а с неё – под уклон, через кладку, на «Свободную жизнь», пять вёрст крюку. В ту самую деревушку, где ещё девчонкой бабушка Наталья работала белошвейкой в имении барыни Шеншиной. Места до кустика, до малого ложка знакомые – по этой самой

дороге бегала она когда-то «на работы» из Волчьих Ям в барское поместье.

Вербная заутрени. На дороге, на полях – месиво из последнего слядяного снега, а в нём блестят золотистые прожилки соломы. Дух подтаявшего вешнего суглинка и навоза. Тёплый материнский запах земли... В лужинах не то что курица, корова напьётся. От пригорков – зыбкий парок.

Старались двигаться гуськом по натопанной за зиму до выпуклости стёжке. Когда, наконец-таки, почти босые, на ногах – пропитанные грязью лохмотья – объявились на деревне, всю чернилил поздний вечер. Заночевали у Макеевой Ольги (по уличному – Коробу́хи).

...Ещё не разродился, не забрезжил рассвет, ещё над пожжённым барским садом вязала свет недотлевшая луна, когда бабушка Наталья подняла своё семейство. За ночь грязь стянуло морозом, закоченели волглые бутончики цветков первой мать-и-мачехи, но день обещал обтеплиться, быть погожим: надо торопиться пока не отпустило – легче будет пробираться по полю, разделявшему Свободную и Игино.

Деревушка наша лежит на двух высоченных пригорках: Требучине и Козловке. В низине, по лугу, пробиваясь из дальних Гороней, проскальзывая по оврагам мимо Закамней, подцепляя родниковую струйку из Хильмечков, бежит-торопится к Кроме ишлѣпанный ребячьими цыпочными ножонками; изгаженный у колдобин гусиным помѣтом; исхлопанный, расплѣсканный до последней капельки вальками игинских баб, самый дорогой для каждого моего земляка ручей Жѣлтый.

В тот день, тридцатого марта сорок первого года, дикое половодье ворочало камни-валуны на Жѣлтом, вырывая их из оврагов и с грохотом перекатывая по затопленному грязными, омывшими бугры и пригорки вешними водами лугу.

Слухи у нас разлетаются со стрижиной скоростью. На деревне уже знали, что Наталья «с выводком» возвращается с «шахт» домой. Намыкавшиеся по военным дорогам беженцы, бросив санки с пожитками на Свободной, доплелись, наконец-таки, до

Игино. Зашли со стороны Требучины. Под горой – потоп, на ногах не пойми что. Как перейти на свой урынок Козловку?

И вдруг с неё, с противоположной стороны половодья, прямо в чунях и полушубке в воду бросился Фёдор Редькин (а то сколько ж у моря погоды-то дожидаться?), тот самый мужик, что отвозил их на лошади зимой тридцать восьмого до Кром, когда они уезжали в поисках лучшей доли на Донбасс. Выскочил он на Требучину – некогда чесаться – подхватил Ваню и опрометью – назад, прямо через поток, на козловский берег. Что тут делать? Спятили с ума – кинулась вслед за ним и бабушка Наталья, а за ней и девчонки!

Перебрались и – скорей сушиться к Татьяне, Натальиной сестре. Перед самой войной вышла и она замуж из Волчьих Ям в Игино, во двор Блиновых. Наконец, с души Натальиной, материнской, хоть чуток отлегло – все дети при ней, за едино дыхание: и Нинила, и Петя, и Надя, и Аня, и Шура, и маленький Ваня.

На следующий день (ночью-то Наталье ни сон нейдёт, ни дрёма её не берёт), затемно, когда под застрехами сараев ещё лежали густые молчаливые тени, – кто ж стерпит? – отправилась Наталья, прихватив с собой Ваню, в родную избу. Уезжали – окна и двери – горбылём накрест, на косяк – замок.

Со страхом и трепетом вошли на подворье... Пожухлые, надломленные травы, будто бабья доля, стелились по ветру. Крыльцо, окружённое прошлогодним и в человеческий рост, репейником и крапивой. Поросшие мхами, рассыпавшиеся входные ступени. У крыльца в бурьяне – стопка худых ведёрок. Рядом с крылечным камнем, на кленовом суке забытые верёвочные качели. Даже выбитая, начищенная голыми ребячьими пятками до блеску земля под ними – и та затянулась подорожником да вездесущей гусиной лапкой.

Двери в избе расхлебены. Тихо, как в гробу. Перемёты – и те выпилены, рамы выбраны. Голо, словно в избе этой бобыль проживал, в хозяйстве горшок не на что повесить. Мамай прошёл! Подворье, войной порушенное, и своё – не своё.

Ни широченных лавок под окнами, на которых проходила

вся жизнь избяная – и сидели, и спали, – ни стола с сучковатой столешницей, что справил им когда-то на их многоголовое застолье дед Сергей. Нет и телятника, на котором обычно спал Петя. А по правую сторону от дверей выдран Ванин коник, где, бывало, по ночам под лоскутным одеялом виделась такая небывальщина, что на утро мамка и сёстры ухохатывались над Ваниными рассказами.

Уцелела лишь угловая пузастая печка. С трещинами-ходами для пронырливых клопов, которых Ваня, бывало, выкуривал оттуда подожжённой лучинкой, да с громадными, на всех разном, полатыми. Ни постилочки на них, ни какого худого веретья... На подоконниках в треснутых черепушках и безносом чайнике – засохшие бальзамины, усеянный меленькими сушёными зелепупками скукоженный стручковый перец.

Зато, по счастливой случайности, на радость Натальи, успевшей размотать свою зимнюю, бурую от старости, прикипевшую к её груди шалёнку, не тронуты оказались в подпечье ни её ямки, ни чапельники. Вытащив их наружу, разостлали там, в тёмном местечке, соломки, усадили в это гнёздышко выделенную из своего скудного хозяйства тётушкой Татьяной чёрно-белую хохлатую курицу (нравом – шёлк). Обустроили и подсыпали под пеструшку придаренные к ней, принесённые в подшалке тринадцать яичек. На развод, на обзаведение хозяйством.

Но не суждено было по новолетию выпустить Наталье у завалянки цыпляток...

«НОВЫЙ ПОРЯДОК»

На двадцать два тяжких месяца, со второго октября 1941 по одиннадцатое августа 1943 года, мои родные земли накрыло лютое ненастье – фашистская оккупация.

Андряхины вернулись домой ранней весной сорок второго, когда немцы уже вовсю хозяйничали и в Кирово Городище, и в Игино. От односельчан Наталья узнала и последние игинские новости, и о том, как жили они перед самой оккупацией в июле-августе 1941-го.

Сорок первый был урожайным. И рожь уродилась, и яро-

вая пшеница, и гречиха, и картошка. Для нужд фронта из Кировского колхоза были отправлены сразу же все автомашины и трактора, большая часть лошадей. Но спешно, чтобы урожай не достался врагу, организовали уборку вручную. Мобилизация увела с полей самых рабóтных мужиков, родившихся с 1905 по 1912 годы, и, конечно, основная тяжесть во время уборочной легла на плечи женщин, стариков и подростков. Хотя и наладили двухсменку, сил всё равно не хватало. Убранные с полей хлеба оставались необмолочены. Надеялись: справятся осенью и зимой. Овины под завяз забили снопами, хлеб оставался и в скирдах. (Но фашисты – что им до баб и детишек, до неминуемого голода? – пожгли хлеба трассирующими пулями).

Из жителей Кирова и Игино сформировали отряд, направленный на строительство оборонительных рубежей на западе области. В него входили: Андрияхина Нинила (старшая моя тётушка), Стёпина Клавдия, Стёпина Наталья, Полетаев Афоня, Губарёв Илья, Губарёв Василий, Михалёва Прасковья, Губарёва Вера и другие.

Прихватив месячный запас продуктов, на двух колхозных телегах, по шесть человек на каждой, выехали они на Брянщину. Вместе с ними, собранный из моих земляков, ушёл и истребительный отряд под командованием члена райкома партии кировского коммуниста Ивана Михайловича Леонова. Больше месяца и рабочие, и истребительный отряд рыли лопатами заградительные, противотанковые рвы.

Но когда немцы девятого августа оккупировали северо-западные районы Орловской области – Рогнединский, Дубровский, Клетнянский – и обошли стороной эти сооружения, рабочим, чтобы не попали в окружение, было приказано спасаться как можно быстрее. И бабы, и пацаны, побросав кирки и лопаты, под прикрытием своего истребительного отряда кинулись врассыпную.

*... И буди проклята на всем на белом свете –
Уж как это зло великое, несчастъице!..*

А мужики озлобились, примкнув к трёхлинейкам штыки, остались в вырытых ими рвах встречать надвигающегося врага.

Пятнадцатого сентября наступление немецких войск на Брянском фронте было остановлено. В яростной штыковой атаке Кировский истребительный отряд не только отстоял свои заграждения, но и так шуганул врага, что тот даже драпанул, попятился на несколько километров назад. Настигая фашистов, «нанизывали, прикалывали нечисть к Брянской земле». Когда, наконец, на помощь подоспели наши регулярные войска, отряд влился в их состав.

По воспоминаниям Ивана Михайловича Леонова (однофамильца командира отряда, прозванного для отличия Мужик), когда после этого боя, к вечеру, подкатила полевая кухня и выдали ложки, кировцы не могли ими есть. Руки от напряжения и пережитого первого столкновения с фашистом так тряслись, что бойцы кулеш из котелков вынуждены были хлебать через край.

...Сдержат валам накатывающую армадину нашим не удалось. И уже тридцатого сентября фашисты прорвали левое крыло Брянского фронта. Вторая немецкая танковая группа генерал-полковника Гейнца Гудериана предприняла наступление на северо-восток – на Брянск, Карачев, Орёл и бронированным клином, беспрепятственно продвигалась по большаку Дмитровск–Кромы–Орёл. По просёлочным дорогам, словно пауки, расползались немецкие мотоциклисты. Второго октября враг был уже и в Дмитровске, и в Кромах, и в нашем районном центре Сосково, и в Кирово–Игино.

В начале войны кировские коммунисты по приказу райкома партии готовились к сопротивлению, к подпольной работе. Кроме Леонова Ивана Михайловича в эту группу входили: Шилкин Иван Семёнович (секретарь Кировского сельского Совета), Чириков Алексей Карпыч (перед войной – председатель колхоза имени Кирова), Солодова Дарья (член исполкома сельского Совета), прославившийся в годы Гражданской войны Шелобоков Алексей Фёдорович и его племянница Антонина, Солодов Хрисантий Емельяныч (член президиума Кировского сельского Совета).

Немцы прорвались настолько внезапно, что все задумки

организации серьёзного партизанского сопротивления в Со-
сковском крае были в одночасье разрушены. Колхозы сразу
же разогнаны, а их земля немцами поделена по дворам.

Германский имперский министр Альфред Розенберг объя-
вил в своём распоряжении от шестнадцатого февраля 1942 года
новый порядок землепользования, за которым присматривали
старосты и полицейские, доводя до населения приказы и рас-
поряжения немецких властей. Фашисты старались вербовать к
себе на службу уважаемых, авторитетных среди жителей Киро-
во и Игино людей. Так, старостой служил у немцев кировский
коммунист Чириков Алексей Карпыч, ушёл по своей воле в по-
лицию и игинской коммунист Шилкин Иван Семёнович.

Новый германский порядок, изничтоживший под корень
колхозы, как убеждали теперь на каждом сходе бывшие колхоз-
ные активисты, обещал «построение свободного и рациональ-
ного сельского хозяйства». Фашистам грезилось: организуй
они крупные поместья, а дальше, постепенно русская деревня
перейдёт на капиталистический лад. Вместо колхозов возни-
кали общинные хозяйства. Собственно говоря, они являлись
переходной формой к единоличному хозяйствованию и подчи-
нялись уездному сельскохозяйственному штабу во главе с не-
мецкими офицерами.

На время войны сельская община безоговорочно должна
была снабжать продовольствием германскую армию. Вводи-
лась обязательная трудовая повинность. Почему ж не похо-
зяйствовать, применяя на всю катушку дешёвую рабочую силу
подневольного населения, управляемого кнутом немецкого
надсмотрщика? Выкачать, выжать все соки из оккупированных
земель ради благоденствия высшей немецкой расы, а там – хоть
травушка на них не расти – вот и весь секрет, единственная
цель «нового порядка».

Живуч русский человек, вынослив! Ранней весной сорок
второго, в оккупацию, голодая и нищенствуя, Андрияхины до-
брались, наконец-таки, по немецким тылам до родной деревуш-
ки и начали помаленьку (в такие лихие времена!) обживать.

Народ у нас – не сундук бесчувственный – жалостливый. Соседи тащили кто лавку, кто стол. Пока невесть из чего муж тётки Татьяны вязал рамы, окна избы заткнули соломой и принялись обживать углы.

Смотались в Хильмечки, притащили кой-какого лапнику, с Кромы – рогозьев, устелили пол. Сверху – навильни, другие соломы – всё теплее. И топили ей же – старой, полутнилой, из забытых, довоенных ометов. Подымит-подымит солома, потом – пых! – и как не бывало. Кирпичи печные прогреться не успевали. Надо бы дровишками, да откуда их взять-то, коли в лесах во всей волости немцы свели подчистую все дубы (после того как в Ярочкином логу, где остались ямины после довоенной разработки торфа, перевернулся немецкий танк и погиб весь экипаж) – гатили торфяники и болота для проезда грузовиков и танков. В лесах – ни орешины, всё до хворостиночки вырубили на топку.

На кировских низинных землях испокон веков разрабатывались торфяники. Подсуетись по теплу – можно хоть как-то перебедровать холода. И тальника, хмызника там же, по торфяникам – бери не хочю. А в Игино, разбежавшемся вдоль двух пригорков, с «топлей» – беда. И после войны, до самого пятьдесят третьего (пока не объединились колхозы), не позволяли срезать игинским на кировских угодьях ни лозиночки, даже на корзинки. Мужикам приходилось для хозяйских нужд: на плетушки, кубари да и на ту же топку воровать тальник у кировских по ночам. Но лесники-обходчики летом – по росному следу, зимой – по снегу выслеживали «покусителей на колхозное добро», и дело доходило до суда.

...Спустя две недели как вернулась Наталья с детьми домой, к своим разбитым корытам, пришли к ним Афоня Полетаев и Степан Михалёв. Оба начищенные, в новенькой полицейской форме, на рукавах, как и полагалось, – паучьи повязки. Пришли, значит, и уселись на коник. В руках по корзинке. Хата Андрияхинская – крайняя, с неё и начали побор. Вот, мол, так и так, тётка Наталья, начал зубастый Степан, собираем по приказу немецкой комендатуры яйца.

– Ой! Боюсь вся! Напужал! Ты чей будешь-то? Кажись, по деревне ты михалёвский? А по морде – с места не сойти – бандит бандитом! Разевай рот шире! Какие ж вам яйца, ироды, когда я тока-тока надюсь с дороги? Лёгкое ли дело оттоле дотопать?... Нешто сама вам яиц нанесу? Не пособить, а последнюю рубаху готовы анчибелы снять, – платок сбился на затылок, оторвавшись от постирушки, на ходу сноровко отжимая тряпку, вытирая руки о подол завески, не стерпела, дала дрозда паразиту уверенная в своей правоте и всё ещё не научившаяся мириться с потерями бабушка Наталья.

А тут, как нарочно, пеструхе (птице этой «синей», на которую вся надежда была!) то ли пить захотелось, то ли подошёл черёд промяться. Вышла она из-под печки и спокойнёхонько – к плошке с водой. Горлышко промочила, лапками соломку пошерудила – нырь на место, в подпечье. У Натальи аж сердце захолынуло! Афоня, гусь лапчатый, – ни слова. Только перекинул на скривившихся губах из угла в угол цигарку.

– Ё-мое! Сталбыть, по дороге, говоришь, снесла? – сощутив свои круглые поросёчьи глазки, шлёп Степан на пузо перед печью и – ширк – одним махом выгреб яйца из-под курицы.

– У-у-у! Ты гляди, что делается-то! Со дна моря вынет! Христа на тебя, злыдня, нету!... Да ведь ладно бы свежие, а то – насиженные! – Наталья полезла на рожон – прядка выбилась из-под подшалка, застила глаза, а она, не замечая того, раскраснелась, чисто девка, выхватила из корыта недостиранный рушник и хватъ полиция по загривку, взашей.

– Молчать у меня! Нечего переливать из пустого в порожнее! Разлалакалась! А мне, говорю тебе, какое дело? – как об стену горох, отбивается он от бабы. – У меня приказ: к вечеру две корзины доверху натереть! А свежие ли, с цыплятами – до того мне и дела нету!

И вон со двора. И взятки гладки...

В полицейские попадали по-разному: одних (в основном мальчишек) загоняли насильственно. Так, от опаски, оказались в полициях Иван Ходёнков, братья Редькины. А были и шавки,

кто сам ластился. Среди них – Полетаев Афанасий, Михалёв Степан (те самые, что выгребли из-под печки у Натальи Андрияхиной даже насиженные курицей яйца), сами пришли в полицаи и Сидоров Евгений, и Шатунов Пётр. Ну, так известно: своя воля страшной неволи!

Помнят мои земляки и фамилии старост: Винограденко Николай (шахтёр, прибывший в Игино в то же время, когда и Наталья с детьми, и улизнувший от наказания, затерявшийся где-то потом на Донбассе), и местный Полетаев Данила.

Не забыли и бои зимой сорок третьего, и участие в них наших полицаев. По воспоминаниям отца знаю об этих событиях и я. В феврале в тот год жали лютые морозы. Вот возьми ты! Детворе стужа, голод – нипочём, в избах не удержишь. Двадцать первого числа игинская ребятня на обмазанных глиной и навозом, политых водой лукошках, в домотканых штанишках – носы хлюпают, лодыжки стекленеют – ползали, что паучата малые, по Сорочкиной горе.

На вечерней заре, часов в пять, слышит детвора: бомбодировщики гудья гудят, тянутся один за другим в направлении широко разъезженного большака, на Дмитровск. И совсем в нескольких верстах, прямо за Хильмечками, за сосновыми глущами, над Новогнездилово, чуть дальше – над Лубянками – чёрное-чёрное небо, прокопчённый постный замороженный блин солнца и несусветный грохот, неохватное зарево. Разбабахалось – всю ночь, до каляной утренней зари.

А на другой день, двадцать второго, спозаранку по утрамбованному немецкими танками просёлку мимо крайней андрияхинской хаты прогромыхала вниз, к савинкиной избе, телега, деревенский ход: «Н-но! Гамыра! Н-но! Растрёпа!». Зима, а тут – не сани, а ход! В наспех слаженной, на цыганский манер, кибитке – куча мала: взрослые, детишки, тут же – чугуны, сундуки, всяческие хархары.

К Фёдору Савельевичу, в низину, вставляя палки в тележные колёса (для торможения), скатился с маковки Мишкиной горы суматошным порядком брат его Себастьян со всеми домочадцами и с прихваченной впопыхах полуобгорелой хозяйской

утварью. За всю свою долгую деревянную жизнь Себастьянова телега не ведала такого гона! В тот же день от двора ко двору поползли слухи: «В Лубянках, Крупышино, Волобуево неожиданно-негаданно высадился русский десант».

А на самом деле было всё вот как. Жители деревни Чувардино девятнадцатого февраля в два часа по полудню под присмотром полицаев были направлены чистить от снега большак Дмитровск – Орёл. Смотрят: катят прямо на них лыжники в маскхалатах: «Ур-ра!» Слово-то какое! Словно благовест прозвучало, вот ублажили! Свои!.. Полицаи, знамо дело, – дёру! А народ было возрадовался: надо же! Красная Армия заняла в тылу врага целую округу!

Разобрали бойцов по хатам. Узнали, что третьего февраля 1943 года на станции Русский Брод высадилась Дальневосточная бригада моряков и вошла в состав ударной подвижной группы войск 13-й армии Брянского фронта. Бойцам предстояло сражаться в тылу врага, чтобы дезорганизовать его силы южнее и юго-западнее Орла, сковать его силы, не позволять передвигаться по шоссейным и железнодорожным дорогам, ведущим к Орлу. (А с выходом на Чувардино под их контролем окажется важная магистраль Кромы – Дмитровск). Одним словом, всячески способствовать успешному наступлению советских войск и освобождению Орла.

Переоделись в белые полушубки, маскхалаты, белые валенки, прихватили трёхсуточный НЗ и стали на лыжи. Оснащены были моряки автоматами, на волокушах – ПТРы. И предприняли дальневосточники рейд по вражеским тылам. Передвигались только ночью по лесам, оврагам и посадкам.

К вечеру двадцать первого отбитые моряками деревни со всех сторон обложили немецкие танки, налетела авиация (те самолёты, что видела, катаясь на горе, игинская детвора). И устроили немцы кромешный ад, хоть ложись да помирай: с неба нескончаемым потоком, словно из преисподней, сыпалась смерть, танки били прямой наводкой, прожигали по очереди избу за избой; ревел скот, всё кругом взялось полымем. Жители – кто в подвал, кто куда!

Начальником кировской полиции фашисты назначили Давы́дов. В волости он являлся полным хозяином (после немцев, конечно). Без его ведома ни один житель не имел права никуда отлучаться, не мог и без уведомления пришлых пускать к себе на постой.

Давы́дов по приказу немецкого командования собрал всех старост и полицейских. Полагая, что его подчинённые задействованы в облаве на партизан, кинул их на подмогу немцам, на уничтожение русских краснофлотцев. Среди тех, кто участвовал в бою против наших моряков-дальневосточников, были: Тихон Хохлов, Аркадий Лебедев, Афанасий Полетаев, Евгений Сидоров.

К утру моряки вокруг трёх деревень заняли оборону – тяжко дело. И разразился кровопролитный бой, в котором погибли две бригады наших лыжников. До сих пор всплывают, из уст в уста передаются в округе нашей то те, то иные подробности яростного, героического сражения краснофлотцев. Двадцатипятилетний комиссар их погиб смертью героя: когда враги окружили его, тяжелораненого, рванул кольца сразу двух гранат, унеся за собой пятерых фашистов; здесь же погиб и застрелен бригады. Сражались до последнего патрона. Когда уже и отстреливаться было нечем, моряки обливали себя горячей смесью и бросались под танки. (Недаром фашисты прозвали краснофлотцев «полосатой смертью»). В бою под Крупышино был смертельно ранен и комбриг 1-й бригады майор Иван Иванович Понтяр.

До двадцать пятого марта во устрашение немцы не позволяли уцелевшим жителям похоронить павших лыжников. Их трупами была усеяна округа трёх деревень.

Зачастую старосты и полицейские, активно, из убеждения работавшие на немцев, в издевательствах над мирными жителями часто превосходили своих хозяев.

Полями и перелесками рыскали полицаи. С ними и кировские-игинские заодно – одним миром мазаны – куда ж деваться-то? – попал в волчью стаю и лай, и хвостом виляя – сдирали армейские полушубки с погибших моряков, и (жутко даже представить!), не сумев стянуть с окоченевших трупов валенки, от-

рубали топорами ноги, привозили на санях домой, оттаивали в печи. А потом со спокойным сердцем разгуливали в них на глазах у всей деревни! Бабы качали им вослед головами: «Кому – война, а кому таперичка – мать родна!».

Мало того! Ведь они ещё за свою «работу» получали зарплату: к примеру: триста-четырееста пятьдесят рублей в месяц – для старосты, двести-триста рублей – для писаря, а полицейские кроме денег получали ещё и продовольственный паёк: около одного пуда хлеба в месяц! (В каждой деревне они назначались немецким комендантом в обязательном порядке). Знать, о Боге «склизкие голяшки» напрочь позабыли и мыслить не мыслили. Страху не было на них, окаянных! Помнит. Всю подлинную правду помнит наш народ. Разве такое забывается? Вовек не знать им прощения!

Воистину, есть времена, которые испытывают души. Какими добрыми словами могла вспоминать Сидорова Евгения Митрофановича моя родная тётушка Надежда (как же ей позабудется?), если по спискам должны были немцы отправить в Германию его, жребий ему вынулся, а он, подлая душонка, тут же перекроился, поклонился ворогам в ножки, сам напросился в полицаи и вместо себя вписал её, девчонку Надю Андрияшину. Не будет ли по старой памяти всю оставшуюся жизнь саднить её душу досада, живя бок о бок в одной деревне с этакой мышью?

...И погнали в мае сорок второго под конвоем немцы, а с ними в помощниках полицаи пешим ходом до Кром игинскую и кировскую молодёжь. Среди них – двух подруг: мою тётушку и её товарку Чеченёву Талю. Правда, с полпути вернулась Тяля домой. В женихах у неё числился Михалёв Степан. Уломал он начальника полиции, мол, женюсь я на Тальке, породнюсь с Чеченёвыми. Что бедной девке делать, надрывай душу: или – за полиция, или – в германское рабство!

В рейхе были созданы невольничьи рынки, где любой заводчик, помещик или кулак мог просто напросто купить себе раба или рабыню (немцы называли их «остарбайтерами», а они себя сами «остовцами»). Несколько месяцев нечеловеческого ка-

торжного труда превращали людей в инвалидов (ими не нуждались, отсылали в Россию), а чаще вообще сводили в могилу. Вот когда раскрывались лживые германские обещания всевозможных благ: высокая зарплата от пятисот до тысячи рублей в месяц, ежемесячные пособия оставшимся родным в размере ста восьмидесяти рублей, выделение лучших наделов земли по возвращении на родину.

Тётушка Надя в расцвете своей весны попала в Германии в работницы на хутор к поволжскому немцу Хансу Нойвурду, который в 1914 году вернулся на историческую родину. И всё у него здесь сложилось вроде бы хорошо: и тугой карман, и не прозевал своё счастье – жена Эльза, как и положено добропорядочной немке, на зубок отточила свои три «К» (кирхе, киндер, кюхе – церковь, дети, кухня), шестилетняя дочка Фрида – капля в каплю мать её Эльза. Что ещё для счастья нужно порядочному бауеру? Живи да сколачивай денежку про чёрный день. Но тут вдруг обожаемый фюрер выбил его планы из наезженной колеи, нацелился прихапнуть львиную долю, ни много ни мало – полмира, а это – не фунт изюма – война, с которой можно вернуться покалеченным или вовсе сгинуть где-нибудь под Сталинградом или Орлом.

«Продувной» бауер откупался от Вермахта и от своей нацистской партии, как мог: частенько к нему на хутор наезжали высокопоставленные гости, устраивались попойки с домашними колбасками, со свойским пивком и шнапсом. Знал, как держать псов на привязи. Корзинами отправлялись вслед отъехавшим гостям свежая забоинка: и птица, и телята-поросята. Чем не пожертвует пройдоха-бауер, лишь бы не угодить на Восточный фронт?!

Переодели игинскую девчонку «Надью» в униформу прислуги: юбку тёмно-зелёного цвета, такого же цвета блузку с накладными карманами, на голову – берет. Точно такую же форму носила и видевшаяся с Надей землячка Павликова Шура, ещё одна игинская девушка, угнанная фашистами в Германию и работавшая на соседнем хуторе.

Хозяин оказался крепким, зажиточным бауером. Дом у него, не то что у игинских крестьян, – трёхэтажный! Для деревенской девчонки из русской глубинки всё здесь было в диковинку: первый этаж – винный подвал, продовольственный склад, второй – кухня, гостиная, а третий – спальни.

И хозяйство у бауера по нашим меркам немалое. Одних коров – двадцать пять! И подоить, и накормить, и почистить! Несколько человек трудились у него на подворье. Правда, Нойбург и сам был не лодырь, частенько помогал Наде доить коров.

За шестёркой лошадей, за телегами на резиновом ходу, за иным гужевым транспортом присматривал у него пленный поляк Юзек. Ленивый был мужичок. Но у бауера не пошалишь, антимонии ему разводить недосуг, быстренько возьмёт в шоры, – не раз учил он своего работника, охаживая вдоль боков плёткой так, что у того потом неделю усы тарасились по-рачьи, чтобы не топтал понапрасну плетей при сборе огурцов, чтобы вовремя успевал доставлять фляги с молоком на большак. Там их подхватывал молоковоз и увозил на молокозавод, возвращая хозяину платой за молоко обрат, творог, сливочное масло, сыр. Вечером, когда Надя с хозяином заканчивали дойку, Юзеф отправлялся в повторный рейс.

Немцы – народ практичный. А уж дармовую рабсилу не использовать на всю катушку – прям-таки грех! Даже в проливенный ливень, пусть хоть дождь вбивает в крышу гвозди-сотки, Нойвур не позволял своим работникам отсиживаться без дела. В наших краях картофелесажалки объявились лишь в пятьдесят шестом году. А в Германии успешно их использовали ещё до войны. Был такой агрегат и на дворе Надиного хозяина. Правда, зёмли его (двадцать пять гектаров) располагались на неудобье – камни, камушки, валунки да крупные валуны. Как выпустить картофелесажалку, какую другую технику на такие поля? Вот и придумал хозяин: «на гулянках», в непогоду выдаст, случалось, работникам сапоги да плащи и – на поле камня убирать, на тележке вывозить, у обочины дороги складывать – на ремонт пойдут. Государство за этот строительный материал бауеру ещё и заплатит.

Время от времени Нойвур отбывал на партийные собрания (член нацистской партии – куда деваться!), и тогда, по указке отца, неотступно за работниками следовала его шестилетняя дочка Фрида, приглядывала, чтобы скотина была накормлена, выпасена, во дворе – полнейший порядок.

Так и работала моя тётушка Надя в немецком хозяйстве, пока весной сорок пятого не освободили её американцы. Добралась до русских частей. Наконец-то, скинула униформу. Из разбомблённых немецких магазинов можно было взять вещей не более одного чемодана (второй отбирался): пару обуви, сменную одежду... Потом – дорога домой, по истерзанной Европе, из поверженной Германии. А на родные игинские земли, поскитавшись по свету, Надежда Андрияхина ступила лишь осенью сорок шестого. Вернулась – слава Богу!

В это же время вместе с тётушкой Надей вернулся из Германии и Афоня Полетаев, игинской полицай, драпавший следом за немцами с женой Раисой, дочерью и тётцей. Наверно, надеялся, что забудут земляки, как он наперебой с другими хриstopродавцами отбирал для немчуры последние крохи у голодных русских баб и ребятишек. Попав между молотом и наковальней, развернул из Рейха оглобли, думал, напоёт Лазаря, расхлёбывать не придётся, чистеньким останется: мол, под радость Победы делишки его положат под сукно, сдадут в архив, а с него – взятки гладки. Но в деревне каждый на виду, пулю не отольёшь, каждый шаг известен.

Помнили люди чинимый полицаями «новый порядок», как позабыть-то?.. И мамина мама, кировская бабушка Нюра, тоже помнила, как прикомандировали к ней полицаеву сестру забирать за просто так молоко от её Лыски.

Были и такие, кто наломал дров, наложил на себя печать позора, – идя на поводу у геббельсовской пропаганды, усевшись в чужие сани, укатил в Германию по собственной воле за счастливой долей. Немцы их родственникам на сепараторном пункте как поощрение в неделю раз выдавали ведро обрат. Но, как вскорости прояснилось: ловить журавлей во вражьем небе – дело не только неприбыльное, но и куда как опасное.

Были и те, кто доносил немцам на своих же односельчан. А ведь на Руси с каких времён бытует поговорка: доносчику – первый кнут! Теперь, через столько десятков лет, в связи с его делишками вспоминают старожилы о Михе Гадёнке, который был в селе нашем при немцах не пятое колесо в телеге, быстренько смекнул, как прибрать вожжи к рукам, гнул своих земляков в три погибели.

Помню, как ещё школьницей, в Кирово, участвовала в праздничном митинге я у братской могилы по случаю тридцатилетия Победы. Тогда ещё живы были многие ветераны... Стоят, навывавшиеся всяких смертей, – на груди ордена, непрошенные слёзы бегут и бегут по колючим их щекам...

И вдруг, как нарочно, явился этот самый Миха Гадёнок. С самыми вкрадчивыми кошачьими манерами. Пропадай он совсем! У баб раскалёнными угольями блеснули глаза, даже остолбенели от нахальства, не сдержались, не смогли смотреть с безмолвной укоризной. Взбунтовались, дым коромыслом! Видать, дума застарелая поранила, вспомнили «горемышное житьё своё в погребках да амбарах при немцу» и давай стебать, дрызгать его же паршивой подноготной по глазам! Пригвоздили к позорному столбу: «Прихвостень фашистский! Ты, собачий сын, перед кем шапку ломал? Отца родного продашь и купишь! Пересчитал серебреники? Ни Бога, ни Суда страшного ты не боишься, совести нет у тебя в глазах!». Стоит христопродавец, исподлобья бирюком посверкивает; голову-то в кусты не спрячешь, приходится людской правде в глаза смотреть.

Человек и есть человек, пока в нём живы стыд и совесть – наивернейшие лекарства от мерзких делишек. И дорожить ими нужно ничуть не меньше, чем собственным здоровьем.

И ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ СТОЛЬКО СИЛЫ ДАЖЕ В САМОМ СЛАБЕЙШЕМ ИЗ НАС?

По рассказам очевидцев можно представить жизнь Игино во время немецкой оккупации. Например, раннее утро. Выйдет бабушка Наталья из хаты, соберётся за водой. А ключ у нас

под Мишкиной горой. На ней, как раз напротив наших соседей Ходёновых, расставили немцы походные брезентовые палатки. Большущие! В них под охраной автоматчиков держали они своих штрафников. Рядом с этим лагерем на штанге стоял противоавиационный пулёмёт.

«Однажды, уже Курская подкатывала, уже слышно было, как «гавкали» зенитки, – рассказывал отец, – прохожу мимо. Вижу: привели под дулами автоматов и – батюшки! – бьют страшным боем, прикладами двух своих танкистов (те в чёрных формах с шевронами). Домекался: то ли за невыполнение приказа, то ли струсили, то ли ещё чем проштрафились. «Исходили» их до полусмерти и – в палатку».

День и ночь гоняли немцы своих штрафников, мочалили по ручью, по бакшам. И всё – по-пластунски. (Вообще-то, около сорока вагонов подобных арестантов было отправлено в Рейх с орловского вокзала для разбирательства и соответствующего наказания. Как правило, если не расстреливали, штрафника с маршевой ротой отсылали на передовую).

Каждый раз вынуждены были бабы ходить мимо этих палаток на родник. К ржанью и улюлюканью постовых, может, и можно привыкнуть: «Матка, Русь – капут! Москва – капут! Сталин – капут!». А как привыкнуть к тому, что здесь же, чуть ниже по горе, на воздухах, немцы устроили открытый сортир: канава сантиметров сорок шириной, метра три длиной, по бокам – два кола, меж ними – слега.

Спустит фриц исподнее, усядется напротив стёжки, которая ведёт на ключ, и застынет, как вкопанный. Сидит себе как ни в чём не бывало, газету почитывает. Бабам, попавшим впросак, хоть и ни в зуб ногой они в европейских правилах приличия, конечно, – гадко и противно. «За людей, ироды, нас не считают! Ещё кажут себя культурной нацией! И всё-то у них не по-людски, шиворот-навыворот! Нешто в добрых людях так-то водится? Можа, только тамотка, в ихних Германиях?», – плевались, судачили меж собою игинские крестьянки.

Пять минут читает фриц, десять читает, полчаса читает... А баба, хоть и не с руки, обегай его с коромыслом да с ведёрками

аж за версту, спускайся к роднику по Сорочкиной горе меж Савинкиными и Меркуловыми.

Кто его знает, фрица того? Может, штудировал попутно разрабатанную ещё накануне войны инструкцию поведения на оккупированных территориях СССР, где росчерком пера уничтожались миллионы «представителей неарийской расы». «Вы должны уяснить себе, – вдалбливали в башку, развязывали руки итак обнаглевшему захватчику эти «Двенадцать заповедей поведения немцев на Востоке и их обращения с русскими», – что вы на целые столетия являетесь представителями великой Германии и знаменосцами национал-социалистической революции в новой Европе. Поэтому вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жёсткие и самые беспощадные мероприятия, которые потребует от вас государство».

Немец, особенно мелкая сошка, – исполнительный, приказной крючок, всегда чётко следует предписаниям. Вот и в деревнях наших гайки закручивал на славу! С самого первого дня по избам да заборам поразвесил, начитавшись указаний своих вождей, правила «нового порядка». Бельмом белела эта бумажка и на крыльце у Андрияхиных. Всё прописанное сводилось к одной последней строке: «За невыполнение правил – расстрел или повешенье!».

Несчастные, оставшиеся в оккупации (в основном женщины, дети и старики), были совершенно беспомощны, хлебнули горяшка сполна.

Ежедневно деревенских, от пятнадцатилетних мальчишек до стариков, выгоняли полицейские по разнарядке коменданта Давыдова на общественные работы. Чистились от снега просёлки, тщательно засыпались промоины, вырубался кустарник с обочин, выкашивались лопухи и крапива.

С фашистом шутики плохи, у него пёс цепной вместо души – всякое уклонение от работы рассматривалось как саботаж. Работали под надзором полицаяв или под прицелом немецкой охраны. Чуть что, замешкался – получи удар палкой по спине или рёбрам. «За работу, – вспоминают пережившие оккупацию, – выдавался мизерный паёк: хлеб с опилками, неочищен-

ная гречиха, обрат с молокозавода. Но даже это было большим подспорьем для голодавших семей – на безрыбье и рак рыба».

Вывозилось население наших деревень и на рытье немецких окопов. И на строительство укреплений, например, линии «Хаген», проходившей по границе брянских лесов, западнее города Карачева, где почти на месяц было задержано наступление советских войск на брянском направлении.

Поле игинское немцы поделили на небольшие частные наделы. На них мужик вмести́ и лук-картохи, и полосочку ржицы. А где ещё возьмёшь хлебушко-то? В магазине не купишь, не получишь на колхозном складе за трудодни. На несколько дворов выдавали «благодетели» лошадь.

Война войной, а обед у фрица строго по расписанию. Чуть ниже по горе, напротив макеевой избы, замаскировав под развесистой ракилкой, немцы врыли большую фуру. Регулярно в этот «ларек» завозили они для своей части эрзац-хлеб: белый, крошащийся, рассыпающийся и совершенно безвкусный. Сколько этим буханкам лет – сам фюрер не ведал. Видать, из его стратегических запасов. Правда, готовясь к походу на Восток, зазубрив предусмотрительно подготовленные простейшие разговорники да и пообтёршись с начала войны, немцы научились худо-бедно балакать по-русски. Первыми словами, с которыми они вышибали двери, были: matka, mleko, jajki, masło.

У деревенских хлебушко – по великим праздникам, на самый крайний случай: достать негде было «ни жменьки». Мучицу берегли пуще собственного глаза. А когда вдруг случалось разжиться, затевали тюрю – похлёбку из хлеба, лука, воды и растительного масла. Чёрный хлеб – вкуснее всего на всём белом свете. Он, и правда, – свидетель нашей истории. И горестей, и счастья. А потому и замешан, и испечён самой судьбой. Тот, кто бедовал – воевал и голодал, не забудет об этом никогда.

Из чего только бабы не исхитрялись стряпать блины-лепёшки. С такими добавками, которые и скотине мужик в бывалошние времена не подал бы. Гребовать не приходилось. Лютовал страшный голод. Зашлёт, бывало, ранней весной, как

только снег стает, бабушка Наталья детей на игинское поле или в брошенные бурты, насобирают они прошлогодних, нечаянно просмотренных перемёрзлых картох – «пирепиков», вымоют, высушат, перемелют – хоть в хлеб подсыпай, хоть ещё в какое печево. Даже поговорка объявилась в эти тяжёлые годы: хороши лепёшки из гнилой картошки!

А как выстоятся, вызреют в лугах метёлки конского щавеля, сдёргивали их деревенские и пополам с мякиной, лебедой стряпали из них «хлеб». Все травы с Мишкина бугра перебивали на столе в ту тяжкую пору у моих земляков. Не давали траве веку. Всю луговину переели: «опестыши» (весенние побеги хвоща), головки клевера, листья липы, сергibus и анис, «толстушка» и щавель, стволья конского щавеля и топорики (баранчики), дикий лук и дикий чеснок, лопухи и крапива, паслён и молочник, даже сосновая хвоя.

Бабушка Наталья и лес – это особая песня. Пели на Руси эту песню бабы и раньше, но в годы оккупации, в голод она стала чуть ли не самой единственной, придающей силы. Выручало именно собирательство, которым с успехом занимались ещё наши прапращурь, кажется, без него бы и вовсе не выжили. «Лес – кормилец, батюшка!» – только так и называла его всегда бабушка Наташа. На всю жизнь, видно, с тех голодных лет сохранилось у неё особое, «лесное» чутьё.

...Травы сушили, размалывали и стряпали из таковской муки блины и лепёшки. Конечно же, выбирали подчистую все грибочки-ягодиночки. Болели и пухли вповалку от этой еды взрослые, умирала детвора. По деревне – ни кошки, ни собаки не осталось. А немцы да полицаи разъезжали на холёных лошадях...

«Познали, почём фунт лиха! И поплакаться – не поплачешься. Есть хотелось всегда. Постоянное чувство голода. А он ведь страшнее любого страха., даже страха смерти. Хлеб – сказанный праздник! Даже когда его всего лишь кусочек размером со спичечную коробочку. В ригах, где когда-то хранились снопы, труху до земли повыбрали», – так говорит отец мой, и я ему безгранично верю.

А уж коли какая баба на деревне не скрепится духом, не сдержится и вынет заветный мешочек с последней мучицей да выкатит из чулана дежку, затеет, замесит на ночь тесто, а по заре над всей округой поплывёт дух ржаного хлеба, то к обеду жди она на порог полицаев. Явятся с поборами. Унюхают, как же! Клещами вырвут! Да и фрицы распробовали наши ковриги. Конечно! Не хрен знает что – какой-то эрзац, а настоящий русский хлеб! Прихвостни обыщут каждый угол, только держись! Похватают всё, что припасено из съестного.

Суточные нормы продуктов питания, установленные оккупантами:

	Дети до 14 лет		Члены семей работающих Частично не работающие		Работающие		Рабочие, занятые на тяжелых работах		Рабочие, занятые на очень тяжелых работах (в шахтах, на разработках копий и т.п.)	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Хлеб или зерно	Особо не учитывается	79	158	210	186	285	200	500	225	570
Жиры	—	—	—	7	—	10	8,5	18	8,5	35
Мясо	—	—	—	14	—	21	10,7	35	14	50
Картофель	180	350	350	425	500	425	500	640	570	640
Прочие продукты	12,5	25	—	28	35	32	57	35	35	71
Среднее количество калорий	Ок. 400		800—850		1000—1250		1500—1900		1700—2100	

У немцев существовала даже «Памятка для ведения хозяйства в завоёванных восточных районах!» Недвусмысленны и строки из этого предписания: «Завоёванные восточные области являются германской хозяйственной территорией. Земля, весь живой и мёртвый инвентарь... являются собственностью германского государства».

От таких рекомендаций и памяток, узаконенных командованием Третьего рейха, руки у германца развязывались окончательно, и русские крестьяне облагались дикими, непосильными налогами. Предписывалось сдавать почти весь урожай. Вводились невиданные поборы масла, яиц, молока и шерсти. Чтобы выжать всё возможное из крестьянских хозяйств, придумывались всяческие налоги: поземельный, на строения, снежный, подходящий, церковный...

Так и этого мало – время от времени производился грабёж и

под предлогом пожертвований для русских военнопленных. Сохранился список вещей, собранных населением для русских военнопленных и переданных немецкой части № 42355 за 1942 год: четыреста тридцать пять брюк, двести восемнадцать ватных пиджаков, девятьсот тринадцать шапок и фуражек, пятьсот семьдесят шесть рубашек, четыре мешка табаку, валенки, пятьдесят три пары лаптей.

Холода в сорок втором–сорок третьем стояли такие, что птицы замерзали на лету, до минус тридцати. Немцы укутывались во что могли, увязывались даже бабьими шальями. Бывали случаи, когда снимали облюбованную одежду-обувку: валенки, полушубки с жителей деревни прямо на улице.

Бедный Мишкин бугор! Чего он только не натерпелся за эти двадцать два месяца! На середине его, ниже савинкиной и павликовой изб, до сих пор можно разглядеть достаточно большую по площади, выровненную немецкими штрафниками площадку. На ней, обнесённой колючей проволокой, тренировались минёры.

Однажды Ване Андрияхину повезло найти в конце своего огорода трёхлинейку. Притащил домой. Мамка, словно поражённая громом, так и ахнула: «Тудыть тую рать!». Обшарила его карманы и винтовку ночью запрятала под застрех, чтоб мальчишка её вовеки не сыскал. А когда пацан наткнулся в окопах на офицерский бинокль, зная мамкины разборки, чтобы не отбрёхиваться, не наводить тень на плетень, домой не понёс (ай маменькин сынок?), сам припрятал куда подальше. (В сорок четвёртом в немецких окопах наткнулся он на пистолет и приспособил было к нему патроны от ПППШ, да хоть и жалко расставаться, пришлось таки сдать председателю колхоза).

А при немцах, забравшись на грушенку в саду Вани Макева, вооружившись биноклем, не думая о том, что бы с ними случилось, обнаружив их фашисты, отчаянные друзья-мальчишки просматривали всю округу.

Выпытали они и то, как аккуратно с их Мишкина бугра фрицы вырезают дернину, закладывают противотанковые «ка-

стрюльки», а затем снова незаметно прикрывают дерновой печинкой. Там же, за колючим забором – по-немецки добротного сколоченные длинные столы, на них немчура разложила такие же мины. Соберутся над ними кружком послушать, так ничего и не разберёшь, всё на своём: вар-вар-вар. И так день за днём. Одни насобачатся смерть для наших уготавливать – уходят, прибывают новые.

Местность наша, расположенная на водоразделе, имела для врага особую, стратегическую ценность. Заняв этот гребень, враг мог наблюдать все передвижения войск на Сосковском направлении. Через всю округу с юга на север тянулась сплошная линия обороны. Порадели фрицы – единой цепью, чередуясь друг за другом, без малейшей лазейки для наших войск шли немецкие блиндажи, минные поля и траншеи.

И поныне они, поросшие чернобыльем, всё ещё пугают своей ощеренной пастью, нет-нет да напомним о себе взрывом семидесятилетней мины или снаряда, припрятанных страшной годиною.

На господствующих высотах сёл Кирова, Новогнездилово и Гнилое Болото фашисты установили мощные противотанковые орудия, вкопали в землю «пантеры» и «тигры». На этих же высотах располагались немецкие подвижные противотанковые группы, разившие броню наших танков даже на расстоянии двух километров. На подступах к высотам, на их склонах, минёры из части, расположившейся в Игино, оборудовали мощные минные заграждения – голыми руками не возьмёшь.

Ниже минёров по взгорью, чтоб не быть бельмом на глазу, за Маринкиной избой, у её мазанки, в самых зарослях мальвы (не дураки, местечко красивое!), обустроило немецкое офицерье на тёплое время свою палатку.

И туда дотянулись своим биноклем пацаны. Жили офицеры в ней вольготно. Раз, два раза в месяц получали из Германии посылки (всё упаковано в баночки-коробочки) да и паёк офицерский не такой уж скудный: и шнапс, и тушенка, и шоколад, и галеты. А чего не достанет – на то полицаи существуют: только прикажи, на задних лапках пробегутся из конца в конец

деревни, из-под земли выкопают, добудут и яйца, и кур, и духовитые русские ковриги.

Оттуда, из этой палатки, день и ночь на всю катушку гремели бравурные немецкие марши, развесёлые тирольские и австрийские крестьянские песенки – дым коромыслом! Иногда кому-нибудь из офицеров вздумывалось с шального перепою позабавиться: разыскивались пластинки с русскими песнями, приводился какой-нибудь игинской мужик.

Из стаканов фрицы не пили. Нальют мужичку рюмочку – тот хлоп её махом. Подивятся, заподзуживают, нальют ещё – нашему-то эта граммулька, что комариный укус: «А что там пить-то – экий напёрсток!». Подадут бутылку – кашлянет мужик в кулак, оприходуется её, и галетку не примет, рукавом занюхает. Держится козырем. Сплюнет. А пачку сигарет возьмёт... И под восторженный гогот немчуры отправится до хаты. (Как не вспомнить тут фильм «Судьба человека»? Было! И у нас такое было!)

«С куревом, – рассказывали «пережившие немца», – было туго. Как мужику без него? Хоть пропадай! Дрождин Харлампий Дмитрич на зависть всем – бои идут, а он всё-таки табачок посеял. Мужик он скаредный, снегу посередь зимы не допросишься! Собрался как-то ни свет ни заря по какому-то делу в Порточки. Идёт, козьей ножкой в темени попыхивает. А по утренней рани табачок эвон где душе, истомлённой по куреву, чувствуется. Вот и унюхали его, домекались братья Редькины, патрулировавшие в тот день Игино, да бегом, бегом наперерез Харлампию. Тот прикинул: «Облава!» – и пулей в Ярочкин лесок. (Жителям под страхом смерти запрещалось передвигаться между деревнями без пропуска, выдаваемого комендатурой. Поля за околицами время от времени простреливались трассирующими пулями.) Полицай кинулись за мужиком. Догнали, свалили: «Покурить не найдётся? Дай хоть затянуться!». Тот, очухавшись, выудил из кармана кисетец, размотал шнурок, вынул сложенный вчетверо книжный лист: «Доброе сегодня утро» – только и молвил и стал не спеша крутить сигарки.

Восьмилетним мальчишкой, по словам отца, сажал и он до

двухсот корней самосада. И сам украдкой от старших с друзьями-товарищами курил, и мать выменивала табак на базаре в Орле на еду (дети до четырнадцати лет на рынок не допускались, за это беспощадно штрафовали родителей).

Запрещалось во время оккупации под страхом смерти торговать не только на рынках, но и везде где бы то ни было самогонном, брагой и табаком. Бабушке приходилось рисковать. Но сколько же надо было того табаку, если в это голодное время золотое кольцо можно было выменять всего лишь на полкило муки! Килограмм хлеба стоил тридцать-пятьдесят рублей. Мясо на рынке стоило полторы марки за кило, яйца – марка за десяток, водка – три марки за пол-литра.

Запрещалось проносить по дорогам, даже если комендант и выдаст аусвайс на перемещение, больше продуктов, чем «необходимо для дневного пропитания». На подходах к городу немцы расставляли полицейские посты. И те коштовались как могли: отбирали всё, что люди с огромным трудом вырастили, собрали или наменяли в деревнях. Но если и добирались игинские бабы более-менее благополучно до Орла, то нередко и на самом рынке устраивались облавы и товар конфисковали. И несчастные, протопав семьдесят пять километров до рынка, – батожок в руки – возвращались с пустыми котомками опять же своим ходом назад, к голодной детворе.

Даже рейхминистр пропаганды Германии Геббельс в своём дневнике в начале марта 1942 года вынужден был признать: «Положение с продовольствием в оккупированных восточных областях чрезвычайно затруднительно. Там умирают от голода тысячи и десятки тысяч людей, что совершенно никого не интересует».

ИЗГНАНИЕ

Пятого июля 1943 года разразилась Орловско-Курская битва. Много их, страшных побоищ, за годы Великой Отечественной отлязгало, отгрохотало, откровоточило на русских полях. Но это! Именно в нём, в июльско-августовском сражении сорок третьего наши войска – наконец-то – сломали хребет не-

победимому, подмявшему под себя всю Европу фашистскому зверю. Конечно, были и потом лихие битвы, но после Курской смертельно раненый враг, зализывая раны, отползая в своё логово, лишь яростно огрызнулся.

Наступательная операция по освобождению Орла началась двенадцатого июля и носила она название «Кутузов». Какой русский не гордился этим именем, не помнил, как громил великий фельдмаршал ещё несколько веков назад иноземного захватчика?

В нашей округе на долю воинам 3-й гвардейской танковой армии генерала Павла Семёновича Рыбалко выпало крушить основательно укреплённую немецкую оборону. Вместе с ними наши края освобождали бойцы 2-й гвардейской танковой армии генерала Семёна Ильича Богданова, 13-й и 48-й полевых армий. А также войска Брянского и Центрального фронтов, которыми командовали генералы Мариан Михайлович Попов и Константин Константинович Рокоссовский. С воздуха войска поддерживали лётчики 15-й и 16-й воздушных армий генералов Николая Фёдоровича Науменко и Сергея Игнатьевича Руденко. Шутка сказать, какую свернули махину!

Отступая, немцы угнали с собой почти всех жителей округи, использовали их в качестве живых щитов, прикрывались бабами и детьми от налётов нашей авиации, от артиллерийских атак. Хитрость эта коварная не случайная, не в панике возникшая. Фашист продумал в своём завоевательном походе на Россию всё до мелочей: и блицкриг, как поскорее прихапнуть огромную территорию с несметными богатствами и как потом ими распоряжаться-хозяйствовать. А на тот случай, ежели, чего недоброго, намнут бока, придётся драпать, заранее разработанная и политика «выжженной земли», а проще – система грабежа, насилия и уничтожения. (Лишь к ноябрю угнанные отступающими немцами, уцелевшие несчастные смогли возвратиться из Прибалтики и Белоруссии на родину, пройдя сотни вёрст разбитых войной дорог).

Фашист понимал, что разграбленные и опустошённые им районы обратятся в мёртвые зоны. И, конечно, зверствовал,

стараясь не оставить не только материальных, но и никаких «пригодных» людских ресурсов.

Поначалу-то фрицы собирались досыта пограбить, но Красная Армия «испортила им всю обедню», поддала такого пинка, что тут не до грабежа, хоть бы самим ноги унести! А вот попутно пожечь, взорвать – на это много времени не требовалось. Если при отходе немецкие войска, не дай Бог, встречали на своём пути скот и не имели возможности отправить его в свой тыл, и тут гнали свою статью – расстреливали его подчистую.

Второй человек после Гитлера – рейхминистр Герман Геринг в своей директиве от седьмого сентября 1943 года требовал вывезти все сельхозпродукты и средства сельхозпроизводства, разрушить все обрабатывающие и перерабатывающие предприятия пищевой промышленности, уничтожить все другие производственные основы сельского хозяйства, вывозить людей, занятых в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Одним словом, стереть русскую деревню с лица земли.

Отступая, немцы обливали хаты бензином и поджигали. Так, например, выгорел дотла соседний с Игино посёлок Свободная жизнь. Такая же участь ожидала и Кирово-Игино. Просто фашисты впопыхах спалить наши деревни не успели.

Шестнадцатого февраля 1943 года на заседании «Центрального планирования» в Рейхе было решено угнать на запад всё население, находящееся в ста километрах за линией фронта. Существовал по этому поводу и специальный приказ за № 4, подписанный самим Адольфом Гитлером от четырнадцатого февраля того же года. В нём нацистский вождь настоятельно требовал от своих подчинённых «если возможно, брать с собой всё гражданское население и затем использовать его как рабочую силу». По этому же приказу, когда затрещали по швам все германские стратегические планы, населённые пункты после эвакуации безжалостно уничтожались.

«Второго августа сорок третьего, на Илью, – рассказывал отец, – жители Игино молотили со своих участков хлеб. Налетели власовцы, и давай людей булгатить: «Всё прекратить! Готовиться к эвакуации!». Беготня, рокот двигателей грузови-

ков; немцы в панике, срочно сворачиваются, готовятся бежать».

Хлеб, как ни жалко было, бабы опустили в шейные ямы. Сколько с собой второпях прихватишь? К тому же лошадь выдали на четырёх хозяев. С Андрияхиными – шесть душ Ходёновых, шесть душ Макеевых, Молдачёвы! Сами, хочешь–не хочешь, пешком. Скарб – на застланную веретём телегу. За телегой – бабы белужинами ревут, в чём только душечки теплятся. Цепляясь за их юбки, детишки сопли кулачками по щекам растирают. Бросили хаты свои на Мишкином бугре, бросили хоть как-то кормившие огороды, всё бросили... Потацились самотёком по пыльной, словно обсыпанной серой мукой дороге под автоматами власовцев на Запад...

Одно только свербило на душе: наступит ли этим мучениям предел? И концов-просветов не видно, когда из них перестанут нехристи верёвки вить. А уж о том, увидят ли опять свой порог, – вообще вилами по воде писано.

Как всегда у нас велось, коли настигнет русского человека крайний случай, вспомнились слова нужные, зашептались сами собой: «Осподи милостивый! Преложи гнев на милость! – и дальше, как положено, коли покидал православный человек свой родимый дом, – двадцать шестой псалом: Господь – просвещение моё и Спаситель мой, кого убоюсь...».

Вышли за околицу по полудню. Потацились правым пологим берегом, среди разбросанных там и тут замшелых вётел. Все вперемешку: немцы, обоз жителей Кирова и Игино, полицаи, власовцы... Немцы старались затеряться меж обоза в самой гуще народа.

Идут бабы с грудными детьми на руках в глубоком бесчувствии, ревут, назад оглядываются, пытаются избы свои разглядеть, но застит дым от полыхающей им вдогонку полетаевой хаты, не позволяет напоследок узреть родимые дворы. Чуть дальше и левее Игино, в логу Плоцком, догорает вместе с экипажем немецкая танкетка. В верхах, на дальнем поле, у лога Майского, полыхают прорвавшиеся было три наших Т-34 – немцы огрызаются, лупят по ним прямой наводкой из занявшегося полымем сада (из бывшей усадьбы барыни Шеншиной).

Негаданно хрястнула молния! Гроза впереди заугрюмилась. В полнеба расползлись сырые овчины жуковых с огненными краями туч! Затаилась под ними Крома, зашептала чёрная дальняя гать. Склонились долу приречные стрелолисты и осоки. Низко-низко заметались, засвистали над людским потоком чёрными пулями ласточки. Крупные дождевые капли, поднимая пыль, застучали по прибитой дороге. Да что там гроза – чай, не из соломы сплетены! В народе ходили толки: фашистская чужбина – вот горе так горюшко!

Не знали, не ведали кировские и игинские крестьянки, полонённые фашистской нечистью, что несколько веков назад этими же путями уходили в Брянские леса под покровом ночи их пращурки, спасаясь от татарского ига, так же рыдали и оглядывались на родные пепелища. Захватчик – он во все века и во всех землях изверг и лютый ворог!..

Что ж от него дожидать-то, если, к примеру, командиром 27-й танковой дивизии Вермахта двадцать девятого декабря сорок первого года было отдано распоряжение «...тыловым отрядам и арьергардам производить:

а) разрушение (поджог) всех населённых пунктов. Исползовать специальные команды для поджога деревень, лежащих в стороне от путей отступления;

б) уничтожение наличных средств транспорта и имеющегося скота;

в) уничтожение или приведение в негодность всех имеющихся продуктов».

...За час еле-еле доползли обозы до сожжённой подчистую соседней деревни Свободная жизнь. С приходом фашистов в богатом этом колхозе, который когда-то населили кировские и игинские выходцы, обосновался немецкий комендант Шмидт. Похозяйничал на славу! Обобрал до нитки и колхоз, и крестьян: и скот ему сведи, и инвентарь свой крестьянский сдай. Но в первую очередь, создавая помещичье хозяйство, Шмидт отнял у мужиков шестьсот гектаров земли.

Словно закоренелый крепостник, за малейшую оплошность,

не говоря уже об отказе от работы, он публично устраивал жесточайшие порки. Не гнушался, лиходей, и расстрелями.

Многие жители этой несчастной, родной по крови Кирову Городищу деревушки, пали от рук мучителей. Среди них Василий Ходёнков, Михаил Завязлов, Василий Морозов. Истерзанное «новым порядком» население перед отступлением немцы под конвоем угнали в тыл, тех же, кто не мог идти, расстреляли, а деревню, все пятьдесят четыре избы с надворными постройками, спалили дотла.

... Обоз растянулся длиннющей вереницей вдоль пыльного просёлка от Большого лога до самой окраины деревни Выдумки. Смотрят обозники: чуть правее, за Кромой, над гавриловским полем несётся наш ястребок, а за ним – четыре мессера! И разразился в чистом поле, прямо над их головами воздушный бой. Бабы, дети – под телеги! Куда ещё спрячешься?

А наш ястребок оказался неуловимым! И так его немцы прижмут, и этак, а он – круть-верть – и был таков! Подбил один из мессеров и – только его и видели, вырвался, умчался к своим в сторону Кром. Из подбитого фашистского самолёта выбросились с парашютами два лётчика, зависли над Гавриловкой, а машина, объятая пламенем, с рёвом пошла над верхушками леска и ахнулась где-то у деревушки Орехово – огненный шар полыхнул впереди, по правому краю небес.

...Гонимые немцами и власовцами земляки мои под прицелами автоматов добрались до Брянщины, до железнодорожной станции Почеп. Несчастные не знали тогда, что пятого августа уже освобождён Орёл, а шестого августа Ставка Верховного главнокомандования в четырнадцать часов сорок пять минут приказала:

«...Командующему Центральным фронтом использовать 2-ю и 3-ю Гвардейские танковые армии для удара в направлении Шаблыкино с задачей во взаимодействии с правым крылом Брянского фронта, наступающим на Карачев, уничтожить противника, отходящего от Орла на запад» (в том же направлении, куда угнали моих земляков). Бои в этих местах, как пере-

давали в сводках Инфрмбюро, носили упорный, кровопролитный характер.

Не знали страдальные земляки мои и о том, что немецкое командование, опасаясь окружения, сократило линию фронта, усилив за счёт этого части, действовавшие в районах Хотынца и Кром, прикрывавшие отход своих войск из Орла на запад... Получалось, что и они, кировские и игинские бабы с ребятишками, прикрывали вражеский отход.

Чтобы отрезать противнику пути отступления из Орла, Кром и Нарышкино, наше командование задействовало сразу две танковые армии. Нельзя было допустить закрепление противника на заранее подготовленных укрепрайонах «Хаген» восточнее Брянска. В течение двух дней велись жестокие бои и на подступах к Кромам. По реке Кроме проходил сильнейший оборонительный рубеж, заранее занятый немецкими войсками. Но и он был сломен к вечеру шестого августа. Показали наши немцам, где раки кромские зимуют.

А девятого августа 2-я гвардейская воздушно-десантная дивизия выбила врага из Кирова и Игино. В этот же день освободили и близлежащие села и деревни: Долгонки, Дерюгино, Чистое поле, Красная новь, Старогнездилово, Цвеленево, Мураевку.

Восемнадцатого августа была освобождена Орловская область в её современных границах. Советские войска ликвидировали «кинжал, направленный в сердце России». Так фашисты называли Орловский выступ, который рассматривали в качестве исходного района для нанесения удара на Москву. Как у нас говорят: «Испробуй-ка нашенского гостинцу! Мы тут всяких видали да бивали!».

Но война всё ещё не отпускала из своих жутких когтей моих родичей и земляков.

Немцы как чёрт лады боялись партизан. На ночь бросали обозы и вместе с власовцами прятались в укрытиях. Передвигаясь по Брасовскому району на Брянщине, бабы и ребятишки вытянули все жилы – поминутно толкали подводы, покрытые рогожами, увязанные верёвками, то и дело застревавшие во

встречавшихся на их пути глухих болотах. Места, неизменные тысячи лет: зыбучая глубь, бездонная хлябь, где само время с ума сошло. Слепни и мухи вились над лошадиными спинами, донимали полчища комарья. От телег пахло дёгтем, от болотин – брусничником и сыростью.

Кормиться помогали собранные в бору грибы и ягоды. (Немцы выдавали строго по списку лишь небольшие брикеты с кашей). Так же, как и в деревне, из последних сил держались по-соседски друг дружки, хлеб-соль вместе водили. Останавливаясь в селениях, собирали на брошенных усадьбах картошку. Попутно в речушках и прудах ловили рыбу.

Однажды, расположившись на разъезженном, усыпанном мелкими камнями берегу Десны, соорудили кой из чего сеть и отправились на рыбалку. Мужики вели рекою снасть, а мальчишки воробыиной стайкой бегали следом, подбирали выкинутый на берег небогатый добыток. Вытянули невод в очередной раз, а в нём – полуторагодовалый мальчик! И гадать не нужно – вверх по течению разбомбили переправу, одна из семей погибла разом: вместе с конём и телегой ушла под воду. Мужики – мальчишкам: «Бегите, кличьте баб, скажите, мол, рыбину крупную поймали». Примчался народ, разглядев лежащий на берегу под олешником «улов», бабы, вар подливай – не смолкнут, выли в голос, волосы на себе рвали, словно у каждой умер во чреве младенец. И терпению приходит когда-нибудь конец...

И вблизи Почепа обнаружили в лесу жуткую, погибельную картину: наши ли, немцы? Так и не поняли. Но волосы встали дыбом, когда натолкнулись на огромный, метра в два высотой ворох человеческих костей: скелеты, черепа. И никакой гражданской одежды или военной формы – голые кости.

Не менее чем партизан немцы боялись тифа и вшей. В Почепе баб и детишек раздели донага и втолкнули по очереди в два загодя приспособленных под санобработку вагона. Вещи тоже подверглись термообработке. На путях, нацеленных на запад, стояли два поезда: один – товарняк – в нём хозяйственные немцы везли плодородную украинскую землю, а в другой

загрузили наших баб и ребятишек, не церемонясь, «рассортировали» под вой и причитания: детей – в одни вагоны, матерей – в другие.

Но Господь вступился за полонённых, не позволил им очуждеть, сгинуть во вражьей стороне. Ночью налетели наши кукурузники, развесили фонари и нещадно разбомбили драпающую немчуру. Заполыхал Почеп, зароиhsя народ. Хаос, толчея! Скученность – не дай Бог! Тати фашистские, утратив прежнюю спесь, спасали собственные шкуры, бежали. Им было не до вагонов с русскими, приготовленных для отправки в Рейх. Бабы повысыпали на рельсы, кинулись в дикой неразберихе разыскивать своих детей.

Отцу запомнилась картинка: село Добрунь. Только что прошёл дождь, по склону крутой горы стекают грязные потоки. Немцы в спешке отступают. Дорога в гору, на неё фриц гонит запряжённую в бистарку лошадь. Подвода под завяз нагружена мешками с крупой, сахаром, солью. Лошадь от натуги падает на колени: как бы её ни погоняли, вскарабкаться на угор по сползающей дорожной жиже не может. И тогда возница (наверно, состоял при кухне) вспарывает мешки ножом и на глазах у голодных беженцев продукты втаптываются в грязь...

А следом плачет, пытается взъехать на размасленную гору молодой немецкий мотоциклист., чувствует, что подходит конец, что рыльцо-то в пуху!

Сколько несчастья, горя, разрухи, обездоленности и смерти повстречалось беженцам на пути – и не передать. Куда ни ступни, куда ни посмотри – везде слёзы и разор. Не от вида ли нашей округи содрогнулось сердце немца Ганса Гессенса, фронтового уполномоченного национального комитета «Свободная Германия», не о горе ли-несчастье именно моих земляков поведал он в своей речи, обращённой к немецкому народу, сообщая о причинённых опустошениях во время отступления войск группы армий «Центр» из Орловской области осенью 1943 года: «Мы проехали сотни километров и здесь на месте благоустроенных жилищ видели груды камней, пепла и обгоревших брёвен. С не-

мецкой педантичностью совершались страшные и в военном отношении абсолютно бессмысленные разрушения». По его мнению, виноват во всём немецкий Вермахт. Своими глазами увидел представитель «Свободной Германии» нищету и разрушения, содеянные его соотечественниками. Свидетельствуя эти злодеяния, он предупреждал немецкий народ о том, что каждый угнанный, замученный или убитый советский человек – страшное обвинение. Каждый разрушенный дом, каждая украденная корова, каждая похищенная вещь – страшное обвинение. И за всё это в скором времени придётся расплачиваться, потому что «кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда».

СЛОМАВ ХРЕБЕТ ФАШИСТСКОЙ НЕЧИСТИ

Собрала Наталья Андрияхина своих и – за огороды, в окопы. Вдруг слышат: где-то совсем рядом забабало, загромыхало, рванул склад немецких боеприпасов. От его взрывов вспыхнула ветряная мельница, замахала горящими крыльями, закрипела навзрыд, заадила, заастила белый свет.

...Прожили они в окопах полторы недели. Засобирались в обратную, на Мишкин бугор, до своей хаты. А до неё, родимой, топать и топать. Общего на несколько семей мерина, кривого Воронка – опять им не повезло – украл староста (приходил сообщить, мол, завтра красные будут уже тут).

Немцы ушли. Затишье. И вдруг – снова пальба! А затем – шквальный огонь! Поспрыгивали беженцы в окопы, набились битком, прижались друг к дружке, а сверху на них – земля от разрывов.

За полчаса до начала артподготовки бабушка Наташа ушла в деревню за едой. Местные жалели беженцев, помогали чем могли: позволят и картошки на огородах накопать, и хранить в своих подвалах вещи.

К вечеру канонада чуть притихла, объявились наши бойцы: уходите, мол, как можно скорее, здесь вот-вот разразится страшный бой. Куда ж дети сдвинутся, когда мать так и не вернулась из деревни? Кинулись сами её искать. Как бывает неред-

ко по осени – темь крошечная, первородная. Народ попрятался по подвалам, затих.

Наконец, достучались, открыли им двери в том самом подвале, где отсиживалась и бабушка Наташа. Дохнуло погребною сыростью, смотрят: свеча горит, народу – битком. Выскочила Наталья наружу, к детям, некогда маху давать – бросились они к яме, где свалены их вещи, которые не все прихапнул, удирая, староста. Кое-что, кое-как достали, и мать распределила эти хархары меж своими – что кому нести. Раздобыли Андрияхины где-то тележку, покидали в неё свой скарб (как одежду кинуть – когда-когда до Игино доберутся; осень на дворе, уже и жёлтые ручьи раковых листьев потекли вдоль обочин) и под покровом ночи – в путь! А за их спинами – бой. Не на жизнь, а на смерть.

И снова начались их мытарства по израненной войной русской земле. Правда, водители полуторок никогда не отказывали, брали на кузов, подвозили, если было по пути. Маленькому Ивану мать выделила нести ковригу, которую добыла в деревне. Уложили её в наволочку, привязали котомкой с правой руки. Шли быстро, над головами свистели пули.

К утру, выбравшись наконец-то из опасной зоны, упали в лесу, чтоб хоть чуть-чуть передохнуть. Вынула бабушка Наталья махотку с говяжьим салом (кто-то подал ей на нищенство), глядь, а ковриги-то нет как не бывало! Потерял мальчишка хлебушко, а как, где – и не заметил. Вспомнил о нём, лишь когда на него уставились голодные сёстры. Спыхватился, бедный, и в голос! Только слезами – реви, не реви – не поможешь.

Слава Богу, добрались кое-как до лесной деревушки. Постучались в крайнюю хату. Хозяйка, посочувствовав их горю-несчастью, кликнула бабушку Наталью в подвал. А там! Три шестиведерных напола груздей. Не пожалела баба, наловила грибов большущую миску: «Ешьте, родненькие! Всё, что Бог послал!».

А потом случайно повстречали своих игинских соседей Ходёновых. С горем пополам, нечеловеческой силой добрались с ними до Брянска. Тут – попутка. Подъезжают к Десне. Водитель почему-то притормозил на минутку. И вдруг – ка-ак ахнуло! И

в воздух взлетели куски от впереди идущей полуторки, руки-ноги находившихся в её кабине и на кузове беженцев. Колонна подхватила, запяtilась по-рачьи. Высаживая беженцев из машин, остервенело орал патруль (некогда ему на переправе в бирюльки играть!): «Вылезай без разговоров и – пёхом, пёхом! Скатертью дорожка!».

Сколько людских жизней унесут ещё оставленные войной противотанковые мины, авиационные снаряды, гранаты и другая ненасытная, кровожадная, безжалостная противочеловечная дрянь.

Пристроившись к вечеру, когда уже начал заметно меркнуть день, на другой попутке кое-как попали в Карачев. Въехали в городишко ранним утром, затемно, а когда жидкий свет проявил улицы, ужаснулись: Карачев стёрт с лица земли! Все здания разбиты, повсюду вороха жжёного красного кирпича. Ребяtnя уселась где попало на развалинах, а взрослые кинулись спрашивать очередную попутку.

Только когда оказались в Сосково, от души чуть отлегло – теперь хоть ползком, а доберутся на свой Мишкин бугор. Плещутся они окрестными деревушками – кругом разор, пепелище. Видят: на зерновом складе в деревне Мартьяново красной краской прямо по брёвнам, во всю стену: «Смерть фашистским оккупантам!». Соседнее Звягинцево сожжено дотла. От него рукой подать до своих полей. Все глаза проглядели: что там, как там дома, впереди?

Вот и Кировская облога. Два-три домишка. Святая Приснодева Мария, – цела! Осведомились у знакомых, округлили глаза: нет, Игоино почти не тронули. Ни живы ни мертвы от радости.

Поднялись на взгорье – впереди родная деревенька, урынок наш, – Козловка, как стрелочка взлетает вдоль бугра! Чуть размывается лёгким маревом бабьего лета. Над соломенными крышами зыблются нагретые за день воздушы. Поле кировское, где, бывало, колыхалась, ходила светло-зелёным маревом рожь, истерзано окопами да рытвинами от снарядов.

Через Крому – ни тебе мосточка, ни хоть бы каких-нибудь хлипких ручейных кладей. Пришлось, подняв узлы с пожитками на плечи, «кунаться» бродом. Осторожно ступая по скользким подводным голышам, поднимая за собой облако мути, выплеснулись, наконец-таки, на берег – мокрющие, словно водные крысы.

А бывало... проходит по мостку из Ломинских лугов, отмахиваясь хвостами от назойливых слепней разномастное стадо, а он глухо так, деревянным вздохом вздыхает, вздыхает. На быстрине неподвижно замерли пухлые белые облака, и дождём через них сигает мелкая рыбёшка. А та, что покрупнее, стоит неподвижно у коряг, чуть пошевеливая розоватыми пёрышками плавников, дивясь на золотое, усыпанное разноцветной ракушкой дно Кромы, по которому снуют прозрачно-жёлтые пескарини.

По правому берегу под ивовыми косицами – купавки жёлтенькие и на них – букашки усатые. И в зыби речной плавится-топится предвечерняя заря, гуляет солнышко. Боже ты мой! И счастья иного не надобно... Правда, было это в каком-то давнем-предавнем, неведомом году.

Кинула бабушка пожитки, склонилась, растёрла в ладонях горсть земельки с игинского поля; нечем унять дрожь, мочушки нет, душа с телом расстаётся и разрыдалась...

Под кипенными облаками в надмирной округе, низко над лугами, над полями, над овражистыми урочищами носились чибисы: «Чи вы? Чи вы?». Из-под ног рассыпались крупинками, щёлкали и падали в траву, обожжённую войной и жаркой осенью, не ведающие горя кузнечики.

Наверно, по-настоящему ощутить святость родимых мест, её меру можно лишь после разлуки, грозившей смертью... И родичи мои, надорвавшие души свои от обречённости жить в неволе, словно воскресли из мёртвых.

Двадцать восьмого октября 1944 года Комиссия при исполкоме Сосковского района Совета депутатов трудящихся Орловской области по расследованию фактов зверств и злодеяний

немецко-фашистских властей на временно оккупированной территории района, в которую вошли: председатель комиссии Понуровский П.А., Сулоцкой И.К., Соловых Г.Я., Безлюдная В.В., Меркулова Н.А. (жаль, в документе остались фамилии да инициалы), произвела проверку и расследование зверств немецкой власти над мирными жителями. Я просто не имею права не донести до читателей книги документ, подготовленный этой комиссией.

«Установлено: немецко-фашистские власти оккупировали территорию Сосковского района четвёртого октября 1941 года, и временная оккупация продолжалась до одиннадцатого августа 1943 года.

За указанное время по заданию и приказам немецкого командования, под непосредственным исполнением сельхозкоменданта Темпеля коварные зверства немецко-фашистских властей характеризуются следующим: только за незначительный промежуток времени с февраля 1942 года по июнь 1942 года немецкими властями было расстреляно и замучено двадцать три члена партии, а всего замучено, казнено и уничтожено сто тридцать четыре человека.

Немецко-фашистское командование, думая ослабить тыл и фронт нашей Родины, поставило цель насильственного угнания советских граждан в немецко-фашистское рабство.

По заданию немецкого командования, под непосредственным руководством немецкого сельхозкоменданта обер-лейтенанта Темпеля и лейтенанта Легенза отправлено на каторжные работы в Германию восемьсот семьдесят человек передовой советской молодёжи, главным образом, в возрасте от шестнадцати до сорока пяти лет.

Граждане Сосковского района не желали покидать свой родной край. В июле 1943 года немецкие солдаты приказали комсомольцу Панину Фёдору (1922 г.р.) отправляться на сборный пункт для отправки в Германию. Панин сделал попытку бежать, но немецкие солдаты заметили это и дали очередь из автоматов в спину Панина. Панин был смертельно ранен, но ещё жив. Немцы подошли к нему и зарыли в землю заживо.

Рябининой Д. (двадцать семь лет) также было предложено идти на сборный пункт для отправки в Германию. Рябинина спряталась в подвал. Немцы заметили это, бросили туда гранату, и она погибла от взрыва. Мамонова З. (тридцать два года) категорически отказалась покинуть свой дом и ехать в Германию. Немецкий палач отрубил ей голову. Журавлёву Т. (тридцать шесть лет) за отказ ехать на работу в Германию четвёртого августа 1943 года замучили, исколов штыками грудь и спину.

Настоящий акт представлен Областной комиссии по расследованию злодеяний и привлечению виновных к ответственности за всех граждан Сосковского района, казнённых, замученных и угнанных на каторжные работы в немецкое рабство немецко-фашистскими палачами».

Документ этот, по правде говоря, не раскрывает полной картины бедствий, постигших мою несчастную родину за двадцать два месяца оккупации. Его можно дополнять и дополнять.

Например, событием, произошедшим у нас осенью сорок первого. А связано оно с немецким самолётом. При отступлении нашим бойцам посчастливилось подбить обнаглевший, летящий настолько низко, что можно было «снять» из трёхлинейки, фашистский бомбардировщик. Как ни старался он дотянуть до своих, но всё-таки вынужден был сесть на пшеничное поле между селом Кирово и посёлком Степь. Экипаж из четырёх человек пытался прорваться к линии фронта, но передвижение сдерживал раненый пилот. Чуть выше Кирово, у леска, в перестоявших горохах наши бойцы настигли немецких лётчиков и взяли в плен. Отступавшим, конечно, было не до сбитого самолёта. А для деревенских он – чудо из чудес! Отец мой мальчишкой бегал на него смотреть, и показался самолёт ему тот громадным вокзалом.

Хороший крестьянин – мужик практичный. За просто так у него никакая вещь не пропадёт. Пошныряли деревенские в самолёте и обнаружили в баках двести литров керосина. Это ж какое богатство задарма пропадает! Выкачали керосин, растащили его по избам. Нальют его в гильзу от сорокапятки или

любой другой патрон, вставят фитилёк – тряпицу хоть бы от той же портянки – какой-никакой, а всё-таки свет.

Вскорости нагрянули немцы. Ясное дело, не могли они не заметить свой сбитый бомбардировщик. Началось дознание, мол, куда подевались четыре пистолета, ящики с патронами, ну и керосин, конечно. Мужики разводили туры на колёсах, несли всяческую околесицу, одним словом, мутили воду, водили фрицев за нос. А один из тех пистолетов, обследуя немецкий самолёт, нашли шестидесятилетний дед Фарафон и девятнадцатилетний парень Василий Андрияхин (двоюродный брат моего деда Фрола). Нашли, значит, они тот злосчастный пистолет и спрятали в избе Василия, правильнее сказать, заложили в устье печки кирпичом, замазали глиной.

Война войной, а у парня в соседней деревушке Дерюгино (чай, не сто вёрст киселя хлебать!) проживала зазноба. Так уж случилось, что понравилась его дряхлая и местному полицая. А был тот малый, рассказывают, крутой, готовый побрататься ради своего интереса хоть с лешим, хоть с чёртом.

Пришёл Васька к своей любушке по белому луку, по облитому лунным светом просёлку на свиданье, а соперник про то узнал и зарёй на обратном пути в мелком подлеске подстерёг парня да пугнул из зарослей папоротника: саданул из немецкой десятизарядной винтовки в дремучую сонную тишь прямо над его головой. Полыхнул, чтобы Ваське не повадно было в их деревню к девчонке ходить.

Как ни суди ни ряди, молодость – время горячее. Заартачился парень, сердце в огне! Прибежал домой на Кировский посёлок, разворотил свой схрон, зарядил пистолет патронами от ППШ: «Ну, посмотрим: кто кого! Погодь, милоч! Я те покажу козью морду! Я те задам перцу!».

И на следующий вечер, сунув оружие в карман, видать, был не из робкого десятка, упрямо отправился в Дерюгино. Полицай, конечно, его уже поджидал. На подходе к деревне завязалась перестрелка. Полицейский догадался, откуда у Василия может быть пистолет. Мало того, Васькин младший брат, играя

со своим сверстником, братом того самого полицая, с которым у парня была перестрелка, решил похвастаться, какой у него храбрый старший брат – даже оружие имеет.

...Печку раскурочили, Василия и деда Фарафона увезли на допрос в Сосково. Избили их до полусмерти. Вывели на кладбище и заставили рыть себе могилы. Поставили у края. Первым изрешетили деда Фарафона (страху не выдал ничем, лишь задрожали огромные его кулаки да беспощадно ударил свет из его широко раскрытых, устремлённых на врага глаз). А Василий казни не дождался – тоже слезинки не обронил – негоже перед врагом плакаться! Как настал его смертный черёд, упал в вырытую им яму замертво. От разрыва сердца. Больное оно у него было, потому в начале войны и не мобилизовали.

За время фашистского ига из моего района были угнаны в Германию около тысячи трёхсот человек, в основном молодёжь. На фронтах погибли, сгинули в фашистской неволе сотни жителей моей округи. Лишь по неполным данным погибшими и пропавшими без вести числятся три тысячи шестьсот четырнадцать человек. Немцы уничтожили девятьсот шестьдесят колхозных построек, клубов, изб-читален, шесть больниц и медпунктов, маслозавод, тринадцать школ, две МТС. Крестьянские хозяйства были полностью разорены, не говоря уже о колхозных фермах, с которых фашисты угнали: три тысячи пятьсот девяносто две коровы, пять тысяч пятьсот сорок три овцы, четыре тысячи семьсот девяносто одну лошадь, тысяча девятьсот девяносто шесть свиней, тысяча четыреста семьдесят пять пчелосемей. Уничтожены птицефермы.

Немцы следовали наставлениям своего фюрера Адольфа Гитлера: «Мы обязаны истреблять население – это входит в нашу миссию охраны германского населения. Нам придётся развить технику истребления населения.., если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без малейшей жалости, проливая драгоценную немецкую кровь, то, без сомнения, я имею права уничтожить миллионы людей низшей расы, которые раз-

множаются, как черви». Ишь ты, чего удумали, чтобы чистенькими остаться, мол, раса у нас низшая!

История человечества знает немало примеров, когда в обычном человеке воспламеняются такие отвага и героизм, о которых он и сам за собой ранее не замечал. Уж так велось исстари: война прочёсывала мужиков частой гребёнкой. В годы Великой Отечественной войны в боях за нашу округу погибло и умерло от ран семьсот солдат и офицеров разных национальностей. Останки их покоятся в пятнадцати братских и воинских захоронениях. Есть такая братская могила и в селе Кирово. В ВМЦ числится она за номером 57-613. Год её создания – 1943-й. Сразу же как выдворили врага из округи нашей, оплакали героев – на видном месте, у правления колхоза, захоронили погибших на подступах к селу Кирово, павших за деревушки Игино и Старогнездилово, за посёлки Степь, Облога, Чистое поле.

Каждый раз, когда, отправляясь за грибами, пробираюсь по Савину лесу, изрытому вдоль и поперёк траншеями и окопами, обязательно вспоминаются мне дедовы и отцовы рассказы о минувшей войне. Вот и сегодня...

Над ухом на книжной полке неотвязным комаром гундосит будильник. С вечера завела, не хотелось проспять последний сентябрьский денёк. Прихлопываю назойливое чудовище и отряхиваю цветастые картинки утреннего сна – точь-в-точь как у ворот листик за листиком отцовская липа сбрасывает свой последний наряд.

За окошком редет предрассветный сумрак. Накидываю шаль, выхожу на крыльцо. Солнца ещё не видать. Всё затихло в ожидании появления этого извечного, но каждый раз нового, необычайного чуда.

Сначала, словно пенки «райского» варенья, вскипают, розовятся над Марьиной ложиной края кудлатых облаков. Следом «мяконики» рыжеватые дымки затепливают по склонам Ревун-оврага полуобнажённый березняк. Потом скирда гречишной соломы посередь игинского поля, проступая сквозь ниспадающие туманцы, набирает цвет и окрашивается в тём-

но-красную, ржавую медь. Воздух, настоянный на ароматах па-
лой листвы и зарывшихся в её вороха улежалых антоновских
яблок, кажется забористым бабушкиным квасом: и терпкий, и
хмельной, и пьёшь – не напьёшься.

Всё отчётливее сквозь редеющую пелену слышатся звуки
пробуждающейся деревни: мычит и блеет выпущенное в Сив-
кин овражек стадо; о чём-то спорят у прудка горластые гусиные
табуны; за хутором Степным спозаранку управляется, мурлы-
чет трактор – поднимает зябь; на краю урынка скрипит коло-
дезный журавль; катит вдоль улицы гружёная под завяз пере-
спелыми тыквами телега (сосед перевозит с задворок остатки
урожая в теплушку – того гляди, заколупают морозы), а у кам-
ней на Талькином омутке пара заливистых пральников коло-
тит, перебирает мотив извечной бабьей песни.

Наконец, бело-сахарное солнце выказывается с краюшка
Филькина лога, а когда вскарабкивается на чистый небосвод, на-
чинает поспевать – пузатеть и рыжеть да так, что сомневаешься:
а не тыква ли-медовка, забытая беззаботным соседом в огород-
ных бурьянах, выкатилась сама по себе с поля крестьянское в
поле небесное?

Прихватив корзину, ныряю в Савин лог, поросший дубом,
бересклетом и орешником. Конец сентября – самое время для
поздних, осенских опят. Местные лесок этот недолюбливают –
чёрт ноги поломаёт, ямины да рвы, уже осевшие, заросшие тра-
вой, но ещё сохранившиеся как свидетельство минувшей войны.

Когда-то здесь было поле. В сорок третьем по нему проходи-
ла передовая. В августе на подступах к селу разразился танко-
вый бой. Истерзанная земля долго не могла от него опомниться
– годами выбаливали раны. После войны никто здесь не па-
хал: не хватало рук поднимать даже пригодные для сева земли.
Сколько пахарей полегло!

Заботливые залётные ветра постарались, и птицы натаскали,
принесли и рассеяли по рытвинам жёлуди, орехи лещинника, се-
мена. Так и возрос на измученном месте мой опёночный лес.

Спускаюсь из оврага в овраг, брожу, присматриваюсь: за
семьдесят лет палая листва, суки и ветки, валежник, отмершие

травы сгладили развороченные взрывами ямы, но и по наши дни всё ещё различима страшная поступь войны.

Забарабанит дятел о сухую коряжину, а мне пулемётная очередь почудится. Хрустнет сучок, ухнет филин, раздастся выстрел охотника, случайно забредшего в наши глухие края, а передо мной рисуются картины из не ведомого мной, но столько раз слышанного от деда-солдата его военного прошлого.

Давно уже нет старика и ветеранов Великой Отечественной – пересчитать по пальцам. Но каждый год в последние дни сентября, пробираясь сквозь овраги задичалого Савина леса, нет-нет да вспомню дедовы рассказы о войне. Всё никак не может в моём сердце зарастить забудь-травую память о нём и о таких, как он – простых русских пахарях, сменивших, как только подступился к отчему их порогу лютый враг, сохи и литовки на винтовки и автоматы.

ДА РАЗВЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЖЕШЬ!

А надо рассказать ...

Немца погнали дальше, на запад. 43-й, 44-й, 45-й... Мужики воюют, а на бабьих измождённых плечах порушенные хозяйства, голодные, истощённые дети. Попробуй подними разваленные фашистом колхозы, когда все работные мужики на фронте! Пяткина Лидия Тимофеевна, заведующая избой-читальней, всю осень билась, гуртовала баб вокруг себя, пыталась заново собрать игинской колхоз имени Ворошилова.

На осень сорок третьего в нём – одна корова красно-пёстрой масти, пять овец, три свиноматки да разъединяющая лошадь Хозяйка. Продвигаясь вперёд, одна из наших частей оставила её, раненую, в Игино; мол, чем чёрт не шутит, может, и выкарабкается. Протоптав военными путями-дорогами не одну версту, на игинских буграх Хозяйка поотдохнула и на радость деревенским пошла на поправку. А выносливости ей, военной коняге, не занимать, трудяга ещё та!

В декабре сорок третьего председателем в Игино прислали Меркулова Алексея Даниловича, брянского партизана из отряда имени Когановича. Жену и пятерых его детей за участие

Алексея Даниловича в движении сопротивления расстреляли фашистские каратели.

Одинокому председателю отвели угол в избе Фёдора Савинкина. Соберётся, бывало, детвора вечером у Савинкиных в избе и пристаёт к Алексею Даниловичу: Расскажи да Расскажи, как там, в партизанах-то, воевалось. Показали фрицу кузькину матушку? Покурит Данилыч, кашляет и завспоминает. О том, как с болью в сердце взрывал на Брянщине мосты, возведённые до войны его же руками, как ходил в разведку за линию фронта, как чуть не погиб вместе с другими бойцами от голода.

Однажды каратели обложили болота, в которых скрывался отряд. Обычно продовольствие и боеприпасы доставляли им с большой земли на самолёте, а тут немцы устроили настоящую охоту на парашюты со снабжением. Расстреливали, уничтожали их ещё в воздухе. Командир собрал отряд и приказал: паникёров расстреливать, держаться любой ценою!

Закончились последние припасы. К лютому зимнему холоду добавился голод. В отряде были две лошади. Обсудив меж собой, медсестры отряда предложили командиру зарезать лошадей и подкормить партизан, спасти отряд. Но после длительной голодовки конина не пошла впрок – видать, с непривычки съели лишку, скрутило желудки, бойцы мучились, хворали. Нашли способ излечения: больного сажали в тёмную землянку на несколько суток. Невероятно, но, Данилыч уверял, что помогало.

В эту осень вернулась с малолетним ребёнком из блокадного Ленинграда чудом выжившая дочь Савинкиных Настя. Ещё в начале войны получила она на мужа похоронку. Пригласился новый председатель Насте, и зажили они одной семьёй. А хатка – кошку за хвост повернуть негде.

Приближалась зима. А новоявленный председатель раздет-разут. Справили ему кой-какую одежду: посконную рубаху, штаны, шубник. Правда, с обувкой – беда! И порешили тогда бабы нашенские, всю жизнь делавшие добро не разбирая кому, верившие, что добрые дела не разлетаются по свету никчёмным дымом, остричь своих разнесчастных пятерых колхозных

овец, чтобы дед Харлан сваял председателю валенки. Обычно-то овец стригут в апреле – лучшая шерсть; на худой конец, в сентябре – поярковая стрижка. А тут – в декабре-то месяце! Фермы разрушены, поэтому и малочисленную колхозную животинку распределили тогда по крестьянским дворам. Хлев, куда поместили «лысых» овец, покрепче обложили от холодов всякой всячиной.

У Савинкиных на дворе стояла единственная колхозная корова. Рожищи – по сажени. Кстати, очень даже неплохая – ведерница. Прилачился ходить сверять её удои Илья Губарёв, выбранный бабами председателем ревизионной комиссии. Подоит подвизавшаяся её обихаживать Авдотья-Колдучиха Красавку, а он тут как тут, слёзно просит: «Авдотьюшка, ну хоть бутылочку молока ребятишкам налей!». Понятное дело, у кого ж терпение не лопнет, когда детвора помирает с голоду.

Перебедовали с горем пополам зиму. Подкатывала весна сорок четвёртого. Как поднимать поля? Именно в эту пору прижилась в деревнях наших частушка: «Я – и лошадь, я – и бык, я – и баба, и – мужик». Отмахнётся баба от тяжёлых думок, ровно тараканов из «кухвайки» повытряхнет, и снова – за заступ.

Русская жизнестойкость и выносливость во все века поражали иноземцев. Народ наш удивительнейший, ему и самому не ведомо, какие напасти в своей судьбе он ещё может сдюжить. Не раз подтверждалось историей, что русские лишь только кажутся беспечными и разрозненными. Попробуй, загреми гроза, подкати к украинам нашим чужеземец – соберутся они для отпора в единый несломимый кулак.

Колхозные поля бабам приходилось вскапывать вручную, лопатой. Норма – пять соток в день. А полевая земля – не огородня! К тому ж – издвлена гусеницами танков, изъезжена грузовиками, изорвана минами-снарядами! Кровь приливает к голове, и сердце начинает бить тревогу как представляю ту непосильную ношу. Говорят: баба русская – двужильная. Так оно и есть. Мамина мама, бабушка Нюра, вскапывала в день по семь соток! Это как же надо бы питаться при такой тягловой

работе? А на столе что? Тёрли из пирепиков (гнилой сушёной картошки) крахмал и из жмыха с добавлением вики «груили хлеб». Сейчас хозяйке стыдно было бы свиньям его подать. Но даже такой еде радовались.

Отец мой вспоминает те страшные годы: «Порой не ели по три дня. Деревня пухла от голода. В старых, заброшенных буртах выгребали возгоревшееся месиво, толкли в ступе на лепёшки и оладьи. Пекли прелики на огуречном рассоле – «трёхдневные прелики». Блины их них – чёрные, сухие до хруста. Потацились как-то с Иваном Макеевым в Савин лес. Ноги переставлять мочи нет. Шесть раз на пути отдыхали. Пришли, а лес пустой: ни гриба, ни ягоды, ни щавеля. Побрели, не солоно хлебавши, назад.

А однажды напали с другом в глуши на нетронутый куст крушины, так наелись, чуть не померли. Трава не успевала вырастать, выдирали с корнями. В лугах не сыскать было даже конского щавеля. Зубы от травы у ребятни – чёрные. Ходишь, как слепой котёнок, ткнёшься в траву и сходу засыпаешь. Из районной сосковской больницы приезжали санитары, забирали окончательно ослабших, распухших детей».

Пошла как-то игинская баба Катерина Полетаева на Свободную к брату. Вернулась радостная – дали в гостинец аж два стакана пшена! Сварила Катя жиденький кулешец. А к обеду ненароком заглянул к ней тринадцатилетний племянник. Переминается с ноги на ногу, из избы не идёт. Шут с ним! Как не разжалобишься, не угостишь – своя кровь?!

Все ушли по делам, и племянник ушёл. Чуток погода возвратился он в тёткину избу (заперта ведь лишь на палочку), отодвинул заслонку, залез в печку, выхлебал из чугуна весь до капельки кулеш и, разморенный тёплым уютом и сытостью, «отчаянный злодей» – на-поди! – прямо в печи и уснул.

Вернулись хозяева. Собралась семья за стол. Катя подошла к печи да ка-ак заорёт благим матом – из печного устья ноги торчат! Подбегает к ней дочка: «Да это ж наш Афонька!» – по чуням признала. И смех, и слёзы.

Ни мыла (голову мыли золой), ни керосина, ни спичек. Печку бабе разжечь было нечем. Почтальонка вместе с фронтовыми письмами на неделю разносила по избам десять спичек и к ним – тёрочку. Берегли из печи каждый уголёк. Вспомнили, как когда-то разводили огонь прашуры – трутовики в ту, тяжелейшую пору были на вес золота. Сначала трутень варили в золе, потом высушивали. Он становился мягким, ворсистым. Чтобы извлечь с его помощью огонь, необходимы были ещё кресало и камушек-голышик. Курильщики тоже носили обязательно в кармане кроме кисета трутовик и кресало.

Чудом сохранённых во время оккупации шестёрку коров хозяйки берегли как зеницу ока. Но весной их всё равно насильно забирали распахать колхозные поля. В отличие от конского хомута, им шили из суровой ткани упряжь – шлейки – и ставили в соху. На них же и боронили. Пасли ночью, утром – снова в поле. Бабы, знамо дело, не давали кормилиц, кричали истошными голосами, рыдали горючими слезами. Как повели бурёнку со двора, Сидорова бабка уцепилась за её хвост, кричит-рыдает: «Как я к ней, голубушке, с подойником подойду, стыдно под титьки садиться. Вымечко напрочь иссохло!».

Несмотря на тяжелейшие условия, в которых оказались мои земляки после выдворения оккупантов, они, чем только могли, оказывали помощь фронту. Не было в ту пору иного призыва, кроме «Всё для фронта, всё для Победы!». К примеру, в честь Героя Советского Союза уроженца нашего района Немкова Ивана Андреевича в первые месяцы после освобождения проходил сбор денежных средств на постройку боевых самолётов. Среди пятисот тысяч рублей есть доля личных сбережений и моих односельчан. Может, это о моих землячках писал Михаил Васильевич Исаковский:

*...Ты шла, затаив своё горе,
Суровым путём трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим...*

Кроме того, колхозники платили налоги продуктами из личного хозяйства. Налогом обладывалось каждое плодородное дерево, каждый крыжовниковый-смородинный куст. Прозябающим впроголодь крестьянам с подворья необходимо было сдать двести литров молока, двести штук яиц, сорок четыре килограмма мяса, три центнера картошки.

Вспахать кое-как вспахали-вскопали в сорок четвёртом. А сеять нечем – зерно ведь, когда игинских и кировских жителей власовцы при отступлении немецких войск погнали на Брянск, в августе сорок третьего, ссыпали в шейные ямы. Там оно «сгорелось» и погнило. Весной этого года сеять не удалось. Но в августе немного скосили «хлеб войны». Крестцы и старновку, чтобы не было холодно и наши, и немцы стелили по окопам. В апреле осыпавшееся зерно взошло, а к осени хутородный клин, этот самосев скосили, прибрав зерно в дальний чулан на семена.

А вот картошку бабы, угнанные немцами, в августе наспех, но успели забуртовать. Теперь её вынули из ям и, не оставив себе на пропитание ни плетушки, нарезав на мельчайшие дольки, порой «глазками», очистками посадили на вскопанных лопатами, вспаханных на коровах полях.

До новины – ждать и ждать! Да и какой урожай от таких семян: мелочь, дичка дичкой. Под деревней Толмачёво обнаружили в буртах гнилую картошку. И бабушка Наталья кинулась туда «на менку» (айда, не зевай!), принесла детворе высушенную и перетёртую в муку картошку. Отдав свою вязаную кофту, получила всего-то стакан муки, затеяла оладьи.

А в первых числах Великого поста сорок четвёртого бабушка Наталья слегла от тифа. Слава Богу, на ту пору в её семье снова объявилась (уже с тройкой своих ребятишек) младшая её сестра Нюша, добравшаяся к ней, наконец-таки, из Донбасса. И покуда старшая сестра металась в жару, она взяла под пригляд немудрёное её хозяйство. Не захворай тогда бабушка, может, и не постигла бы её семью беда смертная. Но что теперь о том толковать? Таков, видать, Божий промысел.

...Как-то раз, ещё и снег не сошёл, нашли Ваня Андрияхин и

сосед его Петик Ходёнков под кручей противопехотную мину. Чудная штукавина! Летит с небес, гудит-воет. Отрубили ребятишки у неё топором крылышки (обезвредили!) – теперь уж точно выть не станет, и, вроде как, так и надо. «А в апреле, в Чистый четверг, – рассказывает отец, – играли в оврагах мы с братом Петькой да с двумя соседскими мальчонками, тоже Иваном да Петей. Нашли точно такую же мину. Ходёнков Иван возьми да ударь её оземь. А мина ка-ак бабахнет! Пришёл я в себя, поворачиваюсь: у Петика Ходёнкова обе челюсти порвало, фуфайка кровью течёт. Ивана, брата его, взрывной волной отбросило во-он куда, аж под кручу, в ручей. Меня, – вспоминает отец, – изрешетили мелкие осколки, а брату Петьке досталось как следует: один осколок – в руку, другой, более крупный, пробил армейский ремень и вошёл в живот.

Мать слышала взрыв – оборвалось сердце. Она рванулась было в тифу, к оврагам, но где там! Упала в круче на полпути...

Ходёнкова Ивана принесли на постилке – двадцать три раны. Но, слава Богу, – поверхностные! А наш Петик отлежал две недели под окном на лавке. В больницу везти не было никакой возможности – апрель, всевселенский разлив: бурлил Жёлтый, вскрылась Крома.

Мало-помалу брат даже стал выкарабкиваться на солнышко. Сядет, играет девкам на балалайке... Ох, и мастак же был! Жарил на ней так, что устоять не было никакой мочи. Живот ему перевязывали кружевами. Откуда бинты-то? Кружева те присыхали к ране и к коже вокруг неё. Сердобольная тётушка Нюша, ухаживая за племянником, отмачивала их водой и свежими повязками перематывала Петин живот. Хотя и растирала она его нашептанными Колдучихой мазями, подавала пить девясиловый настой, а всё одно – не вышедший осколок начал ржаветь. Умер брат от столбняка. Страшно умирал. Кричал шибко. На семнадцатый день после того взрыва у Хильмечков его отнесли на погост».

В начале ноября 1943 года снова начались занятия в Кировской семилетке. Орловский облисполком и бюро ВКП(б) поста-

новили «провести первый день учёбы в школах как праздник трудящихся освобождённых районов области, мобилизующий учителей и всю общественность на повседневную заботу о советской школе, учащихся, воинах Красной Армии, партизанах, детях, оставшихся без родителей, создавая все условия для их нормальной учёбы и питания».

С семнадцатого августа до второго ноября, до самых глубоких заморозков сорок третьего в Кировской школе располагался военный госпиталь 133ЧППГ. Здесь же, на взгорье, между правлением колхоза и школой, расчистили аэродром, на который садились самолёты с ранеными. Через дорогу от школы – старая конюшня, в ней наладили первичную обработку раненых. Рядом, на пойменном лугу, раскинули брезентовые приёмные палатки. Школьные классы оборудовали под лечебные палаты. В конце сорок третьего этот госпиталь, вместе с соседним, из села Звягинцево, перевели в освобождённый Дмитровск.

Школу кое-как привели в порядок, для тепла (по тем временам, как нарочно, стояли лютые зимы) окна в классах засыпали золой и торфяной крошкой. Немцы свели все леса, классы не отапливались. И вот в такую школу Иван Андрияхин, мой отец, в сентябре сорок четвертого в десятилетнем возрасте пришёл в первый раз учиться.

Набрали сразу два параллельных класса. Ребятишки разных лет рождения. Малолетние мужички. Дети войны. Дети, с прищущим всем мальчикам на свете в любые времена озорством.

Чернила – сок отжатой столовой свёклы – по дороге в школу замерзали. Приходилось согреть собственным теплом. Засунет пацан «непроливайку» под мышку, так и несёт её в школу, а холода – великие. Мальчишка сам окоченел до костей, свекольный сок тельцем своим отогреть так и не смог. Отец вспоминает:

«Одёжа у меня была на всё про всё, на все случаи жизни – тужурка, в которой ещё из Донбасса возвратился, а рукава – непомерные – и в десятилетнем возрасте – до земли. Ночью служила она на печке подстилкой. Утром выйдет мать на под-

ворье, поколотит её об угол, выбьет из неё пылюгу: «Иди, сын, учись!».

И был у нас в классе мальчонка: с хоронившимися глазками, невелик ростом, корявеньки-ий, серенький. И волосы цвета печной золы. Самый молодой. Дразнили его Кыса. Где уж отыскала ему мамка, Бог знает, только явился он однажды в школу гордый. Вынимает из своей холщовой сумки пузырёк подсинки. Чтобы драгоценную жидкость не пролить, вырезали ему дома заботливо из пушечных колёс резинку, притёрли пузырёчек.

Парт ещё сладить для учеников не успели, просто сколотили из досок стол – длиннющий, на сорок человек один. Достал Кыса свой заветный пузырёк, открывает пробку зубами, а школьник-сосед толк его под локоть. Ребятня попадала с лавок – на рожицу мальчишки выплеснулась ядрёная ядовито-синего цвета жидкость, залила его с ног до головы.

Урок, конечно, сорвали, никто не мог равнодушно смотреть на несчастного Кысу-«Водяного». Молодая учительница Вера Фёдоровна ушла. Вместо неё появился директор школы – Дмитрий Иванович Герасин (бывший армеец, капитан): «Ну, что, неслухи, идите просите у Веры Фёдоровны прощения». «Идём, – улыбается отец, – неумытый Кыска с нами. Только открыли двери в учительскую, Вера Фёдоровна, взглянув на синего Кысу, не сдержалась: фыркнула и рассмеялась. Вот и всё прощение... А ещё на переменах, не раз побывав до войны на взрослых кулачках, в школьном коридоре бились мальчишки Кировской школы класс на класс. Звонок прозвенит – сидят, уткнув разбитые сопатки в крепкие снежки».

К посевной сорок пятого пригнали в колхоз им. Ворошилова шестёрку крупных немецких тяжеловозов, среди них одного никому не поддающегося мерина. Деревенские за дикие повадки тут же приклеили ему кличку Бандит. На радость бабам коров перестали залучать на поля. Бандита, конечно, приручили. Куда деваться? Лошадиная сила – на вес золота! Ночью игинской табун пасли в Савином логу – там всегда трава гуще и сочнее.

Пахота и уборка урожая были сопряжены с большими опасностями, ведь многие поля заминированы и нашими, и немцами. Пахарю за день надо было поднять один гектар да ещё двадцать соток. За такой тягловый труд ему выдавали один килограмм хлеба зерном. Малое зерно это легко было смолотить и на ручной домашней мельнице. Устройство её чрезвычайно просто: два жернова размером с тазик. Нижний, основной – мощней, толще. На камнях – пазы, в центре отверстие, куда засыпалось зерно. Если ты одалживаешь меленку, должен уплатить перед тем как молотить «гарцевый сбор» – отсыпать хозяину кружку зерна.

...А ЧЕЛОВЕК ИСКУШАЕТСЯ НАПАСТЯМИ

А в мае, наконец, дождались! Пришла весть о Победе. Не сговариваясь, словно колокол на Поповке воззвонил, рванулись и игинские, и кировские к школе. Народу собралось! Гудят, как в улье. Директор школы, Горбунова Елена Ивановна, вышла на крыльцо. И сразу наступила тишина. Елена Ивановна так волновалась, что долго не могла собраться, и тогда все, подбадривая её, захлопали, загалдели. Она улыбнулась сквозь слёзы и, наконец, сказала: «С великим, выстраданным праздником вас, земляки!». И только потом уже – где и кто подписывал капитуляцию, наобещала бабам скорое возвращение их кормильцев. Подъехали работники райкома партии.

До позднего вечера не расходился народ со школьного двора: всяк желал высказаться по такому случаю. Хоть и висела на душах многих тягость горьких, небывалых утрат, хоть и застили слёзы почерневшие вдовьи глаза, хоть совсем недавно, на прошлой неделе, вынула почтарька Раиска дрожащими руками из своей пузатой сумки похоронку на мужа учительницы Веры Фёдоровны, но появились гармони и балалайки, и пошло гулять до зари под школьными тополями, обвешанными гроздьями майских жуков, всеобщее веселье. Правда, столов у нас в тот день не накрывали (не с чего) и пьяные были лишь от счастья.

К уборочной сорок пятого подоспел Халмана. Явился, как снег на голову. Уж и не чаяли увидеть его в живых. Когда-то ещё сообщил жене воевавший вместе с Иваном Николаевичем сосед его Никита Фёдорович Чеченёв, мол, не жди, Иван твой погиб. В Брянске прижали их немцы, Чеченёв-то успел отойти в лес, и Халмана шарк через плетень, а немец – очередь ему вслед. Никита Фёдорович, правда, видел, как земляк его упал, и никогда больше не встречались они на фронте.

Иван Николаевич же попал в том бою в плен. Много чего пришлось испытать нашему первому председателю. Окончание войны застало его в самой Германии. Но страшные воспоминания первых месяцев плена долго ему не позволяли забыть те дни.

Часто Халмана рассказывал один случай. Русских пленных немцы – автоматы наперевес, на поводках овчарки – нещадно, без остановок на отдых гнали брянскими просёлками. Тяжелораненый ли, чуть замешкался ли – без разбору – пулю в лоб. Жара стояла несусветная. Мочи нет, душа с телом расстается. Почти не кормили. Но самое ужасное – не давали воды.

Однажды доплелась их колонна до лесного селения. Видать, до войны оно было достаточно зажиточное – каждый хозяин держал не одну колоду пчёл. Но незадолго до прибытия русских пленных в селе этом похозяйничали немцы: ульи залиты водой, разграблены, повалены как зря. Бесприютные, несчастные пчёлы стонут, мечутся у покорёженных колод. Немецкие конвоиры, даже они – сытые, с фляжками воды на ремне, изнемогая от зноя, устроили привал. Оголодавшие пленные рты разевать не стали, кинулись выгребать остатки сот несмотря на ярившихся пчёл (они, бедные, ведь не разбирают, кто лютый враг, а кто нашенский мужик).

Спустя некоторое время немцы загыркали снова, мол, пора выдвигаться. А несчастным, наевшимся на жару мёда к колодцу бы да водицы – прямо из бадьи. Но только рванётся какой мужик, заведет колодину с журавлём, тут же окрик: «Халыт!» – и ржание.

Идут они полевой дорогой. Солнце нещадно палит, погибает

ют мужики – губы потрескались, кажется, и внутри всё, как в пустыне, пересохло. И был среди них парень, раненый в плечо. Рана его гноилась, поднялась температура, а тут ещё мёд – будь он неладен! И не стерпел, кинулся солдатик этот прямо к протухшей зелёной луже посередь просёлка. Налетели немцы, загоготали: «Швайн! Швайн!». Бедный, не помня себя, не обращая внимания на рвущихся к нему псов, хлебал и хлебал прозеленившуюся воду... До тех пор, пока и встать уже не смог. Скрутило его, закорчился в муках, мга беспросветная застелила глаза. Подошёл немец, сплюнул и на глазах у притихшей шеренги хладнокровно прикончил раненого выстрелом в висок, столкнул ногой в лужу, из которой обезумевший только что жадно пил.

А в мае сорок пятого председательствовавший на то время в Игино бывший брянский партизан Алексей Данилович Меркулов оставил свою должность и перебрался в район. Баклуши не бил, занимался по своей довоенной специальности строительством новых, восстановлением разрушенных мостов. А его пост принял уцелевший наперекор всем ужасам войны Иван Николаевич по кличке Халмана.

Когда, наконец-таки, с фронта возвратились мужики, Халмана ушёл в завфермой. Что ни говори, а скорее всего, решился он после того, как на отчётном собрании его не только чуть ли не сняли с должности, но чудом не отдали под суд.

А дело было так. На краю Игино, рядом с конюшней прилепился колхозный амбаришко. Командовала в нём Буюкина Наталья (как-никак – четыре класса, хоть считать умела). У ворот амбара – деревянные лопаты, а внутри – на полу несколько ворошков: ржица, горох, овёс. Был и небольшой семенной бугорок вики. Возьми та вика да и подпортись. А откуда взять семена на замен? Вот и рискнули, засеяли в Горонях поле, конечно, не без ведома председателя, той злосчастной викой. Прошёл месяц, другой, а всходы не появились. И вика, на беду Халманы, не возшла вообще.

А на отчётном собрании в конце года председателю, не от-

кладывая в долгий ящик, эту промашку припомнили: мол, не сберёг семенной фонд, сгноил; судить его за халатное отношение к вверенной должности. Слава Богу, встал тут один из игинских мужиков, задетый за сердце фронтовик: «Как же так? Что ж вы баετε-то, опомнитесь! Иван Николаич всю душу в колхоз вкладывает! За здорово живёшь – под суд! Эх, вы-ы!», – пристыдил он односельчан. Так и спас, считай, Халману. А то бы не сдобровать председателю, сняли бы о-ох какую стружку, пришили б дело! Времена-то – суровые!

К сорок шестому году в Игино в хозяйстве колхоза имени Ворошилова, уже насчитывалось семь лошадей, пять овец, один баран, три свиноматки, две коровы и четыре вола. С волами этими у Халманы (когда уже он командовал фермой) произошёл прямо-таки забавный случай.

На ночь загоняет он волов на ферму. Считает: «Чёрный – раз, белый – два, рыжий – три, красный – дома, – и так несколько раз, – руку даю на отсечение – нет одного быка – и всё!». Проходит мимо кум. Халмана ему: мол, так и так; вол куда-то, чёрт рогатый, запропастился. Кум крутит у виска, покатывается со смеху: «Опомнись, Иван Николаич! Красный – дома, а остальные три где? Не дома ли тоже?».

В этом году объявилась в округе «заводская» картошка. Нет труда изнурительнее, чем сажать и собирать «орехи», которыми, как и хлебом, еле-еле дотягивали до Зимнего Николы. (А какие ещё урожаи можно ожидать от «глазков» да очисток?) И когда разнёсся слух о том, что в Красной роще (деревушка вниз по течению Кромы) можно достать сортовую картошку, хоть полведра, хоть по пятку на развод, ясное дело, всеми правдами и неправдами игинские и кировские бабы кинулись её добывать. Правда, следом, в том же году по весне прислали на семена картошку из Белоруссии.

К Покрову сорок шестого из Татарстана и Башкирии пришло в поддержку голодающему Орловскому краю и зерно. Непривычная, горьковатая на вкус рожь дышала степью и полынком. Но как бы то ни было, она помогла вытянуть ещё и

неурожайный сорок седьмой. Раздали на семью по полтора центнера этой степной ржи, оставив семенной запас, который берегли пуще всех богатств на свете. Даже за горсть украденных семян могли отправить в места не столь отдалённые. Но разве стерпят бабы, доведённые до белого каления? Как смотреть день за днём в голодные глаза детишек, видеть, как они пухнут от мякинного хлеба? Конечно, воровали. На свой страх и риск и картошку на поле подкапывали, и «парикмахерствовали» (стригли колоски зерновых).

Ясное дело, что случилось с Тихоном Ивановичем Гадёнковым, который припрятал во время посевной шестидесятикилограммовый мешок зерна! Расплатился сполна – десять лет прокладывал он железную дорогу в районе Печоры, в вечной мерзлоте. Кайлом выдалбливал в ней ежедневную норму: полтора метра в длину, восемьдесят сантиметров в ширину, один метр в глубину.

В пятидесятые годы повсеместно шло слияние мелких хозяйств в более крупные. Колхозы села Кирово Городище и деревни Игино объединились в один – имени Кирова.

Война выкосила мужиков несчётно. Конечно, рук в колхозе не хватало, и едва-едва подросшая молодёжь впрягалась в крестьянские работы вместо невернувшихся отцов и старших братьев. С четырнадцати лет отец мой выходил на косовицу наравне со взрослыми мужиками. Фронтвики, они ж «ломовые», закалённые. Хоть и шустрый малый, но попробуй, угонись за ними на пустой желудок! А если к косе ещё прилажены и грабли? Подрезал, грабелями прядочка к прядочке уложил – и так день за днём всю уборочную. А коли не наловчился, сплоховал – пойдут бабы снопы вязать, исчертыхаются, разбирая перепутанные стебли ржи.

Ладно, коса – ещё куда ни шло! А как устоять четырнадцатилетнему мальчишке за сохой? Наверно, потому что с малых лет познал отец труд пахаря, в зрелые годы – завяжи ему глаза – он в одиночку мог разделить под орех любой клин. Так ведь истари велось: пооботрётся мальчонка около умелых да работающих, никогда уже не станет прожигать жизнь попусту и работу со

своих плеч на чужие перекидывать не станет. И будет опорой всему своему роду и подродью.

Несчастья, как говорится, вьются верёвочкой. На ещё не окрепшие после разрухи хозяйства навалилась новая горячая беда. Посевы сорок шестого и сорок седьмого: и хлеб, и картошку спалила безжалостная жара. Ни капельки дождя, ни сырого ветерка. Ничто не шелохалось, небо блистало ярко, как отполированная медь. Голодали страшней, чем в войну. Всем бедам – беда! Два года кряду народ пухнул от голода, вымирал целыми семьями. Даже в глухих балках и лесах выгорела трава. Подросшие было деревья и кустарники стояли подчистую обглоданные живностью.

Выпущенная на волю близ сельца, на склоны балок деревенская скотинишка (сказочное богатство!) – сосчитать её можно было по пальцам – задичала. Спровоженная хозяевами на подножный корм, день и ночь бродила она с заострёнными хребтинами, с проваленными боками и «обрезавшимися» костями таза по лысым луговинам и поймам. А следом за ней неотступно тащились, падая от голода, хозяйки в надежде нацедить хоть когда-нибудь из жмуренного, сухого, болтающегося замызганной тёмной тряпицей коровьего вымени ребятишкам кружку молока. Но то ли бабу совсем покидали силы, то ли и капли не собиралось в нём, худом, только как ни тяни хозяйка за сморщенные сосочки, сух и сух оставался её подойник. А резать последнюю «надёжу» хозяйкам жалко до слёз.

Правда, за кормилицей – глаз да глаз! Голод ведь – не тётка, на что только не подтолкнёт?! Коли станет невою – тут как раз всё от человека зависит. Не доглядишь – слопают, ни копыт, ни костей от бурёнки не оставят.

Не раз, наверно, вспомнили в ту, сошедшую с ума жарень мои земляки, как до революции устраивались в празднование Пасхи, Крещения Господня, Спаса, Происхождения честных древ Животворящего Креста и обязательно в лихолетья (в проливные дожди или наоборот – в засуху, в повальные хвори-на-

пасти, при угрозе нападения врагов) благочестивые древние традиции – крестные ходы и молебны. Обряд этот являлся выражением единой народной веры и усердным молением ко Господу и Пресвятой Его Матери о даровании людям благодатной помощи в их несчастьи. Вот когда пожалковали-то кировские мужики о порушенной ими на Поповке церкви!

Мудрые наши предки не зря ведь переняли у Византии чудесный этот обычай, возникший там ещё в IV веке. Ведь в своё время и святитель Иоанн Златоуст, и святитель Кирилл Александрийский для освящения мест и отвращения от болезней носили по улицам Животворящий Крест.

Раньше-то, когда в церкви во имя преподобного Сергия Радонежского велась служба, и в Кирово Городище постоянно устраивались крестные ходы. Не только по строго закреплённым датам, но и по острой необходимости, когда начинали роптать крестьяне, обеспокоенные положением дел в полях, считая, что Господь на них за что-то прогневался.

Отстоявши заутреню и Литургию, под трезвон колоколов мужики «поднимали образа», за ними – священник, облачённый в фелонь и епитрахиль, нёс Животворящий Крест, следом – весь честной кировский и игинской люд. Спускались к святому источнику под горой Поповкой, обходили улицы села и все прилежащие к нему поля. Как правило, под богослужебные песнопения во главе шествия несли храмовые святыни: Евангелие, крест, хоругви и иконы, среди них – пренебреженно (как же без него-то?) образ Ильи-пророка, которому исстари молился мужик, коли припрёт его нужда в дожде.

Крестный ход в Русской Православной Церкви совершался всегда против движения солнца (противосолонь, против часовой стрелки). Во время этого обряда в пяти заранее избранных местах служились молебны с коленопреклонением. По их завершении православные прикладывались ко кресту, и священник кропил каждого святой водой, а остатки её выливали на поле. Первый такой молебен, посвященный Спасителю, служили обязательно на Кировском святом источнике. Второй, как и полагалось, посвящали Богородице, третий – Николаю Чудот-

ворцу, четвёртый – пророку Илье, и пятый, заключительный, – молебен о неоставлении в беде, о ниспослании Господом на всю волость благодатного дождя.

Подобным образом совершались крестные ходы по всей округе. Правда, в некоторых сёлах начинались они с того, что после заутрени и Литургии весь приход отправлялся на сельский погост для того, чтобы отслужить панихиду разом по всем усопшим. Такой мудрый обычай на Святой Руси вёлся ещё со стародавних времён. Православные верили: если они, живые, горячо помолятся за умерших, то на Том свете родные заупокойники не забудут так же помолиться Господу о близких, которых оставили они на этом свете. И не было ещё случая с тех пор, как стоит Православная Русь, чтобы в тот ли день, или в самые ближайшие после крестного хода не пошёл бы дождик, не наладилась бы погода.

Да и во времена Древней Руси, чтобы вызвать дождь, прашуры мои собирались у ключей, на Кроме и у Жёлтого ручья, устраивали первого зарева (августа) Мокриды (Мокрины). Праздник этот был одним из важнейших сакральных дней русской народной традиции. Иначе известны Мокриды как Мокрый или Медовый Спас. Неслучайно именно в этот день крещена была в 988 году языческая Русь. Потрудись священник на Мокриды только выйти к воде, где и «гуляли» предки свой праздник, перекрести всех купающихся, и обряд крещения – свершившийся факт.

Чем же отличаются Мокриды от Купалы, когда весь русский люд тоже стремился к речкам, прудам и озёрам? На Купалу никакими особенностями купание не отличалось, купание да и купание. Совсем другое дело – Мокриды. Купание в этот день слыло «обережным». Считалось, что вода именно в этот праздник обретает обережные свойства от различных хвороб. Очень важно, в отличие от Купалы, на которого нет никаких советов и рекомендаций к купанью, на Мокриды окунаться с головой. И если на Купалу плескались прашуры на прудах и реках скопом, то из-за сакральности этого дня женщины и мужчины на

Мокриды купались порознь. Нарушение же этой традиции небезобидно: предки верили – для ослушников купание станет вредоносным, и в самом ближайшем будущем последует наказание. И вообще после Мокрого Спаса окунаться в воду считалось делом опрометчивым и опасным.

Только когда всё это было? А в послевоенные годы, утерав и языческое празднование Мокриды, и обряд христианского водосвятия во время крестного хода, чтобы хоть каким-то образом вызвать дождь, земляки мои устраивали «обливалку». Собирался на неё весь деревенский люд: и стар, и мал. Купались в Кроме и в окрестных прудках, в ручье Жёлтом. Окатывали из вёдер друг дружку водой, парни ловили девчат и кидали, взявши за руки-за ноги, на глубину. Визг и гам стоял в такие дни у воды с раннего утра до позднего вечера. Но не слышали их древние языческие боги, не вступился за них, сничтоживших Кировский храм – Его дом и сам Господь.

Но изо дня в день выходили на изрытые траншеями, дзотами, опутанные колючей проволокой поля, шатаясь от голода, из последних сил в первые послевоенные години бабы... И принимались лечить раны земли нашей истерзанной. А их на ней – прорва целая!

Хотя война и не обошла стороной ни одну кировскую-игинскую семью, в наши края возвращалась жизнь. При всех немислимых трудностях – всё же рады-радёшеньки – мир!

А выживать – мужику не привыкать! Не впервой! Что ему? Нешто он не русский человек? Все теперешние невзгоды для него по сравнению с тем, что выдюжил он за двадцать два месяца оккупации, казались уже мизерными. И сейчас старики у нас, вспоминая, «как были под немцем», крестятся: «Упаси Хосподи! Только б не было войны!».

СОДЕРЖАНИЕ

Смерть Кондрата.....	13
Подранок.....	29
Кродным.....	37
Фронтovichка.....	51
Из воспоминаний фронтовика Степана Полынкина.....	55
Всего дороже (повесть).....	61
<i>Избранные эссе об оккупации Орловицны</i>	
«Победа будет за нами!».....	174
Хорошо войну слышать, да тяжело видеть.....	183
«Новый порядок».....	192
И откуда взялось столько силы даже в самом слабейшем из нас?.....	205
Изгнание.....	214
Сломав хребет фашистской нечисти.....	223
Да разве об этом расскажешь!.....	233
...А человекискушается на пастьями.....	242

Литературно-художественное издание

Татьяна Ивановна ГРИБАНОВА

ВСЕГО ДОРОЖЕ

(рассказы, повесть, эссе)

Авторская редакция

Технический редактор Г.Н. Майоров

Корректор Г.Е. Петрова

Издательство «3-е ИЮЛЯ»

ISBN 978-5-86843-065-7

Формат 70х100 1/32. Бум. офсет.

Сдано в набор 25.03.2019 г. Подписано в печать 23.04.2019 г.

Усл. п.л. 10. Тир. 500 экз.

Отп. с готового оригинал-макета в ООО Полиграф. фирма «Картуш»
(г. Орёл, ул. 2-я Посадская, 26). Тел. (4862) 44-51-46